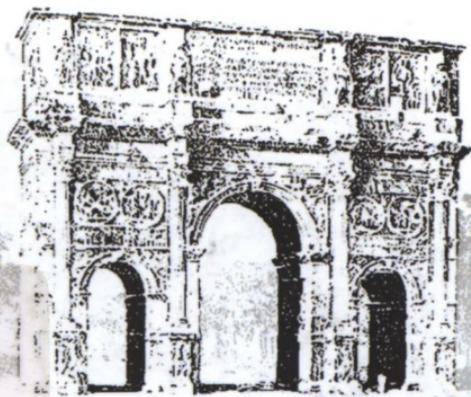


М. Веллер

ОДИН НА ЛЪДИНЕ



М. Веллер

ОДИН НА ЛЬДИНЕ



Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
В27

*Оформление обложки Александра Кудрявцева,
студия «FOLD & SPINE»*

Веллер, Михаил.

В27 Один на льдине / Михаил Веллер. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — 384 с.

ISBN 978-5-17-114163-9

В новую книгу Михаила Веллера входит как издававшийся ранее «русский Мартин Иден» — роман о советском писателе «Мое дело», ставший внутрилитературным бестселлером, так и впервые публикующиеся произведения. Повесть «Смотрите, кто ушел» рассказывает о громкой славе первого советского «шестидесятника», кумира того поколения Анатолия Гладилина. Уникальный обзор мировой литературы — чем отличается написание шедевра от успеха и признания писателя — завершает сборник.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

МОЕ ДЕЛО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

До того, как.

1.

Полгода отец был на усовершенствовании в военной академии в Москве. Мать поехала с ним и устроилась там на временную работу. Перед новым назначением в дальний гарнизон они наслаждались столичной жизнью. Меня закинули к бабушке-дедушке на Украину, мамину родину.

О Каменец-Подольске написал Владимир Беляев известный когда-то роман «Старая крепость». Крепость была турецкая. Это все знали и никто не задумывался. Веками здесь правили турки, в екатерининские времена их выбили русские, но осознавалась непрерывная исконность своей земли.

А над береговой кручей город, а в городе парк, а в центре парка на постаменте — «Т-34». Мы победили.

Меня привезли из Забайкалья. Я был хил и прозрачен. Офицерский паек был сытен, но витаминов не включал. Мне было четыре года. Бабушка ужаснулась.

Дед был непрост. Дед был прям, сдержан и ироничен. Он походил на обедневшего шляхтича с раненой гордостью. К нему ходили советоваться. Светлые глаза деда шурились, светлые волосы разлетались под сквозняком из форточки. На Подоле намешано много кровей, и гремучие коктейли непредсказуемы.

Бабушка происходила из приличной дореволюционной семьи с одесским уклоном в негоциацию. Юный студент-социалист пленил ее образованностью и высокими идеями. Она гордилась репутацией мужа и видела в дочери и внуке продолжение его мудрости.

Бабушка откармливала меня курочками в масле и бесконечно причитала, восторгаясь моей гениальностью по любому поводу. Все, что я мог сказать, придумать или сделать, вплоть до попроситься на горшок, было гениально. Меня демонстрировали гостям, разрываясь от счастья:

— О-о, гениальный ребенок!

Их не расстреляли, не повесили, не загнали в газовую камеру. Деда так и не разбомбили в его санитарном поезде, и после ранений он не стал калеккой. Бабка с мамой сумели уйти из уже оккупированного города: сплошной линии фронта в конце июня 41-го почти нигде не было; и не сгинули в пересылках эвакуации. И после войны нашли друг друга, и получили комнату в бараке при водолечебнице, и мама поступила в институт, и в обезмужившей стране вышла замуж за офицера, и родила сына.

— О-о, гениальный ребенок!

Лишь раз при мне, перебирая старые фотографии, мама смотрела на старый снимок их девятого класса, и я помню ее девчоночью гаснущую интонацию: «И все наши мальчики ушли на фронт. И ни один не вернулся!..»

Конечно, умненький четырехлетний мальчик с подвешенным от природы язычком никаких философских выводов экзистенциального характера не строит. Он просто наслаждается ценностью своей личности в глазах окружающих и, таким образом, в глазах собственных сильно поднимается также. Утверждается в значимости любых своих слов и поступков. Самоуважение и самоуверенность ложатся фундаментом, быстро и прочно опускаясь из стремительного детского сознания в пожизненное подсознание.

Гости дружно восторгались. Я цвел и распускался, стараясь оправдать ожидания и похвалы. Я изрекал суждения

по любым предметам. Самодовольный развитый мальчик напрягал мозги и язык, обрабатывая предложенную ему приятную социальную роль.

Думать и говорить постепенно делалось наслаждением. Боже мой, какое это счастье и везение: хлебнуть неограниченного аванса в начале пути. Захваливайте детей, поощряйте их, восхищайтесь ими! — свинцовых мерзостей несправедливой жизни они хлебнут и без вас. Ах, как я старался.

— О-о, гениальный ребенок!

2.

Через полгода бабушкиной любви родители не узнали малолетнего гения. Не потому, что раньше я был идиот с тяжелым диагнозом и беспросветным будущим. А потому, что ежедневная курочка с маслицем из рук любящей бабушки переводит рахитика в весовую категорию начинающего борца сумо.

Я перестал быть прозрачен, а наоборот, теперь заслонял изрядную часть пейзажа. Чулочки у меня были протерты на ляжечках изнутри, потому что при ходьбе ляжечки терлись друг о друга. Над животиками у меня были грудки, а над грудками щечки. Бабушка умиленно и наставительно повертела меня напоказ.

Отец присвистнул. Мать покраснела.

— Мама! — изумленно и укоризненно сказала она бабушке.

— О-о, гениальный ребенок! — запела бабушка и закатила глаза.

Никто никогда не узнал, как дорого обошлась мне одесская диета.

Мать была очень красива. И очень самолюбива. Она обожала гулять со мной за ручку. Я был потрясающий ребенок. Тоненький, с огромными эмалевыми глазами и золотыми вьющимися кудрями. Маленький лорд Фаунтлерой. Теперь я стал симпатичный белавый поросе-

нок с глазками и складками, передвигавшийся вперевалку. При ней я выглядел смешно и оскорбительно, ее произведением нельзя было восхищаться.

Отец мечтал о маленьком мужчине. Четырехлетний возраст делал непонятым армейский способ сгонки веса и коррекции фигуры.

При этом я был говорлив, как соловей, и самовлюблен, как Нарцисс. В сущности, я был самодостаточен — при условии материального обеспечения и наличии слушателей.

Вот в такой своей сущности я и был сдан в нормальный гарнизонный детский сад посередине манчжурских степей.

В первую же минуту я был дразнен как «жиртрест» и «саломясокомбинат». Мне еще не было обидно — я еще не въехал. Через пять минут я получил первого пенделя. После завтрака меня впервые побил самый, как сказали бы сейчас, агрессивный член моей средней группы. Бил он не зло и не больно, а как бы для порядка — для сохранения социальной структуры: поддержать свой имидж драчуна и указать новенькому жиртресту его место парии. Добрые девочки сочувствовали мне, а более активные от природы мальчишки развлекались зрелищем.

Но я рос в офицерской семье! Жаловаться было нельзя! А давать сдачи было обязательно!

Насчет сдачи я собрался с духом дня через два. И не дал. Он был ловчее и быстрее. Пончикообразность лишила меня всякой подвижности.

Потом он разбил как-то мне нос, а это такой удар, от которого можно заплакать невольно, тут воспитательница перед обедом заинтересовалась моим видом, я не наядбедничал, поскольку это невозможно, и травить меня вскоре перестали, и даже последним номером я быть перестал, нашлись мальчишки слабее и забитее меня, — но все-таки место мое было не в «лидирующей группе», а ближе к тому краю, где параша и дверь. И лобой мог дать мне пенделя и крикнуть «жиртрест» — и безнаказанно убежать, если слабый, потому что догнать я не мог никого.

И в играх, требующих подвижности, проходил последним номером. А в футбол вообще не годился.

И ни одна с-сука мной не восхищалась! Это — жизнь?!

Ох я думал. Ох я и думал. Я думал обо всем. О справедливости. О мести и милосердии. О том, как устраиваться в этой жизни, если провозглашенные правила не соблюдаются, а неписанные правила против тебя. О том, что почему же я не такой сильный, стройный и храбрый, как некоторые. Любимым и главным людям, маме с папой — пожаловаться невозможно: вот черт его знает почему, невозможно и все. Поговорить о жизни не с кем. От завтрашнего дня ждать ничего хорошего не приходится.

Я думал постоянно. Я думал, когда меня вели утром за руку в детский сад и вечером домой. Думал на прогулках, засунувшись куда-нибудь в щель за сарай. На мертвом часе, глядя в потолок. Воспитательницы были довольны. Они говорили родителям, что я очень спокойный и послушный ребенок и со мной никаких хлопот.

Во мне поселился комплекс неполноценности — он аж не помещался во мне, как корни баобаба. Я спокойно и обреченно знал, что я жиртрест, слабый, трусливый, неуклюжий, непривлекательный, вялый. Я возненавидел свое имя и стеснялся его — была на него дразнилка: «Михаил — коров доил / титька оборвалась / он хотел ее пришить / мамка заругалась».

Попасть в социальные аутсайдеры бывает полезно. Вот с тех пор я уже никогда не переставал думать. О человеческих отношениях, о справедливости, о достижимости счастья и его сути, и вообще об устройстве жизни. Вот так полвека спустя и понял, как благотворность страдания сказывается в напряженном постижении мира: дабы найти смысл в происходящем и отыскать разгадку отсюда и к желанному состоянию.

3.

Я всё помнил. Я жил внутри себя. Я повторял родителям сказанное мельком месяц назад соседями по доску («Дом Офицерского Состава»), и они переглядывались.

Гарнизонная жизнь в степи развлекает мало. Счастье выжить в войне и благоденствовать с семьей — не то что приедается: утрясается и не возбуждает душевных сил.

В маминой семье читали. Дедушка был местным остроумцем и книгочеем. Любимым предметом была литература. Мама читала сама и читала на ночь мне. Ее «круглый» аттестат я увидел потом, а медалей за школу в войну не давали.

Днями я ждал вечера и сходил с ума от любопытства. «Сто тысяч почему», «Какие бывают вещи», «Откуда стол пришел». Такие книжки нравились мне гораздо больше сказок. А стихи я просил прочитать еще раз. Родители не понимали, зачем. А я их запоминал. Я не знаю, зачем. А так. Для интереса. Что-то в этом было.

Потом, днями, я их повторял себе шепотом. Это давало ощущение причастности к чему-то значительному; правильному, весоному, достойному, взрослому. Я их проживал. Я в них проживал то, чего оказался лишен нормальным образом в играх с равными сверстниками. Я в них втекал, вжигался, вкладывался. Сейчас я мог бы сформулировать, что на всю жизнь впечатывал свой внутренний мир в эти матрицы.

Меня никогда не ставили на стул читать гостям. Я замыкался, мычал, убегал, орал: не хотелось. Открывать чужим свое — невозможно: это не развлечение.

Отец сколотил в полковой мастерской стеллаж. Эта некрашенная лестница высилась до потолка. Книги привозились из командировок, продавщице «Культмага» дарились подарки.

Комната метров десять, печку топить два раза в день, казенные кэчевские («Коммунально-эксплуатационная часть») железные койки и фанерный шкаф, на

общей кухне дровяная плита и трофейные немецкие керосинки офицеров, матерчатый абажур с толкучки и игрушки в ящичке из-под посылки. И это очень уютно и очень благоустроено: мы со славой победили в великой войне, мы лучшие в мире, и нет никаких забот. Это семья, это любовь, это мир и все в нем есть.

И в этом мире, увлекшись и проникшись, мама учила со мной стихи: настоящие и лучшие стихи для ребенка повзрослей своего возраста. Я запоминал строфу с одного раза и уже никогда не забывал с двух. Все эти «Баллады о голубях» и «Почты военные» я слышу в себе всю жизнь, если потрясти на дне головы. «Книги покрыла столетняя пыль, / червь переплеты их ест. / Лучше послушайте новую былль: / сказку про новый Удрест».

Сама мама читала Ронсара, а в моем слухе чеканом по бронзе вызванивал узор мальчишеский романтизм.

4. Первое публичное выступление

Однако в детском саду нам тоже иногда — и вполне регулярно — воспитательница читала книжки. Это были нормальные детские книжки, вызывавшие у меня нормальное высокомерие и презрительное отношение своей, э-э, низкопробной общедоступностью.

И тут стал близиться некий очередной праздник. И к нему задумали устроить концерт для родителей. Участвуют все! — более или менее.

Для танцев у меня не было грации... Для пения — слуха. Для роли зайца или морковки я был слишком умен и одновременно застенчив и зажат. Зато я умел замечательно читать наизусть выданное воспитательницей на «часе чтения» стихотворение про цаплю, которая сует «чапу-лапу прямо в воду». Я презирал его за детскость и примитивность, и оттого все свое умение вкладывал в актерский обыгрыш текста.

На генеральной репетиции воспитательский коллектив был просто в восторге. Ну просто руками всплески-

вал. Ну я прямо пел эти стихи и был цаплей, камышом и лягушкой одновременно. Я был горд и счастлив. Мне жутко хотелось тоже участвовать в концерте. А тут — я был один из солистов!

Ну что. Настал день гнева, пришел момент истины. Родители сидели рядами на наших стульчиках, как на горшочках, только офицеры на нормальных в заднем ряду, и мой отец тоже.

Кулисы были из простынь. Меня слегка протолкнули меж них, и я вышел, и все это увидел. Их всех было много, очень много, они были чужие, какие-то очень мощные, вся эта многочисленная мощная чужая масса была внимательно нацелена на меня — это парализовало, это было страшно и непереносимо.

Они захлопали, и я стал терять сознание. Воспитательница решила меня поддержать, подсказать, я заплакал, попятился, заорал от страха и был уведен с жалостью и позором. За простыней зал шумел и смеялся. По другую сторону этого савана, исконно отделяющего художника от публики, трясся и всхлипывал я.

Позор был полный. За занавесом взревел баян и зазвенели детские голоса. Дома я продемонстрировал родителям номер во всем блеске своего умения. Я был нервный ребенок. Публика меня шокировала. Я ощущал свою ей чужеродность, но жажду успеха понял как истину, страстно, через не могу.

5. Ужас театра жизни

Я был нервный ребенок. Такой нервный, что когда приходило время ехать в отпуск на Запад — накануне у меня прыгала температура в 39°.

Родители чернели лицами. Единственный терапевт был в гарнизонном госпитале. Ближайший педиатр — в районной больнице. Они рассматривали анализы и рентгеновские снимки, щупали желёзки и слушали легкие — и разводили руками. Неясный диагноз особенно

тревожен... А дороги — неделя на поезде. Лайнеры еще не летали, авиация была относительная.

Лучшие доктора-практики на свете — это старые земские и армейские врачи, съевшие зубы и потерявшие волосы на всеобъемной низовой работе в глубинке, и не сделавшие карьеры по причине отсутствия амбиций и слабости к бабам и выпивке. Они плевали на трафареты.

В полку был такой вольнонаемный старичок, нюхнувший лазарету еще чуть не в русско-японскую.

Он заглянул мне под веки, постукал прыгнувшие колени и проследил, как розовеет на коже мраморный след от проведения ручкой зеркала.

— Нервный какой у вас мальчонка, — сказал он с каким-то игривым одобрением. — Прямо артист. Переживает все, да? Балуете? Истерики бывают? Вообще не плачет? Ну, ты, конечно, герой, но вы это зря, нельзя же все внутри держать, лучше уж выпороть иногда, но пусть порет. Что? Ничем не болен, езжайте спокойно, не будет у него утром никакой температуры. Боже мой, чему теперь учат, это обычный нервический припадок, впечатлительный мальчик переживает будущее путешествие. Вы что, Тургенева не читали, Толстого не читали?

В тот год отпуск отцу дали зимой, и мы поехали в родной Ленинград. Курьерский «Москва — Пекин», купейные билеты оплачиваются, настольные лампы под абажурами и пепельницы над диванами.

И вот любимого, первого и пока единственного внука ленинградская бабушка повела впервые в жизни в театр. Это был знаменитый театр марионеток Деммени, угол Садовой и Невского. Бабушка достала билеты во второй ряд середина и надела чернобурку и какой-то охрененный перстень. Она была жена профессора и полковника. Я был в матросочке и уже менее жиртрест — полным весом я их не опозорил.

Давали «Мальчик-с-пальчик». И чем-то эта хренотень вызвала у меня опасения с самого начала. Я сказочку-то помнил. Там людоед людей жрал в ночном лесу. Этот сюжет не показался мне развлекательным.

Я поделился опасениями с бабушкой, и она со странным легкомыслием успокоила, что все это куклы, маленькие, деревянные, и ничего страшного не будет.

Для начала в зале погас свет и стало темно. Мне сделалось не по себе.

Потом раздвинулся занавес — и ни фи́га там были не куклы!!! Там был здоровенный дядька и здоровенная тетка, и они сидели на старинной кухне, и освещение было мрачноватое, а разговаривали они какими-то натужными, напряженными, неестественными, чреватými неизвестно чем голосами. Они двигались и разговаривали так, эти два человека, как нормальные люди себя не ведут. В этом было что-то неестественное. Это вызывало непонимание и тревогу. Что-то в них было не так, ох не так!..

Я вцепился в бабушкину руку.

Тут появились очень симпатичные куклы на ниточках. Но голоса их тоже были... невеселые... необнадеживающие были голоса. Короче, веселья и радости эти голоса не сулили.

И свет-то был на сцене какой-то мрачный, угрожающий. А тут еще музыка зазвучала — ну просто страшно стало от этой музыки.

— А свет в зале зажгут? — прошептал я бабушке.

— Когда будет антракт.

— А скоро будет антракт? — надежда во мне как-то воспряла.

— Тебе разве не нравится?

— Нравится... — с упавшим сердцем ответил я.

Когда менялись картины, свет вообще гас, и это было вообще ужасно. Я пристроился к бабушке поплотнее. Я перед этим-то радовался, что пойду в театр! Я не мог подумать, что театр — это так... тоскливо и опасно: неинтересно и страшно, честно говоря, и не хочется нисколько, до конца бы досидеть.

Тут вспыхнул синим и серебряным ночной лес, и братья-марионетки пошли по нему, и шептались они тревожно, и ждали беды. Ну, и попали в какой-то замок,

где их должны были сожрать. Я покрылся холодным потом. «Это же куклы», — успокоила бабушка.

И тут вошел настоящий людоед!!! Здоровенный волосатый бородатый зубастый мужик с огромным ножом за поясом на толстом брюхе!!! Страшный и жрущий детей!!!

Не помня себя, я заорал благим матом. Я зарыдал и усунулся бабушке в живот. (Много лет спустя мне стало казаться, что людоед слегка смутился.)

Бабушка проявила твердость в воспитании мужчины, непосредственно переходящую в идиотизм, садизм и нарушение общественного порядка. Вместо того, чтобы вынести меня из зала к чертовой матери, она стала зажимать мне рот, качать на коленях и убаюкивающе шипеть в ухо, что все кончится хорошо.

Я отлепил лицо от ее брошки с камеей и обернулся на сцену. Там Людоед занес нож над одним из братьев-марионеток.

Я издал вопль. По-моему, у Людоеда затряслись руки с ножом и едой. Рядом была очень доброго вида жена Людоеда, но она была тоже живая, большая и настоящая, и я завопил еще раз. Да вы охренели!!! Людоеды!!! Что это!!!

Тут бабушке прокомментировали чернобурку, ум и внука, и она понесла меня вон, причем я регулярно открывал глаза посмотреть, на сцене ли еще семья людоедов, и вопил как резаный, как сверлящий свисток, как под ножом!

В фойе мне дали попить. Я не хотел пить. Я лязгал зубами по стеклу, давился и облился. Я был весь мокрый от пота.

Вокруг нас похаживал невысокий полноватый и смугловатый мужчина, лысеющий со лба, со смоляной странной маленькой бородкой-эспаньолкой, он скрещивал руки на груди коричневого пиджака, потирал ладонью щеку, склонял голову на бочок. Потом он подошел и заговорил с бабушкой. Потом со мной. Это был Евгений Деммени. Он был в театре. Он наблюдал нетипичную

и нежелательную реакцию. Он знал детскую психологию и редко ошибался.

— А ты знаешь, чем кончится эта сказка? — спросил он.

Я кивнул, переставая всхлипывать. От него исходила очень добрая, неопасная властность.

— Значит, ты знаешь, что людоед никого не съест, и все останутся живы?

Я снова кивнул.

— И ты знаешь, что это театр? И это артисты, и они потом будут кланяться зрителям.

Я пожал плечами. Он улыбнулся, вздохнул и кивнул.

— Реакция верная, — сказал Деммени бабушке, — но уж очень сильная и непосредственная. При том, что мальчик развитой. Очень впечатлительный. Ну — наша смена, артистическая натура.

Он потрепал меня по голове и отошел. Бабушка поменялась местами на задний ряд. Я досидел, зажав уши и сжавшись за спинкой кресла.

Годы спустя я еще успел встретиться с великим кукольным режиссером Евгением Деммени. В марте 1968 Ленинград отмечал его семидесятилетие: среди поздравлявших был и я — студент ЛГУ от университетской театральной студии чтеца. Деммени был сед, брит, крючконос, печален и счастлив. Он помнил этот случай — единственный в его практике: дети не плакали на спектаклях гения!

— Вы были ребенок в совершенно дореволюционном стиле! — и он пошевелил пальцами, изображая кудряшки.

6. Мой первый бенефис

Тогда же, ленинградской зимой, меня как-то сдали на воскресенье соседке по огромной коммуналке. Взрослые отправились в гости к одной из семей огромного родственного клана, а соседка была интеллигентна, родительская ровесница и без личных перспектив. Она по-

обещала культурную программу, а погулять по городу с ребенком ей куда как хотелось...

За ручку она повела меня к Медному Всаднику и начала просвещение:

— Вот на этой лошади сидит...

— Это не лошадь, а конь, — наставительно прервал я.

Соседка склонила голову к плечу и посмотрела внимательно, насладившись милым юмором ситуации. Ей предстояло еще много наслаждений в этот день.

День был погожий, я не устал, мы догуляли до Марсова поля.

— Вот видишь, дядя с саблей в руке? — она указала на памятник Суворову.

— Это не сабля, а меч, — строго поправил я.

Она прыснула.

— Меч! — раздраженно настаивал я.

— Меч, меч, — успокоила просветительница.

Перейдя через мост и освидетельствовав Петропавловку, мы оказались у памятника «Стерегащему». Соседка тетя Мила прочитала литой текст.

— И вода, которая вливается потоком в это отверстие...

— Это не отверстие, а люк, — с усталостью и отвращением сказал я.

Вечером семья хохотала над ее рассказом. Описание следовало в восторженных тонах и юмористическом ключе. Я сидел скромный и гордый. Бабушка смотрела сурово: эта бабушка не одобряла детских вольностей и склонялась к «Домострою».

— Нет, вы понимаете: я ему рассказываю, а он тут же меня поправляет!

Я был тверд в своих знаниях. А число авторитетов сводилось к минимуму. Их было два: папа и мама. Прочие могли ошибаться. Потакать их невежеству было незачем. Мною двигало не столько стремление к самоутверждению, столько приверженность истине.

Впервые я спорил со взрослым культурным человеком. Какая-то поверхностная малообразованность, про-

явившаяся во взрослом культурном человеке, меня даже удивила и разочаровала.

И вот с тех пор это чувство не покидает меня уже никогда.

Интермедия. Что нам читали

Наша Таня громко плачет — все равно ее не брошу: оторвала мышке лапу. Культурное поколение — это дети, выросшие на одних и тех же книжках. Маршак, Барто, Михалков формировали сознание «от двух до пяти» и чуть старше в некий единый культурный макрокосм.

Сейчас вы можете ржать, и я могу ржать, и кони могут ржать, но тогда в племянниках у Дяди Степы ходила вся детвора — того уровня, где вообще читали книжки, поскольку нищих, бедных и малограмотных было ведь большинство... «Дядя Степа» таки да вчеканивался в детские мозги и повторялся с восторгом: он был четок и харизматичен.

Ушлый Михалков набил страну безразмерными тиражами. «Пьеса для чтения», тонкая такая книжка «Зайка-казнайка» настигала ребенка, как детский вариант Медного Всадника. Зайчик там был куркуль и пытался эксплуатировать Лису в домашнем хозяйстве: «Воды наносишь, полы помоешь — сядешь, посидишь. Обед сготовишь, стол накроешь — сядешь, посидишь. Только и знай, что сиди себе весь день!» Этот социальный протест домашней прислуги я помню до сих пор.

Уже Чуковский был для нас не то чтобы сложноват... странноват?.. да тоже нет, но что-то в нем было эстетически чужеродное. А вот был он, братцы, человеком другой культуры, более сложной, изощренной, богатой и условной, с глубиной и иронией, — и мы это ощущали! Он не был с в о и м! Его стихи не входили в твою душу органично и полностью — всегда оставалась перемычка между твоим сердцем и его словами. Вы поняли? Для детей — в них

была литературность, уже во взросло-отрицательном значении этого слова. О! — он писал для детей, сам при этом играл ребенка — а все-таки сам при этом ребенком не становился: автор не растворялся в лирическом герое; между актером и его персонажем просвечивала дистанция.

О деле. О прозе. О книжках, которые помнились. Которые ложились в основание твоего языка и миропредставления.

Буратино прекрасен. Бессмертен. Поле чудес в стране дураков. Именем тарабарского короля — откройте! Пациент скорее жив, чем мертв. На этом деревце вырастет много курточек для папы Карло!

Каким восхитительным писателем был Николай Носов! Сколько же миллионов (или все-таки десятков миллионов?) детей взвизгивали от смеха, слушая «Мишкину кашу»! «Ах, чтоб тебя! — сказал Мишка. — Куда ж ты все лезешь?»

А также страна была нашпигована «Томом Сойером». Твен высказался насчет Америки с дубинкой вора и корзиной убийцы, или наоборот, и Кремль его рекомендовал нам. Перевод Чуковского был эталоном, понимать мы этого не могли, но ощущение-то проникало! Там была такая странная жизнь, что мы даже не задумывались. Почему «субботний отдых», если не работают только в воскресенье, как всем известно? Что значит «Давид и Голиаф», и чем они отличаются от двенадцати апостолов? Библия — все равно нечто архаичное, доисторическое, темное, неизвестное, чуждое. Как это — мальчишки могут носить шляпы?! Абсолютно инопланетная жизнь, но романтическая и познавательная, и герой достойный.

Ах да, и все читали итальянского коммуниста Джанни Родари — «Приключения Чипполино»: про классовую борьбу фруктов и овощей. Его же стихи про бедность хороших рабочих и так далее.

Слушайте. Приличные образцы. Сильная техника языка. Здоровый дух и оптимизм. Добро, победа, идеал, благородство. Ясные и категорические моральные критерии. Так еще и юмор.

Так еще и картинки были хорошие! Школа что надо. Фамилий Конашевичей и Добужинских мы не знали, но глаза-то видели. Да: романтизм с легкими элементами модернизма у стариков.

7. Мой первый выстрел

Летом отец впервые взял меня на стрельбище. В гарнизонном бытѣ это служило развлечением и поощрением.

Мы, человек пять «среднего и старшего дошкольного возраста», сидели на боковом склоне мелкой пологой балки позади огневого рубежа, и не наблюдали ничего слишком интересного. Все выглядело казенной процедурой — а вообразалось-то раньше как!

От группы офицеров в полевой форме отделялись очередные трое. Сменяя прежних, они подходили к малозаметной линии, доставали из кобур пистолеты и вставали боком к видневшимся впереди грубым мишеням типа силуэта человека по пояс. После чего по очереди докладывали:

— Офицер такой-то к стрельбе готов!

Левую руку они закладывали за спину, а правой стреляли после команды офицера сбоку:

— Огонь!

Стреляли они не по одному разу, а по несколько, и не залпом или по очереди, а кто как. Потом верхняя часть пистолета оставалась отодвинутой сильно назад, а вперед торчала тонкая белая трубочка. Тогда они докладывали:

— Офицер такой-то стрельбу закончил! — и руками приводили пистолет в нормальный вид. Совали в кобуры и уходили, сменяясь следующей тройкой.

Выстрелы не гремели, как в кино, а как-то невыразительно, нестрашно и негромко хлопали. Такой как бы круглый, гулкий, не очень слышный хлопок. После каждого выстрела рука с пистолетом слегка подпрыгивала вверх.

Мы сидели на солнцепеке, следили и томились. Тянулось все долго.

Но вот офицеры потянулись наверх, к машинам. Посреди поредевшей кучки обнаружился стол с бумажками и коробочками. И до нас как-то удивительно явственно донеслись обрывки фраз: «...патроны все равно остались... дадим, пусть пацаны постреляют...»

Психологическое состояние пацанов заслуживает внимания. Мы играли исключительно в войну. Мы стреляли из игрушечного или просто условного оружия. Идеалы солдата и героя мы впитали с молоком матери и гарнизонным воздухом. Мы гордились своими отцами и их войной. Мы не сомневались в себе и своих ценностях ни мига, никогда, других ценностей мы не знали и не представляли. И вот сейчас мы будем стрелять из настоящих пистолетов. Настоящими патронами. С настоящим грохотом. Из боевого оружия, которое убивает врагов на самом деле.

В такие миги появляется приближающее объемное зрение и объемное чувство. Видишь и ощущаешь сразу, вокруг, многое, подробно. Включается интуиция, замедляется время, сами собой просчитываются наперед в варианты мельчайшие намечающиеся движения и жесты.

Мы восприняли слова и намерения офицеров, наших отцов, нежеланным и дурным сном. Нам захотелось, чтобы все это нам только почудилось. Или чтоб на худой конец патронов оказалось мало, и времени уже мало, и необходимо было срочно уезжать, а стрелять нам уже некогда. Это было бы самое лучшее. Потом можно было бы выказывать страшное сожаление, что не удалось пострелять из настоящего пистолета!

Вдруг оказалось, что стрелять — страшно! Очень страшно!

— Эй! Ребята! Идите сюда! — махнул рукой снизу один из офицеров. — Хотите пострелять из пистолетов? — Он нисколько не сомневался, что подарок офицерского собрания будет воспринят благодарной детворой с восторженным ревом.

Никуда ребята не пошли. Даже не шевельнулись. Мы отвели от него глаза и стали смотреть перед собой — как бы никого конкретно и лично это не касалось.

Один из отцов подошел ближе к склону под нами:

— Толик! Хочешь пострелять? Спускайся быстренько.

Толик, глядя над его фуражкой, отрицательно покачал головой с тем отрешенно-деловитым выражением, как будто его тошнило, и аппетита скушать вкусное сейчас, как ни печально, не было.

Отцов задело за живое. У стола засмеялись. Пять больших встали внизу под пятью маленькими. Офицеры не могли поверить, что вырастили тайных пацифистов.

— Генка, пострелять хочешь?

Генка отвернулся. Он пошел в отказ уже не первым, и ему было легче.

Я сидел ни жив ни мертв. Я себя уже знал.

Сашка Писарчук был самый старший. Ему уже исполнилось семь. Осенью ему было идти в школу. Писарчук-майор не стал тратить время на переговоры. Он вскарабкался по склону и схватил сына за руку:

— Пойдем, стрелять научу.

У нас отлегло от сердца — жертва принесена! — но ох ненадолго. Сашка заорал благим матом, брызнул слезами и стал выдираться и оседать.

Внизу у стола вкусно захохотали: там уже пошел адреналин.

Оставался я. Я еще был пончик в длинных кудрях. Отец был, как бы это выразиться, не до конца убежден в превосходстве моих мужских доблестей над окружающими.

— Мишка — хочешь пострелять из пистолета? — весело и легко, без напора и понуждения, скинул он последнюю карту в этом избиении младенцев.

Я превратился в автомат. Я утвердительно кивнул. Я кивнул молча, но так глубоко и старательно, что сомнений оставаться не могло.

— Ну — иди сюда!

Я поднялся на деревянные нечувствительные ноги.

Во взглядах пацанов читалось сложное чувство: удивленное уважение, ненависть к превосшедшему их, презрение к слабаку по жизни и благодарность к уходящему с гранатой под танк.

На деревянных ножках я подошел к отцу и стал ждать самого страшного.

— Встань боком. Левую руку назад... вот так. Правую вытяни, выше...

И он вложил мне в руку жуткий и сверх моих сил огромный вороненый ТТ. Ужас у меня как бы заморозился, а осталось только отстраненное рассуждение. О том, что из такого большого тяжелого пистолета стрелять я не смогу. Я не смогу даже удержать его направленным в цель. А когда потяну спуск, что уже за пределами всех эмоций, то и прицелиться будет невозможно, и от отдачи, если у них-то рука прыгает, у меня он точно вырвется и упадет.

Я исправно исполнял указания, перестав даже думать, что не смогу толком произвести выстрел.

Отец присел рядом на корточки и наложил свою руку на рукоять поверх моей. И все сразу стало спокойно, надежно, хорошо, абсолютно понятно и безопасно: и даже неинтересно, вот ведь подлая человеческая натура! Я никогда не замечал, какая у отца большая, сильная и надежная рука. (В этом нет ни грана метафоры, это все чистая правда и только!)

Большим пальцем он снял предохранитель, а указательным надавил спуск моим пальцем на крючке. Оглушило не громко, толкнуло не сильно.

— Вот видишь, восьмерка, — сказал отец. — А в десятку?

Отец брал призы на соревнованиях и был ворошиловским стрелком еще в школе, до войны; тогда я этого знать не мог. Умение стрелять, никогда не тренировавшись, я унаследовал от него.

Все это я, конечно, не про стрельбу. И не про офицерскую туповатость в качестве педагогов. И не про сыновнюю любовь. И не про детский героизм. Я — про узловые точки судьбы. Развилки на дороге характера.

Ремеслом, мастерством, профессией, можно овладеть. И ум могут развить многие. И способностями, развивающимися в талант, может быть одарено немало людей.

И все это — дерьмо, если в нужный момент ты не можешь совершить шаг, который сам полагаешь достойным и правильным. Даже если старшие товарищи, более значимые и статусные, уже отказались от подобного шага и тем создали прецедент и почти избавили тебя от публичного стыда в случае отказа.

Пусть все зарыдают и уйдут — на тебя смотрит Нечто Высшее глазами смеющихся офицеров, прошедших фронт.

Ребята — клянусь: очень страшно в пять лет стрелять из боевого пистолета, когда ты не несмышленишь, а отлично осведомлен о грозной мощи боевого оружия.

На тех же деревянных нечувствительных ногах я поднялся обратно и сел на свое место на краю склона. Я ничего не соображал, мало что замечал и абсолютно ничего не чувствовал. Никакой радости преодоления, победы и тому подобное.

Вечером дома отец похвастался маме моим поведением, мне было приятно, и только.

Я начисто забыл этот мелкий детский случай, и вспомнил — яркое манчжурское солнце, раскаленная степь, выстрелы, пороховая гарь и оружейная смазка, над балкой — «студебеккер», два «доджа 3/4» и «виллис» командира полка, сидишь на неровных твердых комках спекшейся земли, — вспомнил все через много-много лет. Чтобы не забыть уже никогда.

Всю жизнь — я слышу ясно приглашение к главному.

И когда сделано то, что надо было — я поднимаюсь на склон в выжженной степи, смотрю перед собой и ни хрена не чувствую. Ни счастья свершения, ни радости победы, ни восторга преодоления, ни облегчения оконченного труда — ну ни хрена, кроме опустошенности и тупой прострации.

Должна лечь стальная струна арматурным лыком в строку. Строченьки набегут, а вот чтоб сложились они

в мелодию, звук и смысл которой достигнут Божьего слуха — струну надобно заплести в детстве, потом уже поздно.

8. *Моя первая оценка*

Отметки нам начали ставить на второй день в школе. Первое сентября, значит, для первоклассников был праздником без тяжелых последствий, а второго приступили к поощрению юных тружеников и градации интеллектов.

Учительница была гуманисткой. Очередная доктрина Министерства Образования призывала вспомнить дрессировку методом вырабатывания положительных эмоций по теории дрессировщика Дурова, гиганта отечественной педагогики среди млекопитающих. Поэтому для начала она ставила только хорошие и отличные отметки, и только по такому необременительному для малышей предмету, как рисование.

Вообще я рисовал не хуже других. Позднее я просто несколько лет занимался в школьном кружке рисования (правда, в другом городе и другой школе). Отец рисовал как художник, его картины выставлялись в Ленинградском Дворце пионеров, и он собирался стать архитектором, если бы не война.

Короче — учительница всем ставила пятерки, а несколькими, кто своими цветными карандашами уж вовсе фигню какую-то накалякал, поставила четверки. В таком контексте четверка из «хорошо» по пятибалльной системе превращалась в «плохо» по системе двухбалльной. Именно так это воспринималось бездарными неудачниками. Приветливая улыбка этой скотской баллораздатчицы мало что меняла.

У меня упало сердце. Я не ожидал. Я оказался в худшей четверти класса. Я был опозорен, школьное бытие было для меня опоганено. Меня легко и незаметно определили во второй сорт.

Я приплелся домой расстроенный страшно. Я даже плохо воспринимал все окружающее. Случилась неожиданная, незаслуженная, непоправимая беда.

Родители, однако, меня утешили, успокоили, просветили и развеселили. И оценка хорошая, и случай нечаянный, и раз на раз не приходится, и конец делу венец, и все впереди, и перспективы открыты. Я ожил и собрался быстренько нарисовать в тетрадке строчку палочек, как задано, перед тем как идти во двор играть.

И тут-то меня вразумили прочно. Что даже если задано вообще написать одну палочку и всё. Надо сначала переодеться. И вымыть руки. И аккуратно разложить на столе тетрадь, чернильницу и ручку. И сесть удобно. И чтоб было светло и ничего не мешало. И ни-ку-да не торопиться. И со всем вниманием и тщанием выполнить наилучшим образом то, что нужно. И все сложить. И тогда только быть свободным.

Что я и сделал. То есть: начал делать на весь срок всех дел.

А через три недели отца перевели в следующее место, и я пошел во вторую из многих школ в моей жизни, и в новом классе никто уже не знал, что моей первой отметкой была четверка.

...Через одиннадцать лет на другом конце Союза я кончил школу с золотой медалью первым учеником из двухсот тридцати человек выпуска: три одиннадцатых класса и четыре десятых, это был шестьдесят шестой год, реформа, двойной выпуск, переход на десять лет. И первым получал аттестат, и произносил речь от имени выпускников, и вся эта хренотень. Так для чего сначала надо было попортить мне настроение? Очевидно, есть люди, судьба которых — не пропустить своей мордой ни один ухаб на дороге к вершине.

Уже во взрослые годы я с наслаждением прочел в дневниках великого ученого и известного англомана академика Павлова: он, значит, русский студент, спросил у знакомого англичанина, что тот считает самым важным для достижения намеченной цели? И по кратком

размышлении англичанин отвечал: наличие препятствий. Оу, но почему, сер? Потому что в этом случае мой рефлекс будет постоянно напряжен, и я достигну своей цели вернее и быстрее.

Едва ли не все что-то значащие дела моей жизни неизменно начинались с трудностей, осложнений, провалов и всевозможных неудач. Словно Парень Наверху полагал, что я вообще живу слишком круто к ветру. И для того, чтоб тяжелый камень летел далеко и со свистом, не фиг его кидать, а надо сначала покряхтеть, угрозоздить его в ложке катапульты и оттянуть рычаги и тросы на полную, чтобы потом отпустить стопор — а дальше на счет высокой траектории и сокрушительного попадания.

Только не забывай: ты натягиваешь тросы и выверяешь прицел — а несет твой камень к цели все-таки Господь, если удовлетворен качеством и количеством твоих действий. Одаряя испытаниями — Он закаляет сильного и выбраковывает слабого. И пр.

9. *Моя первая книжка*

Я мечтал хорошо драться, лазать через заборы, свистеть в два пальца и скатываться на ногах с высокой ледяной горки. Я мечтал ездить на двухколесном велосипеде (пока не покупают...) и снайперски стрелять из рогатки (найдут — репрессируют и обезоружат). Я мечтал получить в качестве верхней одежды и обуви кирзовые сапожки и черную телогрейку — высший шик наших пацанов. Короче, умение читать в приоритетную шкалу вообще не входило. Я и так был умнее, чем приличествовало мужчине моего возраста и положения.

Родители же мои полагали, что вундеркиндом быть вредно. Что чем сложнее организовано животное, тем дольше оно развивается. Что каждый возраст надо прожить полноценно и адекватно. А в жизни — руководствоваться тактикой бега на длинные дистанции.

Короче, читать я научился не раньше прочих приличных первоклассников. Сначала и мама мыла раму до блеска, и мasha ела кашу до тошноты, и рабы не мы, но неизвестно кто, и вот однажды в воскресенье утром я проснулся раньше родителей и, в поисках занятий, взял книжку со стула у кровати. Комната была одна, телевидения не было, крутить радио я был не приучен, шуметь и будить родителей было рано.

Книжка была новая, тонкая, красивая, яркая, краснозвездный конник вздымал шашку и пушка изрыгала огонь и дым. Название на обложке было довольно длинным. Первое слово читалось сразу: «Сказка», а дальше я стал неторопливо разбирать знакомые по отдельности буквы. И у меня получилось! — «...о Мальчише-Кибальчише, его великой Военной Тайне и непобедимой Красной Армии».

И впервые в жизни я стал сам читать. И это было потрясающе. И было там, ребята — что слова, что настроение, что картинки.

Господи. Как же хотелось быть отважным и побеждать врагов. И как входило в детский растущий организм вещество идеала, и после этого организм формировался и рос уже с использованием этого неистребимого в нем вещества — а идеалом был образ героя, ценой своей жизни спасающего свободу и независимость Родины и ее трудового народа.

С возрастом мы научаемся формулировать, но чистота и сила детского восприятия, конечно, замутняются и слабеют. Приходят ирония, аллюзии, обыгрыш стиля. Аркадий Гайдар, стало быть.

Нам бы день простоять да ночь продержаться.

Дать ему бочку варенья и корзину печенья.

И все хорошо, да что-то нехорошо.

Я ходил под впечатлением этой книжки целый день и остался жить с этим впечатлением под коркой сознания на всю жизнь. С годами, более размышлениями и анализом эмоций нежели заимствованиями — овладев

психоаналитическими техниками, я просто научился открывать люки в трюмы психики и доставать старую информацию, как достают скрытый и постоянно действующий механизм, чтоб лучше разобраться в общем действии всей машины в целом.

Вот я и говорю чего. В книгах Гайдара — здоровое духовное начало. Хорошая шкала ценностей — мужская, патриотическая, воинская, благородная. Умение верить и умение добиваться. Так вдобавок там очень все в порядке с языком. Этого дети заметить не могут — но это входит образующим элементом в их чувство языка, владение языком.

...Прошло тридцать лет, и рвал душу с экранов голос уже ушедшего Высоцкого: «Значит, нужные книги ты в детстве читал!..»

10. *Мое первое сочинение*

Расписание уроков в начальной школе было внятным и не смущало разнообразием. Первый урок всегда арифметика, второй письмо, третий чтение, четвертый по мелочи — пение, рисован. и прочая физ-ра.

Ко второму классу я освоился. Я был примерный отличник и пел на ответах соловьем. Я сидел за первой партой перед столом, как отражение педагогических талантов учительницы.

Осень. Третий урок. Развитие воображения и речи. Рассказ по картине.

Картина висит на доске. Она напечатана на бумаге. Бумага на картоне, картон на веревочке, веревочка на гвоздике, гвоздик в раме доски. О, эти наглядные пособия!

Там колхозники собирали урожай. От урожая ломились края картины. Я твердо помню бахчевые и садовые культуры. Арбузы, дыни и яблоки с виноградом созрели одновременно. Половина заднего плана золотилась и колосилась обильной нивой, и там был красный комбайн.

А левая задняя половина сбегала к морю и была занята огородами, и кроме помидор с огурцами там лежали мерзкие фиолетовые бурдюки, и с того урока я уже никогда не мог отличить кабачки от баклажанов. Тем более что в забайкальской степи мы видели те и другие исключительно в виде консервированной икры кабачково-баклажанной, абсолютно неразличимой по цвету, запаху, вкусу и цене. Но это так, мелочь.

Еще там были лица колхозников. Тела у колхозников тоже были, и на телах была одежда, но это не привлекало внимания. Видимо, художник обладал истинно хорошим вкусом и соблюдал святое правило: не должно быть заметно, во что ты одет, одежда должна проявлять и выигрышно оттенять твою человеческую суть.

Человеческой сутью колхозников было счастье труда. Они улыбались, атели румянцем и сверкали улыбками, как наглядная агитация Медсанупра в коридоре стоматолога. Вот эти улыбки, подсознательно ассоциировавшиеся с ожидающей тебя бормашиной, настораживали. Они ориентировали в том направлении, что искусство условно, и верить ему буквально — нельзя. Что это такая игра по своим правилам.

Заметьте, дети. В те времена фруктов на Манчжурке не было. Никаких. Никогда. Нисколько. Вообще. Не росли они там! А привозить — госнабу на хрен было не надо. Грушу и виноград мы знали по картинам. От цинги мама кормила меня ломтиками сырой картошки.

Та учительница меня любила. Я ее ничем не изводил и всегда готовил уроки. И она вызвала меня не первым, чтоб другие тоже могли развернуться и блеснуть чем могли. И не последним — чтоб, значит, следующие мотали на ус. Валентина Кузьминична была очень славная.

И когда очередь дошла до меня — я уже собрался с мыслями. Я учел каждый овощ и каждое деревце. Я уже чувствовал, что могу рассказывать об этой картине бесконечно.

Во-первых, я дал происходящему название. Я встал, приосанился и объявил свой номер:

— З-О-Л-О-Т-А-Я О-С-Е-Н-Ь!

Класс затих, почуяв высокое качество исполнения и, возможно, заматывание всего времени до звонка. Несколько некрасивеньких девочек-троечниц восхищенно ахнули и всплеснули руками. Из этого контингента позднее формируются фанатки: сознавая личную недостаточность, они стремятся утвердить себя через хоть какую причастность к выдающемуся.

Начал я с тех бесспорных замечаний, что наступила осень и в саду созрели вишни. Наступила пора урожая. И тут (заткнитесь с вашим Прустом! я его обожаю, но тогда и слышать не мог о подобном) — я вспомнил вдруг вкус груши «бэра», которой кормила меня когда-то бабушка на Украине. Желтой, мягкой, сочной, ароматной, продавливающейся под пальцами, тающей во рту, стекающей на подбородок... Как мне захотелось грушу! Я очень любил груши. И арбузы. Но здесь ничего не было... И неизвестно когда мы поедем в отпуск на Запад, и кто его знает, лето это будет или нет, и будут ли там груши. Нет, честное слово, я всегда был равнодушен к еде, но тут пробило.

И ох рассказал я им о вегетарианской пище! Ох написал тяжесть арбузов (никогда не поднимал), аромат персиков (никогда не пробовал и живьем не видел), сок вишен (кислое терпеть не мог) и рокот комбайнов (даже не представлял, как они выглядят реально, не на картинке). Так сказать, доминантный очаг возбуждения центральной нервной системы распознана со своего участка, активизировавшись, на соседние участки мозга. И я реконструировал по этому плакату систему колхозного хозяйства. Мужчина в кепке оказался бригадиром, а мужчина в галстук — агрономом. Мужчина в костюме и с орденом был председателем колхоза, а мужчина в тельняшке — само собой, демобилизованный моряк. Дети помогали родителям, ловкие мальчишки собирали фрукты с вершин деревьев, женщины пели за работой звонкие

песни, старый сторож охранял сады от хулиганов, и вот труды увенчались заслуженным успехом, а завтра будет праздник сбора урожая.

Класс был подавлен моим превосходством. Учительница смотрела на меня неотрывно и как-то необычно поводила головой.

— Садись, пять, — сказала она. — Вот, дети. Так у вас, конечно, не получится (она как-то странно всхлипла и уткнула лицо в ладони). — Но надо стараться. Видите, сколько можно рассказать по картине? — Клянусь, что она икнула.

Я еще посмотрел на картину. Они мне там все стали как родные. Я мог сейчас придумать всю жизнь каждому из них, а потом придумать их не поместившихся в картину знакомых и родственников и тем тоже придумать жизни.

Э! Я мог их убить, оживить! Сделать шпионами и разоблачить! Переселить их к нам в Забайкалье — пусть-ка попробуют здесь свой сад развести, ха-ха!

— Веллер, выходи в коридор! — закричала дежурная по классу. — Уже перемена, а ты все сидишь, уже все вышли!

11. *Мой первый кретинизм, он же первое горе от ума*

В третьем классе у меня была уже третья учительница в третьей школе. Эта была похожа на миловидную чахнущую тургеневскую девушку-перестарок, и мушки у нее были соответствующие, и темные кудряшки на смуглых висках, и костный остов постепенно обнажался в личике, и под ласковостью была наготове истеричность. Когда я узнал о существовании тургеневских девушек, я их возненавидел.

Ее звали Тамара Федоровна, и она так отчаянно хотела быть сильно культурной, что аж комплексовала. И очень привечала хороших учеников как людей в зародыше культурных.

И вот на чтении она нам прочитала по книжке стихотворение Маршака. И выписала на доску сложные слова из него. И благосклонно и культурно стала объяснять:

— Так вот, дети, в этом стихотворении Сергей Яковлевич Маршак...

Я отчаянно поднял руку.

— Чего тебе?

Я встал и сказал:

— Маршака звали Самуил Яковлевич.

У меня не было при этом ни единой мысли. Ни задней, ни передней, ни средней, ни нижней. И чувств никаких не было. И слово «автопилот» я еще не знал. Ну все проще простого: она сказала неправильно, а надо говорить правильно, и я знал как, и я сказал. Все. Никаких покушений, издевок, подковырок, упаси бог.

Ну, и она поправилась, по-моему вполне спокойно:

— Простите, я, конечно, оговорилась. Спасибо, Миша. Садись. В этом стихотворении Семен Яковлевич Маршак...

Я опять потянул руку. Уверенно и совершенно спокойно. Ну регулировщик.

— У тебя вопрос? — приветливо спросила Тамара Федоровна.

Я встал и доложил:

— Маршака звали не Семен Яковлевич, а Самуил Яковлевич.

И сел.

Ну, она просто в первый раз не расслышала. Ну, понятно, она вообще не знает, как зовут Маршака. Она, конечно, сильно и сразу упала в моих глазах. Но я же этого никак не показал! Она — неправильно, надо — правильно, ну и я — правильно. А чего. Да ничего.

Соображательная зона мозга у меня оказалась словно под наркозом. Я не понимал, что я делаю. Ничего не делаю. Просто говорю что есть.

Кто-то в классе все-таки хрюкнул. Но смысла хрюканья я не понял. Я не понимал, что над происшедшим можно смеяться.

Тамара Федоровна все-таки покраснела. И посмотрела на меня с ненавистью. Но смысла покраснения я не понял. И смысла взгляда тоже не понял.

Я был умный образованный мальчик, вежливый и воспитанный. И я был полный идиот даже для своего возраста, и бестактный хам притом.

— Итак, дети, в этом стихотворении Самуил Яковлевич Маршак... — с тяжелой злобой произнесла она. Она тоже сейчас плохо соображала, ее заклинило, и свернуть с начатой колеи она уже не могла.

Чтоб я помнил, чего там наконец в этом стихотворении Самуил Яковлевич Маршак?.. С нас хватило и того, как его зовут.

Больше меня Тамара Федоровна не любила никогда. И не то чтобы придиралась, но из первых учеников я как-то выпал просто в рядовые первого ряда. Потрясающе другое: я никогда не придавал никакого значения этому ничтожному эпизоду! Я его тут же забыл! — ан помнил, значит...

С тех пор я регулярно ляпаю что думаю. Без коварного умысла и гордого героизма. На бритвенной грани наивности и идиотизма. Не понимая дубинной мощи неожиданной и неуместной правды. Да — я уважаю правду и она мне нравится. И я часто не успеваю въехать конкретно, что люди устроены просто по-разному. У меня вдруг просто анестезируется участок мозга, оценивающий восприятие моих слов окружающими.

И все-таки я никогда не мог понять толком, как может приличный человек болезненно реагировать на публичную поправку. Ну, любой может ошибиться, оговориться, не знать, выпендриться, делов-то куча... Я хорошо сейчас понимаю — а вроде и все равно не постигаю душой! — как знание одного может ранить и унижать незнающего другого.

Это облегчает жизнь и сберегает нервы. О большинстве своих врагов и недоброжелателей я даже не подозреваю.

Интермедия. Первый фильм

Во всех гарнизонных клубах сбоку сцены и экрана висел плакат — белым крупно по кумачу или зеленому: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино. В. И. Ленин». Разнюханная пото-ом концовка фразы вразумляла: «...поскольку оно одно достаточно доходчиво до малограмотного пролетариата и вовсе неграмотного крестьянства». Издатели Полных Собраний обсекли.

Под таким сокращенным девизом мы в клубах и смотрели все фильмы — исключительно по воскресеньям в десять утра: еженедельный детский киносеанс. А репертуар известный: от «Подвига разведчика» до «Кочубея» — военно-патриотическая тематика. Вплоть до вовсе старинных «Васек Трубачев и его товарищи» или вообще «Путевка в жизнь». Новьем вроде «Тайны двух океанов» баловали нечасто.

Ну, и показали нам однажды фильм с невразумительным названием «Последний дюйм». Правда, цветной. Ну, погасло, вспыхнуло, затарахтело, закрутилось. И — сразу.

И когда мы услышали срывающийся голос мальчика: «Что он делает?!», и увидели его светлые прищуренные глаза, и его отец ответил с размеренной тяжелой хрипотцой: «Это не каждому по плечу. Здесь все решает последний дюйм», а лицо отца было рубленным, суровым, и севший самолет скапотировал на пробеге и загорелся, и на фоне дыма санитары понесли носилки, и поплыли красные рваные титры, а музыка с пластинки в кофейне выплыла на поверхность звучания, и от этой мелодии холодела душа, — ох мы замолкли. И войны в кино не было, и людей мало, и не происходило ничего, а мы не дышали.

И когда заревел прибой, и грянула музыка во всю мощь, и загредел тяжелый бас, и поползло по береговому песку полотенце с тяжелым окровавленным телом — за тоненьким пацаном, делающим невозможное... ощущение передать невозможно. Это мороз по спине, и колкие

иглочки в груди и коленях, и спазм в горле, и слезы на глазах, и надежда, и мрачный восторг, и счастье. Слова «катарсис» мы знать не могли.

Не знаю, поймете ли вы — что значило: в Советском Союзе за железным занавесом, без телевидения и почти без радио, без любых реклам и в тоталитарной процеженной скудости, все советское и ничего чужого, импортного, капиталистического, непривычного, в этом разреженном пространстве — в кинозале — девятилетнему пацану впервые увидеть «Последний дюйм». Это было откровение, потрясение, суровая трагедия с достойным исходом, зубами вырванным у судьбы.

Эту песню пели мы все. Потом вышла пластинка, и мне ее купили. Музыка Вайнберга, слова Соболя. Бас — солист Киевской филармонии Михаил Рыба, и оркестр их же. Там начинали арфы (!), вступали контрабасы, а от соло рояля по верхам в проигрышах резонировали нервы.

Никогда у меня кумиров не было. Ни в чем. Вот только Дэви из «Последнего дюйма» был. Просто я не думал об этом такими словами. Он никогда не признавал своей слабости. Он никогда не признавал поражения. Ничто не могло поколебать его гордость. Он не искал утешений в своем одиночестве и ненавидел сочувствие. Он был мужественным, он был отчаянным, он был худеньким и миловидным, но находил в себе силы для чего угодно. Он был прекрасен. Он был идеал человека. Да: в те времена для нормального девятилетнего пацана Дэви из «Последнего дюйма» в исполнении московского школьника Славы Муратова, тогда на год-два постарше меня, был идеалом человека. И оставался таковым долго. И в том слое, в том этаже души, в котором человек пребывает вечно девятилетним пацаном, потому что ничто никогда не исчезает, — там этот идеал продолжает жить. И прибор греметь. И песня звучать. И самолет отрывается и дотягивает до полосы. И нет в этом ни грана фальши. Это не каждому по плечу, сынок. Здесь все решает последний дюйм.

12. *Первый толчок зависти*

В старинные года все жили ровненько, и выпендриваться могли только личными качествами. Силе и храбрости завидовать нельзя — ты свободен предъявить свое превосходство, раз хочешь и можешь. Если кого-то били за красивую дорогую вещь — это была не зависть, скорее классовая ненависть: мы не хотели быть как они, мы считали, что все достойные должны быть как мы.

Ну так тоже хрен. Комплекс «Я не могу быть как ты — так чтоб ты сдох» большую часть жизни был не понятен — неизвестен.

В детстве я мечтал быть скульптором. Это устраивало всех — я тихо сидел у стола и лепил из пластилина. Я отлично разбирался в его сортах. Хороший пластилин не лип к рукам, был плотным, не оплывал от тепла и цвета имел сочные и чистые. Я лепил лошадей со всадниками и без, экипажи с людьми, кошек вместе с подоконниками, домики для жуков и кузнечиков и самолеты с сидящими внутри летчиками в шлемах и комбинезонах. Все это было очень маленьким, миниатюрным. Где ж мы на все пластилина наберемся. Да и места. Все как-то оказалось подстроеным под размер небольших таких игрушек. Масштаб где-то 1:120—1:150.

Однажды я вылепил испанский галеон длиной сантиметров в девять — с полным такелажем. Порты в бортах были открыты, и оттуда глядели орудия с дульными отверстиями.

Скульптуры восхищали родительских гостей и отправлялись на районные выставки умелых рук и самодеятельного искусства, где неизменно проминались толстыми грубыми неуклюжими пальцами строителей и зрителей.

А потом искусство оказалось подмятым милитаристской средой. Я вылепил танк, и истребитель, и бронетранспортер, и везде сидели экипажи, и у экипажей были

автоматы со стволами из отрезков медной жилки и знаки различия на погонах — а сами солдаты и офицеры были ростом в полтора сантиметра.

Мой танковый парк вырос до семнадцати единиц разных марок — от БТ-5 до ИС-3 и Т-54. Для достаточного количества зеленого пластилина я смешивал бесполезные желтый с синим. На БТРы шел уже коричневый, на самолеты — бледноголубой из смеси синего с белым. Кабины самолетов были из желатиновых капсул для лекарств, разрезанных вдоль пополам лезвием. У меня была морская пехота и ВДВ в легких самоходках, и все было выверено по фотографиям в журнале «Советский воин» и газете «Красная Звезда».

У меня была санитарная машина, и с нее снималась крыша, и внутри на подвесных носилках лежали раненые под одеялами.

И вся эта роскошь занимала две коробки из-под пластинок. Сантиметров, стало быть, тридцать на тридцать — укомплектованных плотно, борт к борту, только я своими маленькими пальцами мог их так составить и оттуда достать.

Комбинезоны синие. Танкошлемы черные с ребрами, и шины машин черные. Генерал в ЗиМе, полковник в газике. Пулеметная команда в додже 3/4. Алые звезды на башнях и плоскостях и лычки на сержантских погонах. Было чем любоваться. Крошечный и настоящий армейский мир.

Коробки стояли сверху на книгах, в полке стеллажа, отлично входя между верхним обрезом ряда томов и низом следующей полки. На уровне моих глаз и даже выше — чтоб случайно не спихнули. Потому что стеллаж стоял в углу, под сорок пять градусов к стенкам, и за ним было пустое пространство.

Ну так однажды всю мою пластилиновую технику и вывалили на пол — с высоты человеческого роста — в пыльный простенок на пол, на доски, за книжный шкаф, всмятку.

Нет, вы поймите. Стелется чистая газета. Кладется пластилин. Берется бритва, иголка, спички, тонкая медная проволочка, латунная гильза от ружья 12 калибра. Ножницы, старые мамины маникюрные — резать проволочку. Ковшик с холодной водой — мочить пальцы, если пластилин вдруг липнет, некачественный.

И все разминается в ровные тонкие пластинки, и в шарики, а из них в диски, и в колбаски, а из них в полоски, и все подрезается бритвой, и составляется, и слепляется, и швы заглаживаются спичкой, а иголкой режутся люки в башнях и дверцы в кабинах, а лычки и ребра шлемов катаются толщиной в нитку, и они не должны прилипнуть к пальцам или газете, а должны прилипнуть куда надо — красные лычки на зеленых, или черных, или голубых погонах. И люки должны открываться и закрываться, а танкисты должны торчать в них, чуть прилипающие от легчайшего нажатия пальца, а от такого же легчайшего нажатия они проскакивают в башню, и люки закрываются. И все было копией настоящего. Вплоть до понтона, который мог вплавь везти на себе танк в тазу или в луже, или рисунка запасных траков на развале лобовой брони ИС-3.

Настоящая сказочная крошечная Армия.

И родительский гость, больше некому, смотря книги, по неловкости, и не заметив, видимо, свалил коробки за книги. За туда на пол на хрен.

Войдя в комнату и кинув случайный взгляд, я не заметил их на месте и немного забеспокоился. Я спросил маму с папой, не брали ли они мою технику показать гостям, но они не трогали! С тоскливым подозрением я опустил на четвереньки и заглянул под шкаф.

Они были там, за ним, на полу, в пыли, косо стоящие в тесноте, в темноте, и кое-что — по отдельности от коробок. Вывалилось в стороны.

Я зарыдал горькими слезами, не помня ничего. Копилось это у меня, кстати, года два. Других сокровищ у меня не было. Игрушки и вещи меня интересовали

очень мало. Это было не какое-то дурацкое хобби (слова такого не знали), — в этом важном для себя занятии я не имел себе равных и полагал в нем всю свою будущую жизнь.

И вот какой-то лысый кретин с усиками, подполковник херов, пародия на Чарли Чаплина, гадина, еще книжки ему, видите ли, дайте полистать, хер ли ему там надо, суке, свалил между делом это все.

Пришедший вместе с ним в гости сын (в гости — это двор перейти), мой приятель на год старше, Марик Лапида, чуть не убил отца от ненависти за содеянное и сочувствия к моей трагедии.

— Идиот! — орал он чуть не со слезами на собственного отца (!!!), — ты что, не видел?! Ты что, не мог их хоть осторожно переставить, если книжки смотрел?!

Отец-Лапида испуганно и виновато пожимался и неуверенно повторял, что он, вроде, ничего не ронял... ей-богу... Ему было до жути неудобно, он не знал, куда деваться.

Из нижних полок вынули книжки. Я лично, никого не пустив, полез в пыльную полутьму. Я вынимал мое помятое изуродованное добро и плакал.

Мне очистили стол и застелили газетами. Все общество собралось кругом и следило со скорбной тишиной. Периферическим слухом я улавливал прошептанные офицерские замечания насчет эвакуации техники и личного состава после ядерного удара и корпусной ремонтной базы. Взрослые были бесчувственные сволочи, но от их замечаний делалось легче, юмор излучал какую-то сильнейшую витальность.

Повреждения оказались гораздо меньше ожидаемых и все вполне исправимы. Моя советская бронетехника была сработана на совесть, а пластилин в доме признавался только хороший, а не всякая дрянь. Коробки упали удачно, многое вообще почти не повредилось. Я хранил их до конца школы, а потом всю жизнь во всех переездах их хранили родители.

...Так это я к тому, что годы спустя в Ленинграде мы встретились с Мариком Лапидой.

— А помнишь, у тебя тогда коробки с техникой за шкаф упали? Так это я свалил, — вдруг признался он. И в улыбке было больше удовлетворения, чем раскаяния.

Я раскрыл рот. Помолчал. Понял. Но спросил:

— На фига?

— А так, — он пожал плечами. — Завидно стало. Я так не умел. А чего, думаю, пусть и у него не будет.

Мы помолчали.

— А свалил на отца, — сказал он.

— Ты извини, — сказал он.

— Я потом жалел, — сказал он.

Он был не первый такой из всех. Он был первым из открывшихся. И лучшим из них из всех. Потому что остальные не жалели. И я ему благодарен. Я впервые заглянул за книжный шкаф, в темный угол, в пыльную глубину, куда проваливается лучшее, что у тебя есть. И я это нашел, и достал, и поправил, и оно уцелело.

Люби тех, кто кусает локти: они делают тебя выше.

13. *Моя первая правка*

Я писал без ошибок. Я читал, читать я любил вдумчиво, с расстановкой, я все любил делать с расстановкой, — и язык, язык как мелодика, язык как система, язык как гармония медленно осаждался и устаканивался во мне. Учительницы вскоре привыкали, что я говорю книжкоподобным образом — сложноватым и гладковатым литературным стилем.

Я помню, как впервые задумался о несовершенстве и неправильности русской академической грамматики классе в третьем. То есть слов таких ученых я, естественно, не знал, а просто ощутил однозначно фальшивость и ошибочность в письменном воспроизведении разговорной речи. Какой-то пионерско-мальчишеский рассказ

был напечатан в газете «Пионерская правда». Тогда ее выписывали всем детям в приличных семьях.

В рассказе том кто-то вступает в какой-то конфликт, делает что-то правильное и рискованное, и один из сочувствующих одобрительно и уважительно восклицает: «Вот это — да!» Ну так тире в данной фразе на хрен не нужно и свидетельствует лишь как об убогости мышления корректора, так и о полной умственной ограниченности ограмматившего подобную графику филолога.

Мы все так пацанами всё время говорили. И смысл ясен, и эмоции понятны, и вообще это уже устойчивая фраза, относительно которых допустимо говорить об индивидуальном аграмматизме. Но это, видимо, сложно. А проще всего так:

Изначальна устная, разговорная речь — она и есть вторая сигнальная система. Письменность — условный код, огрубленный материальный носитель живой речи. Первейшее назначение письменности — адекватно передавать речь.

Интонация, пауза, акцент — смысловые элементы речи. Меняя их — мы меняем смысл речи, ее суть.

Правила письменности необходимы — особенно учитывая региональные и индивидуальные различия и особенности. Но правило вторично — отражает правильность. А не первично — не диктует правильность. Хотя для малограмотных — именно диктует! расширяя кругозоры неведомого им, давая кроки к карте терра инкогниты.

«Вот это да!» — произносится без знаков препинания, безо всякого тире. Это триединое восклицание. Оно выполняет функцию трехсложного междометия. «Вот это — да!» — типа «Вот это — нет!» или «Вот это — средне!» Попытка воткнуть внутрь выражения внутреннюю грамматическую связь — безграмотность.

Сравни. «Вот это — мост!» Хороший, одобряю, а может быть и другой, раньше был плохой. «Вот это мост!» — просто восклицается. Тире предполагает воз-

возможность и утверждения, и отрицания. «А вот это — не мост!»

«Вот это — да!» — свернутое «Вот это есть да!» «Это» — подлежащее, опущенное «есть» — сказуемое, «да» — дополнение, отвечающее на вопрос, каково есть подлежащее, «вот» — определение, уточняющее подлежащее: не просто «это», а именно «вот» «это». Получается нормальное предложение, которое с изъятием одного из двух главных членов предложения, сказуемого «есть», превращается в неполное предложение.

Допустимо и без тире трактовать это как неполное предложение. Но наличие либо отсутствие тире — меняет интонацию, и тем меняет смысл, и тем меняет нагрузку в тексте, и меняет мелодику, а смена мелодики — это чужой акцент в языке, искажение, фальшь, мы так не говорим.

Без филологии: никогда ни один пацан не говорил: «Вот это — да!» Это напоминает выученный интеллигенткой мат, произносимый с ошибкой. Это напоминает толстозадую травести в роли подростка с невыносимо фальшивым задором. Филологом-то я стал потом, а без ошибок писал всегда. За исключением редкой казуистики — я никогда не понимал, как можно читать книжки и писать с ошибками, так же как не понимал, как можно целиться с упора без учета времени — и не попасть, элементарно совмещая цель с мушкой в центре прорези.

Итого, это был уже следующий класс, и следующая учительница, и звали ее «Полтонны» или «Бомбежка», потому что она была толстая. И как-то она ничего особенно не любила. Мы с ней отрабатывали номер по разные стороны учебного барьера.

И был диктант. И я получил четверку. И сильно удивлялся. Это было вообще странно, но самое странное, что это она мне исправила «матрас» на «матрац».

Я пожаловался на странность родителям, они переглянулись, в доме уже был словарь, шли реформы языка,

узаконили двойное написание: и «с», и «ц». Они утешили, успокоили, развеселили и велели плюнуть.

Я и плюнул, но полагалось выполнить работу над ошибками, и я упрямо повторил «матрас» и придумал проверочные слова «матрасик» и «матрасовка». Да я только позавчера читал про матрасик для рысенка у Чарушина!

Обратно работу я получил без оценки: стояла просто галочка красными чернилами.

— Вера Николаевна, — спросил, — а у меня почему нет оценки?

Вера Николаевна кратко объяснила, что это не обязательно.

— Но у меня все правильно сделано? — настаивал я.

Вера Николаевна кратко пробурчала, что в общем.

— Так у меня в диктанте правильно? — вникал я.

Вера Николаевна отвечала, что там все указано.

— Но вы же мне исправили «матрас» на «матрац» и зачитали ошибку!.. — пытался уразуметь я.

Класс въезжал в разговор и посильно держал мою сторону: учитель не прав — это святой праздник.

Бомбежка покраснела молодым румянцем и закричала, а кричала она визгливо, что диктант был на прошлом уроке, что в тетради все указано, что она не понимает, почему я недоволен своей четверкой, не всегда удается написать на пять, а сейчас я срываю урок, а уже время объяснять новый материал.

— Самоучка! — отчетливо проговорил Сережка Вологдин с камчатки. И тут же поплатился замечанием в дневник — результат моего эгоцентризма.

На следующий урок уязвленная Бомбежка притаранила словарь 37-го года. Там был «матрац» и не было «матраса». Она тихо сияла.

— Книга царя Гороха, — пробурчал Сережка Вологдин. — Еще бы дореволюционный принесла.

— Скорей бы домой — и на матрачик! — весело закричал озорник Серега Фомин.

— Вырасту — матроцом буду, — сказал длинный Кимка Минаков.

Третьегодник Доронин дисциплинированно поднял руку и стал раскладывать длинное тело из-за парты вверх, вертикально:

— Вера Николаевна, так как надо правильно говорить: раз и на матрас или...

И тут Бомбежка завопила.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В начале пути.

1. *Мое первое стихотворение*

В пятый класс я пошел в очередную школу. Гранитная громада с колоннами светилась над каналом Грибоедова, и дело было в Ленинграде. Отца откомандировали в академию, и семья наслаждалась цивилизацией.

Отец выбыл из Ленинграда в действующую армию в сорок втором году, и проносил погоны всю жизнь. Род его был отсюда, и род был крут. Он восходил еще к прадеду бабки: и был тот прапрапрадед николаевским солдатом из кантонистов с георгиевским крестиком за Крымскую кампанию. Выслужив двадцать пять лет полной, *инвалид*, то есть не калека, а уволенный по сроку и закону ветеран, получал право проживания в любой точке Империи, включая столицы. Переведенный за рост и риск в Петербургский гарнизон, дед здесь и осел. Женился с приданым и до девяноста четырех лет наводил страх на родню, покуривая трубочку и уча детишек грамоте, а всех прочих — порядку. Я кланялся его могиле на Преображенском кладбище.

В семье никем не восторгались и ничему не умилялись. Жизнь сурово рассматривалась как поле трудов и преодолений. Бабка вышла из бедной многодетной семьи и по достижении семнадцатилетия, окончив курсы

сестер милосердия, в девятьсот пятнадцатом отправилась с полевым лазаретом на фронт Мировой войны. Дед вообще рано остался сиротой, учился в университете за казенный счет и неясным образом промотался по Гражданской, залетев до 1-й Конной. Никогда он о себе не рассказывал, вообще был кремень молчалив, но фотографии на стенах, дагеротипы-сепии, разжигали любопытство кавалерийско-пулеметной атрибутикой... Первый дедов орден Красного Знамени был без колодки, на подушечке и с винтом, а пара друзей-стариков на праздники, выпив-выпив-закусив, вспоминали легенды фантастические и с неясностями. В описываемые времена дед был уже профессором и заведовал кафедрой кишечно-полостной хирургии.

Коммуналка была огромная, и бабка держала ее в кулаке и в страхе. «Я профессор кислых щей, — говорил дед, — живу в коммуналке». — «Шура, так похлопочи», — подталкивала бабка. «Пусть раньше сдохнут», — отвечал дед. В 50-е годы ленинградские профессора еще запросто жили в коммуналках.

Как в октябре солнышко-то в Ленинграде зашло до весны, как — реально — полярная-то зима началась, серые дождики со снегом и тьма утром и днем, так тошно мне и стало. В Забайкалье-то солнце лупит!

Утром отец ехал в академию, дед в институт, мать на работу, и тетка с молодым мужем на работу, и домработница приходила бабкиного сурового характера, и брат мой трехлетний все простужался, а я делал уроки и ходил во вторую смену. Тошно мне было и неудобно. И хрен кто до вечера пошутит или одобрит.

А как выл ночью трамвай на Садовой! Как он завывал, и металлически ныл, и скрежетал, и выматывал душу. И каждые полчаса били часы: бам-м! И холодильник: тр-тр-тр-тр-р-р-р-р-р-р-тук-тук-пух. И кто-то в туалет по дубовому паркету: скрип-пип, скрип-пип, блямс: «Ч-черт...» — наделся подреберьем на угол дубового же буфета. И дядька с дивана миролюбиво: «Хр-хр-хью-ю... хр-хр-хью-ю...» И дед из другой комнаты в ми-

молетном ночном кошмаре: «Ай...йй!..йй!.. аа-аа-а-а-а!...» Бабушка: «Тщ-щ-щ!!!» И тут в коридоре — Бу-Бух! — дальнобойщик дядя Саша выпал из туалета и свалил вешалку. И мама — нервически: «О господи, когда же это кончится». А на столе звенит стакан в подстаканнике — вибрация от машин. Никаких условий ребенку для отдыха.

А в школе — пять пятых классов, и в нашем 5-Д — сорок восемь человек, аж список в журнале дорисован ниже напечатанных граф. И все бы неплохо. И пацаны не дерутся. И никто не обижает. И учителя не придираются. А что-то не то... Не тепло. Не душевно. И не в том дело, что поначалу в новой школе всегда тоскливо. А в том, что нет какого-то доброго, тесного такого, свойского, общего духа — свойственного маленьким провинциальным городишкам, станциям и гарнизонам. Там дерешься, скажем, со станционными или зареченскими — а все равно все свои, просто другая команда. И учителя какие-то свои. А здесь — все сильно не свои, отчуждение такое, будто воздух между людьми обладает резко усиленными изолирующими свойствами, и личный каркас прозрачного пространства вокруг настоящей жизни и интересов каждого.

И только повезло нам с классной. Русачку звали Надежда Александровна Кордобовская. Такая чуть крупноватая, чуть полноватая, чуть смугловатая, темноватая, еще вполне молодая, приличных средних лет на наш взгляд, и не просто потрясающе обаятельная, но — учитель милостью Божьей. Она обладала небывалым талантом, поставив честную единицу за диктант абсолютному оболтусу, при разборе оценок откомментировать это так, что он верил в свой сдвиг к лучшему, был убежден в ее любовном, дружеском к себе отношении и осознавал, что на этом пути скоро станет писать грамотно. Справедливость, любовь, помощь и вера в одном флаконе — это было что-то потрясающее. Да мы в ней души не чаяли.

И форма, серо-сизая, с гимнастерками и фуражками, а'ля гимназическая. И гербарий в Юсуповском саду.

И сборы пионерского отряда, где я был звеньевым. И цирк, где сидел в первом ряду и сразу после вспышки в огромном фотоаппарате Кио я получил извлеченный оттуда здоровенный свой портрет, уже наклеенный на паспарту с надписью «Цирк от Кио».

Это я складываю всё, чтоб сообразить, из какого именно сора вырастают стихи. Ни хрена не из сора. Да-да-да, и можете застрелиться: граниты, решетки, шпильки и запах большой воды. Осенняя листва и петербургская архитектура.

Итак, на зимние каникулы нам было задано по русской литературе написать стихотворение о зиме. Это было смелое раздвигание горизонтов. Никто из нас отродясь не думал насчет возможности писать самому стихи.

Каникулы были длинные, и лишь в последний день, десятого января, я скатился с кухонных ступеней в коридор с чайником в обнимку. Он гремел, я орал, кипятик булькал.

Прибежали и заорали взрослые, и мне была оказана первая и последняя помощь: горячие штаны сняты, обваренная нога осушена ватой, обработана спиртом, и пусть подсыхает. Сидеть тихо. Все. Такова была медицина того момента во вполне медицинской семье.

Меня устроили в огромном дубовом дедовском кресле за огромным дубовым дедовским письменным столом. И спросили о развлечениях. И я подумал, что откладывать стихи уже не на когда.

Но каков момент: толчком к творчеству послужила физическая неполноценность!

Мне подали бумаги и чернил, то бишь тетрадь для черновиков, чернильницу-непроливашку и ручку с пером № 86, и я стал сочинять.

Получалось плохо. Никак. Я сделался уязвлен. Так что — я не могу? Пушкин и Лермонтов, — конечно, великие гении, но я ведь раньше просто не пробовал!.. Попробовал. Нет — никак не получалось!!!

Я сидел до ночи, но я его написал. Я помню рифмы первой строфы: морозы — березы, пурга — снега. С ко-

личеством строк в строфе был разнобой. Первая: абабссд. Вторая: аббсс. Третью не помню. Возможно, была и четвертая строфа. Добычи — дичи. Волк — промелькнет. Последние листы срывает.

Мне не удалось придать подходящему содержанию безупречную форму. Но четырехстопный ямб я выдержал! Эх, если б еще строк было везде по четыре...

Я аккуратно переписал на вырванный двойной лист, нарисовал сзади цветными карандашами рамочку, на левую страницу разворота приклеил неиспользованную родней новогоднюю открытку, и на завтра положил свое изделие в стопку на угол учительского стола.

Через день воспоследовал триумф! Мне не просто поставили пять — мое стихотворение оказалось лучшим в классе, на что я никак не рассчитывал. Я был о нем не слишком высокого мнения. Более того — оно оказалось лучшим на все пять пятых классов, получивших аналогичное задание! На все двести двадцать или сколько там человек! (Слушайте мистику чисел и совпадений: сорок шесть в среднем умножить на пять — получается те же двести тридцать человек, что и при выпуске семи классов совсем в другой школе много лет спустя!)

Мое стихотворение прочитали в других классах — вслух, перед доской!

Я поделился успехом дома. Но они там были так заняты все собственными делами и так привыкли к успехам своего клана, что не придали буквально никакого значения моему достижению, отреагировав на него как на нечто должное, правильное и в общем разумеющееся, хотя и похвальное. Все.

Стихи я писать не бросился. Не испытывал ни малейшего желания. Потребности не имел. Но. Но. В сознании появился новый пункт. Как твердый бугорок на месте пустоты ранее. Как узелок на веревке. Я мог писать стихи. Вот знал это о себе. Это было как серьезное расширение плацдарма жизнь.

Интермедия. Жизнь и книжки

И среди зимы мы вернулись на Дальний Восток, и это вам не стишки, проза жизни требовала к ответу и барьеру.

В новом классе дразнили и били за шикарное клетчатое пальто с котиковым воротником, построенное ленинградской бабушкой. Хоть бы на миг она задумалась, во что мне встанет в жизни ее дорогой подарочек! Меня били, пока однажды я, возвращаясь в темноте со второй смены, не выкинул его на помойку и не объявил дома украденным в раздевалке. Расследование назавтра уличило меня во лжи, но пальтишко уже тю-тю. Я был как исключение перетянут ремнем и в истерике требовал телогрейку и кирзовые сапоги, как все. И добился сапог и дешевого типового полупальто из магазина, и жить стало бы легче.

Стало бы, но дразнили и били за мешковатость и неуклюжесть на физкультуре. И я притащил с помойки кусок водопроводной трубы, и вбил в косяк два самых больших гвоздя, и сделал турник, и подтягивался и кувыркался. И заводил свой будильник на раньше всех и бегал по утрам вокруг территории. И из командировки в округ отец привез мне гантели. И в спортгородке научил прыгать через коня, что со стороны казалось сказочным полетом. И жизнь наладилась бы.

Наладилась бы, если бы я двум-трем в классе набил морду. А у меня не получалось. Я не мог попасть. А когда попадали в нос или ухо мне, я терялся и бывал бит. И я рискнул пожаловаться отцу на трудности жизни, и услышал спокойное: «Ну и дал бы ему». Я бы дал, да не давалось. Я накопил копеек и купил в культмаге брошюрочку типа самодеятельного учебника бокса для сельских секций. И в зимних варежках стал отрабатывать позы и удары на углу шкафа, мало что понимая. И весной на стадиончике за школой после уроков дал Обуху. Ну, дал не дал, но пацаны решили, что дал я. И через неделю, повторив это с Петей и с Голобоком, поднялся в классном рейтинге на четвертое место снизу, а оно уже давало права гражданства.

Борьба за гражданство начиналась в тридцать пять минут седьмого. Маленький пластмассовый будильник «Слава» трещал под подушкой, слышимый только мне. Тоскливый тонкий стрекот вытаскивал меня из сна, как леска — тугую рыбку из темного сопротивления омота. Подавляя ноющий стон на переходе из блаженного небытия в бодрствование, я заставлял себя встать. Зимой это происходило в темноте. Все еще спали.

Я натягивал уличную одежду и делал пробежку. Стесняться было некого — пусто: гарнизон вставал в семь. Со временем, когда я подсох и потянулся, а шаг сделался длинным и размашисто-легким, можно было уже не стесняться.

Вернувшись, я вешал нижнюю мокрую «пробежечную» рубашку на спинку своего стула до завтра и двадцать минут занимался гантелями. Тридцать отжиманий и сто приседаний удивительно быстро перестали быть проблемой. Крутить малые обороты верхом на перекладине очень просто, если один раз правильно покажут. А вот до десяти подтягиваний на турнике я добирался два года.

Если не зима, я набирал в тамбуре полведра воды из бочки и шлепал за сарай. Брать больше было совестно — воду привозили два раза в неделю, сорокаведерную бочку натаскивали из автоцистерны-водовозки на все хозяйственные нужды. Я опрокидывал на себя это суворовское ледяное ведро в укороченном варианте, ухал, растирался, выжимал трусы и в комнате вешал на проножку стула ниже рубашки.

В автозвезде я набрал свинцовых решеток из старого аккумулятора и расплавил свинец в консервной банке на плите. Форму сделал из сырого песка в посылочном ящике, и отлил себе кастет. Он слишком оттягивал карман, и я носил его в портфеле. «Миха с кастетом ходит!» Я дрался им только два раза с деревенскими — он играл роль оружия сдерживания.

Я был готов сравнить с пацанами мозоли и мускулы.

Какие стихи?! Я ушел в себя? Да меня в себя вбили! Я высовывался оттуда, только чтоб вырваться самым

грязным матом. Таким был наш профессиональный сленг, язык чести. Я сплевывал стружкой и пускал колечками дым сигарет «Армейские», 4 копейки пачка.

Я научился разрывать пополам червяка и ловить рыбу. Попадать из рогатки зеленой противогазной резины за тридцать шагов в бутылку. Ездить на велосипеде без рук, закладывая виражи. Я стал человеком в директорском кабинете под его личным рыком и стуком костыля, когда на спор прыгнул со второго этажа — они не знали, что в воскресенье в закрытом авиагородке мы с пацанами прыгнули с вышки для десантников, а это четыре с половиной метра, и нормально, считается, что сила удара равна приземлению с парашютом.

На 23 Февраля идиот-замполит решил номером программы озвучить школьные успехи детей военнослужащих. Не чаявший дурного, отец вернулся с торжественного багровый и поинтересовался дневником. Моя двойная бухгалтерия была в порядке, и он достал бумажку с перечнем баллов из кармана кителя. Я твердо помню две единицы по географии за демонстративное пренебрежение. Лучшей отметкой была четверка по поведению. С репутацией у меня было все в порядке. Дать мне могли только Федя, Муха и Беляйка, не считая второгодников. Я один владел верхней подачей в волейболе (вычитал в детской энциклопедии).

Я пообещал кончить год без троек, и меня пообещали не выпороть. Какие стихи?! Высокая поэзия пубертатного возраста! «Миха-псих» — это репутация.

Нет, но мы читали. Что мы читали? Боже, что мы читали!.. О! «Кукла госпожи Барк» и «Смерть под псевдонимом», «Атомная крепость» и «Капля крови». Подросток жует текст, не чувствуя вкуса слова. Интрига и характеры — вот что воспринимает подросток. Сюжет и главные коллизии, моральные оценки в их ситуативном проявлении. Запомните последнее определение!

В «Трех мушкетерах» нас, «культурную верхушку класса», читавшую книги, поражало что? Как могут друзья, рискуя жизнью друг для друга, иметь друг от друга секреты! Что ж это за дружба?..

В «Двадцать лет спустя» потрясало, что мадам де Шеврез могла провести ночь с Атосом, приняв его за провинциального священника, просто из озорства, для развлечения: презренная грязь разврата не соединялась для нас с благородством людей чести, французских дворян, подданных короля!

Жюль Верн, Александр Беляев, трилогия Георгия Мартынова «Звездоплаватели». Катаев — «Сын полка».

А ведь еще до этого были пгеинтегеснейшие книжхрестоматии массовыми тиражами: «Книга для чтения в 1—2 классе» (красненькая), «Книга для чтения в 3—4 классе» (синенькая). Там были простые и патриотические рассказы, над которыми мы издевались по памяти много лет спустя. «Иван Тигров» — как мальчик уничтожил немецкий танк методом подсыпания песка в дуло. И прочее. И бессмертное, памятное из «Батальона четверых»: «Огребай, руманешти, матросский подарок!»

И был блестящий капитан Блад — столь мужественный и изящный. Он ложился на душу. Через него проходил вечный, под копирку, узор верности и благородства, и ложился внутри тебя, как татуировка под кожей.

А еще был Джек Лондон, и приходил день, и ты впервые читал «Мексиканца». И не забывал уже никогда. И повторял себе потом всю жизнь, и повторял, и металл возникал в стержнях твоих костей, и злоба мешалась с уверенностью, переплавляясь в горькую мудрость, что сродни мертвой хватке поперек судьбы: «Риверу никто не поздравлял. Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам; колени его дрожали, он всхлипывал в изнеможении. И вдруг он вспомнил: винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться».

В тринадцать лет я прочитал в этом свою судьбу. Значит, хотел. Значит, чувствовал. Иногда в этом возрасте — как сердцем в просвет грядущих времен и событий глянешь.

Они бесчестны все до одного, эти гринго. Даже лучшие из них.

2. Мой первый рассказ

А восьмой класс я кончал в Белоруссии. Отца перевели на Запад. В доме было паровое отопление. А в городе — фрукты на базаре, театр и библиотека, и ходили автобусы.

Школьные «хулиганы» были добрые и кроткие ребята. Даже свинчатки никто не носил.

Сдали экзамены, загорали на днепровском пляже и шлялись по улицам.

Первый в доме телевизор! — черно-белый малоэкранный по нынешним меркам «Темп». Убили Кеннеди! (чуть позже). Хрущев в США (чуть раньше). Фидель, Куба, Хемингуэй, герой Италии партизан Федор Полетаев: ветерок с мирового океана, заграничный мир и его обманчивый блеск. И уверения писателей (ах продажные шкуры!), что западная литература блестяща, но русская глубже, мудрее, душевнее.

И Александр Грин — время великой славы Александра Грина! И «Водители фрегатов» Николая Чуковского. Короче — интернационализм, но там плоховато, а родина — это хорошо. А особенно крепость зла — все-таки США. *Зловещая аббревиатура. Поджигатели войны. Пузатые буржуи в полосатых штанах. Город желтого дьявола.

А меня никогда не покидает мысль, что ведь, вероятнее всего я все равно буду писателем. Ну, наверное. Пока можно не торопиться. Где-то там, впереди. Но направление примерно видно.

И в конце концов я угрожаю писать рассказ. Вот Бальзак, согласно серии ЖЗЛ, рано начал писать. Лондон в семнадцать лет уже напечатался и премию получил. Ну — пора, что ли? Попробуем? И скука, и дома никого, и настроение соответствующее, задумчивое.

День был яркий и солнечный. Аморфный замысел был заточен на драматичность. Чтоб было более литературно, более как настоящая повесть или рассказ, — ощущалось, что надо все действие организовать не здесь и не сейчас. Книга — это где-то, когда-то. (Позднее я написал

о механизме этого стремления в эссе-анализе «Молодой писатель».)

Взял я обычную тетрадь в линейку, авторучку школьную недорогую, сел за стол свой ученический письменный, и стал сочинять первый в своей жизни рассказ. А что. Сочинения-то я всегда писал лучше всех.

И до возвращения родителей с работы я его написал. Пол-тетради примерно он у меня занял.

Дело было в Нью-Йорке. Возможно, на Бродвее или близ него. Но ущелья меж небоскребов где-то тут — это точно. Серые такие ущелья, дым от автомобилей, смог большого города. (Боже мой!!! Почему свой первый рассказ я написал о неведомом мне, чуждом мне, по моему разумению, Нью-Йорке, который потом, через четверть века, мне аж снился, так я мечтал туда попасть из СССР?..)

Главный герой был итальянец. Я никогда не видел итальянцев. Я вообще никогда не видел иностранцев.

Это был старый итальянец. Он был седой, у него были грустные глаза, и он был бедный. Он работал чистильщиком обуви. (Джанни Родари. Брошюра «От чистильщика сапог до миллионера» из О. Генри. Бродячий персонаж мировой литературы: старик-неудачник в рассказах о подвигах и надеждах молодости.)

Итак, рассказчик чистит у него обувь, и чистильщик рассказывает, как был в молодости влюблен в Италии, но не было денег, и он поехал в Америку на заработки, и вот погоня за деньгами его стубила, и надо было вернуться к невесте и жениться, а теперь уже поздно, у нее, наверное, внуки, а он зря погнался на злой чужбине за деньгами и карьерой, а теперь возвращаться уже и смысла нет. Возможно, кстати, что глаза у итальянца были голубые, как лазурное небо его родной Италии. В Нью-Йорке небо я воображал поганым, неюжным, хмурым — так рисовали на советских плакатах про злую Америку.

Вот такой был грустный рассказ с открытой концовкой.

Я-то знал, кого я оставил на Дальнем Востоке, чтобы делать Большую Карьеру на Западе, здесь, в Белоруссии,

а далее, наверное, в Ленинграде! Хотя от меня это нисколько не зависело, географические перемещения семьи совершались волею Минобороны, а карьера сводилась к мыслям туманным, а на чувства мои смутные никто ничем не отвечал. Ерунда! Искусство — это эмоции и воображение! Художник — это донор, оживляющий созданного им гомункулуса кровью своего сердца!..

Гомункулус был маленьким и нежизнеспособным уродцем, да и крови я ему своей отцедил не так много, и бедняга сдох не родившись.

Этот рассказ я никому не давал читать и через какое-то время выкинул к черту. Бесспорно правильно: такие первые пометки надо вообще вычищать из дома и памяти. Но много позже — любопытно было бы взглянуть, конечно, что я там навалял.

И много позже, много позже, много позже — подумал я вот что. Если ты, еще абсолютно неумелый и в ноль непьющий, ставишь себе серьезную задачу — ты обязательно проиграешь. Потому что играть еще не умеешь.

Если задача проста, банальна, требования к ней невысоки — ты можешь неплохо справиться с первого раза. Если вообще ты, вроде, по способностям и знаниям нормально чего-то стоишь, и темперамент есть, и кураж, — проигрыш означает, что ты много от себя хочешь. Что примитивная победа, нехитрый читабельный рассказ про Саню из параллельного класса, тебе — мал, неинтересен, малоценен, ниже твоих возможностей и притязаний.

Неудача не дурака — показатель высокого уровня притязаний. Показатель резерва роста и возможностей. Кругозор шире сегодняшнего арсенала.

Банальный, наивный, юный и самоуглубленный я возымел претензию написать серьезный, глубокий, психологический, любовный, социальный, трагический рассказ. Я автоматом претендовал на уровень знакомой мне классики. Акела не допрыгнул.

Безусловно, я не смог бы ответить тогда на вопрос, зачем вообще я это пишу и написал. Тем более раз никому не собирался показывать. Первая проба сил? Первая

проба пера для себя? Послушание внутреннему голосу? А хрен его знает. Так, вообще. Надо же когда-нибудь начинать заниматься своим делом... Да хочется.

3. *Моя первая публикация — раз*

Я сидел за одной партой с Лешей Карповичем. Леша был самый высокий, красивый и обаятельный. При этом он правильно себя ставил, давал почувствовать железку в характере и был уважаем хулиганами. Я вообще тяготел к нордическому типу: все мои друзья были высокие светлоглазые блондины, и так вплоть до филфака университета, искаженный генофонд которого привел бы в ужас расовое ведомство Розенберга.

Умный начитанный Леша учился так себе в силу обаятельного разгильдяйства. Меня он счел достойным того, чтоб показать мне на уроке тетрадь со своими стихами.

Это были вполне стихи. Куда стиховее моих пятиклассных, давно позабытых за серьезными вещами.

Я был зацеплен. Я был уведен. Я как-то вспомнил о своей исключительности, как раз лишившись ее. Раньше стихи писали, кроме меня, только далекие во времени и пространстве настоящие поэты, книги которых я снимал дома с полки. Они были великие и знаменитые, мне было простительно писать хуже, а вернее: собираться в свое время начать писать не хуже их, можно лучше многих. И тут мой одноклассник и приятель тоже пишет стихи — хуже, чем я бы хотел, но лучше того, чего у меня вовсе нет.

Я спохватился и стал сочинять стихи.

Жизнь школьника, который учится хорошо и старательно, сколочена плотно и напряжена сильно. Жесткое расписание. Когда в свободные сорок минут я решал сочинить стихотворение, оказывалось, что время есть — а в голове ничего такого вольного нет, и ничего не придумывается.

Творчество не поддавалось рациональному планированию, и механизм готовности к нему был затруднен

и неясен. Не писалось. А если писалось, то плохо. Какая-то фигня в рифму. Мне не нравилось.

Я написал про дружбу с Кубой, на митинг солидарности с которой я сбежал когда-то в Забайкалье с занятий и был позже аполитично наказан. Это годилось бы для стенгазеты, что было ниже уровня моего достоинства.

Я написал про пиратов, и это не годилось бы даже в стенгазету, хотя сошло б на подписи для комикса.

Я написал про войну, и это был единственный случай в моей жизни, когда я осквернил качеством исполнения великую трагедию народа.

Также я писал про природу, но не умел скрыть равнодушия к описываемому предмету. Поэзия была низведена к перечислительному ряду с употреблением прилагательных.

Мои стихи о любви не сумели войти в сокровищницу мировой лирики. Нет, я хотел, но они не сумели.

Я написал стихи про Маяковского, пришел с ними в ЛИТО областного педагогического института и ходил туда еще полтора года в статусе юного дарования с перспективой меж студентов с серым веществом. Я читал стихи на вечере поэзии института! Стихи были конструктивистские: рубленые, хромые, дерганные и неравновесные. Я гвоздил и печалился. Любительницы поэзии смотрели благосклонно.

— Ну-ка, заделаемся под крестьянского поэта Никитина, — говорил вполголоса Леша на уроке и начинал писать прямо в тетради для упражнений: *«Утро взметнулось красным рыбьим хвостом...»* И было в этом что-то верное, простое и настоящее. Так я воспринимал.

И подборку Лешиних стихов напечатала областная газета «Могилевская правда», сопроводив врезом о самом юном поэте области, и был школьный бум, и Леша в парадных брюках отнес заведомо культуры газеты А. Пысину, белорусскому поэту, букет цветов, и перед праздничным ужином дома отметил триумф с пацанами во дворе парой бутылок портвейна.

Черт возьми!

Я на отцовской трофейной машинке с переставленным русским шрифтом (у Лешинного отца, полковника, была точно такая же) перепечатал пяток своих стихотворений получше и понес Пысину. Пысину не понравились мои стихи, и я стал охранять тайну моего позора.

Я купил общую тетрадь, и принялся сочинять все свободное время. И тогда что-то начало возникать само собой. В неожиданные моменты. И я стал к черту откладывать тогда все занятия и писать пока пишется. Я много читал и думал про вдохновение. Читал глупости и думал ерунду.

Когда я, оставаясь один, иногда стал читать себе вполголоса собственные стихи и испытывать желаемое чувство оттого, что вновь погружался в тот же ритм слов, я как-то и подумал, что, вроде, на что-то ведь и похоже.

И тут кончается учебный год, и класс на автобусе едет на день в Минск: поощрительная экскурсия. И я беру номерок газеты «Знамя юности», республиканской молодежи, и время коллективного обеда использую в личных целях.

Совсем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог проходной. Что надо у меня колотилось, где надо холодело. Прерывающимся голосом я спросил отдел культуры.

— Володя, к вам поэт пришел! — игриво запела заведующая вдоль коридора.

Я постучал. «Войдите!» Я вошел. Я поздоровался. Я закрыл за собой дверь.

— Что у вас? Стихи принесли? Давайте, — деловито, бодро и приветливо сказал некрупный и нестарый человек, не вставая из-за гигантского стола. Я впервые видел двухметровый редакторский стол.

Я достал из кармана сложенные пополам листики со стихами. Я чувствовал иронию приема, но понимал плохо. Я ничего еще не сказал про стихи — откуда они знают? Значит, таких как я здесь бывает много? Значит, я попал в поток начинающих поэтов, околачивающих пороги редакций, о чем раньше я лишь читал в книжках?

— Стихи в наше время опубликовать очень трудно, юноша, — говорил человечек, редактор по поэзии, стало быть. — Поэтические подборки у нас даются не чаще раза в месяц. Очередь, как вы понимаете, груды рукописей, — он похлопал по штабелю папок на своем авианосце-столе.

— Вам лучше подготовить сборник и предложить издательству... — он журчал без перерыва, спохватился, предложил мне сесть.

— Я ваши стихи обязательно прочту, но заранее обнадёживать не стану. И не потому, что я предубежден. В газете мне самому напечататься трудно. Вот я окончил филологический факультет университета, я сам поэт, на подходе сборник в издательстве, и тем не менее...

Он принялся расхаживать по комнате, захлавленной рукописями. Он был маленький, крепенький, кудлатенький, и при этом какой-то кривенький и подсакивающий. Подсакивая, он трепал меня по загривку и заговорщицки похохатывал. И долго говорил, сукин сын! Успел бы за это время прочитать мои шесть стихотворений двенадцать раз! (Потом я постоянно с этим сталкивался: болтать — сколько влезет, а прочесть тут же — никогда. Исключения два я знал.)

Он не позвонил мне ни на будущей неделе, ни позже. Я звонил в Минск. Со второго раза застал, с четвертого получил ответ, что все это обычное ученичество.

Все лето я следил за их поэтическими подборками. Газетные провинциальные стихи. Они заменялись моими легко, как запчасти.

.....

...Прошло тридцать пять лет. Стал другим мир и мы сами. И вот в городе Нью-Йорке у меня пара выступлений и читательских встреч. И где-то выпивка, и где-то интервью. И вот звонят, и говорят, что это «Интересная газета», и хочет взять интервью, и есть ли время. И мы забиваем время с семи до девяти вечера, и я еду к ним сам, потому что дальше у меня встреча в районе рядом.

Это вопрос политесный: приглашать к себе незнамо кого — потом можно не избавиться, на кабак редактор мелкой эмигрантской газетки не тянет, а чем пить кофе в забегаловке — проще хлестать что хошь в редакции — по-нашему, по-советски, по-старинному.

Помещение было в Бруклине, на бесконечной Кони-Айленд, и за железной дверцей открывалась одна невеликая комната, истертая акулами пера. Две акулы мне как-то молниеносно, без паузы на знакомство, повели в восторге главное редакционное событие: недавно они что-то напечатали про Елену Хангу, жившую на тот момент в Нью-Йорке, и назавтра после выхода номера в редакцию ворвалась разъяренная Ханга и ответственно орала на главного редактора Володю Левина, что это дерьмо он сожрет сам, что он не отдает себе отчета в положении вещей, что он — мелкое эмигрантское дерьмо даже без английского, а она — гражданка и афроамериканка, и нехрабрый Левин буквально залез под стол и там дрожал, прикидывая возможный ущерб. Рассказывали они это с удовольствием, из чего явствовало, что любовь коллектива не входит в число ценностей, которыми пользуется главный редактор.

Тут отворилась картонная дверь в выгородку вроде платяного шкафа или каюты командира на старой подлодке. И оттуда вышел главный редактор «Интересной газеты» господин Левин, провожая под локоток к выходу человека, судя по соотношению их поз чтимого в числе спонсоров или рекламодателей.

При их появлении две акулы, обе женского рода среднего возраста, испарились, и я остался стоять, глупо ожидая своей очереди на внимание. То есть закипать я начал сразу. Мало того, что я даю интервью безвестной швали, не считаясь с реноме сам к ним еду, так еще и к назначенному времени он занят и я пять минут жду (хоть и интересно было), так еще выйдя он меня ставит на второй номер общения.

— Здравствуйте, господин Веллер! — оживленно обращивается он, закрыв дверь за клиентом — Ну, давайте

работать? — И, одной рукой показывая мне на ближайший стул у чьего-то стола, другой достает из воздуха диктофон.

Таких интервьюеров с такими приемами у нас когда-то в «Скороходовском рабочем» выгоняли пинком после первого дня испытательного срока. Отвожу я правую ногу назад и спрашиваю:

— Ну, чашку кофе-то поставите гостю, замотавшемуся за день?

Он чуть тормозится, идет к задней стенке и заглядывает в кофеварку, потом в пачку с кофе. То и другое дешевое, замызганное и пустое. Кофе он достал из чьего-то стола, чашечки нашел разовые (чего я терпеть не могу, кофе из пластика — как вино из майонезной банки).

— Садись, угощайся! — широким жестом и переходя на ты.

Я достаю курево и говорю злобно:

— Я кофе без сигареты не воспринимаю.

Он как-то крючится, ежится и ведет меня в свой отсек: он тоже курит, но только там. Стол у него размером с табурет, а табурет — размером с блюдце. Втискиваемся. Кофе бурда дикая, пепельница не мылась никогда, а он все вертится, немолодой живчик, и журчит, и тархтит, и почесывается:

— Так значит, ты живешь в Эстонии?

— Прозябаю, — мрачно говорю я.

— А учился в Ленинграде?

— Слушай, — говорю, — ну что это, на хрен, за разговор? Совсем вы тут обамериканились. Погодь две минуты. — И выхожу.

— Ты куда? — пугается он.

— Вернусь.

Куда-куда? Его миниредакция — дверь в дверь с крошечной винной лавкой, я обратил внимание при входе. Взял пару калифорнийского красного, сыру, крекеров, яблок — скромно так. И пачку салфеток.

Следующие пять минут мой редактор скакал по непогашенной студии-редакции, протыкая пробку всеми

продолговатыми предметами, что нашлись. В конце концов он, такое впечатление, выгрыз ее зубами.

— Вот теперь давай на ты! — я был из двоих явно главнее; мы выпили по чашечке. Он сунул в клочковатую бородку сыр и проткнул его внутрь яблоком.

— Я посмотрел в Интернете — мы ведь с тобой земляки, — вкусно чавкал он. — Ты же в Белоруссии школу кончал? И я из Белоруссии. Из Минска. Мы с тобой вообще коллеги, оба филологи, русисты. Только ты вот прозу стал писать, а я стихи...

Мы выпили еще. Я думаю, вам все уже ясно.

— Я, брат, заведовал отделом культуры в республиканской газете, — говорил он. — Подборки там мои появлялись, в издательстве «Прямога» сборник вышел у меня, в Союз Писателей принимать собирались...

И тонкий волосок электрического разряда прострелил мне в сознании между сейчас и памятью сквозь тридцать пять лет. И стало видно, как Володя (Левин) кудловат, и маловат, и коренаст, и кривоват, и подскакивает, и подергивается, и почесывается, и норовит похлопать меня по плечу и потрепать по загривку (не владея своими привычками), и недержание речи несет его по волнам автобиографии, и на фиг ему, строго говоря, не интересны все мои дела, а интервью — просто работа, заработок.

— Ах ты, с-сука, — с душой сказал я. — Так ты все забыл? Не помнишь, да!.. Так это ты, Володя Левин, много лет назад плюнул в чистую душу юному дарованию?! Когда я, школьник, на подгибающихся ногах принес тебе свои первые стихи. Написанные чистой горячей кровью юного сердца!.. И смотрел, как шенок!.. И ты мне стал до-о-лго рассказывать о себе. А стихи послал на фиг — фигня ученическая, зачем вам литература, милый мальчик? Это ты был первым, кто хотел загубить неокрепший молодой талант!!! Не вышло, да? А хочешь сейчас в лоб — нет, ну честно, по совести, скажи сам — ты же заслужил получить сейчас, жизнь спустя, в лоб?

И я взял опустошенную бутылку за горлышко. И изобразил, что сжал до побеления пальцев. И сыграл мор-

дой, что я опьянел, что я психоват, и вообще меж литераторами и эмигрантами дать в застолье по морде, хошь бутылкой — дело обычное.

Насчет обычного дела он знал твердо, Ханга его накануне хорошо размяла, и я имел низкопробное удовольствие несколько секунд наслаждаться и развлекаться глупым мышонком: я заслонял выход, а его лицо отражало сильнейшее желание спастись мирным способом и неверие в военную победу.

Потом я позволил себе расфокусировать твердость взгляда, убрать руку с бутылки и улыбкой разрядить ситуацию в добрую шутку. Он выдохнул, как проколотый волейбольный мяч.

— Какая смешная встреча за океаном, да? — сказал я.

— Теперь я припоминаю... — оживая, забормотал он, отыгрывая положение.

— Уймись. Ни хрена ты не припоминаешь.

— Знаешь, столько народу носило стихи, и столько графоманов.

— А то не понятно.

Он соврал, что потом переживал, — чтоб сделать приятное; и сам почувствовал, что перегнул. Я тоже что-то симметрично соврал.

Да — пепельница была вымыта мной. Но интервью взято им.

Оно появилось через неделю, интересное только редакционным врезом: Володя написал, что мы земляки, коллеги и старые друзья, и что он был самым первым в моей жизни, кому ныне (снабженный эпитетами) писатель принес на профессиональный суд свои первые произведения. Приговор того суда в газете оглашен не был. Зато была оглашена дружеская попойка с красным вином, сыром, ароматными хрустящими яблоками и бесчисленными сигаретами.

Через год «Интересная газета» вышла из бизнеса — так это называется.

Я подвез его, мы долго прощались на улице, темной и пустой, он подпрыгивал, похлопывал меня по плечу,

был оживлен и говорлив, мы поцеловались. Я смотрел ему вслед, идущему к подъезду — маленькому, хромому, седому, и у меня сердце сжималось и ком в горле не проглатывался. Не то чтобы ностальгия... нет. Как складывается жизнь... И как она проходит...

4. *Второй шаг к первым рассказам*

Тогда я еще не читал Акутагавы. «Мастерство — это путь длиною в сто ри, где первая половина составляет девяносто девять ри, а вторая — только один ри». Моряк вразвалочку сошел на берег. Не спеша и в расслабухе шлепал я первые, стало быть, из девяносто девяти шагов, о том не задумываясь и не подозревая. Меня вела некая договоренность между инстинктом, верхним чутьем и любовью к удовольствиям.

Мне выписывали журнал «Техника — молодежи». Интересный был журнал. Кроме техники и научных сенсаций присутствовал литературный раздел, обычно он давал фантастику с продолжением, реже — научно-фантастические рассказы. И вот объявили конкурс на лучший рассказ.

Кстати. «Новый мир» уже напечатал шестнадцатилетнего поэта Алексея Зауриха — «самого молодого поэта в Советском Союзе». Я осознал, что самым молодым поэтом в Советском Союзе на уровне публикаций в «Новом мире» мне уже не стать. И мужественно сказал себе, что остается стать только самым лучшим. Иного варианта выделиться нет. Но поскольку, черт побери!!! — и иначе: черт побери... — и иначе: вот гадство!.. — возраст юного Есенина, или Лермонтова, или Рембо, уже прокатил, а вершин нет... короче, проза влекла меня больше.

Юношеские стихи есть знак литературы, потому что размер и рифма есть однозначная атрибутика. Прозу юношество определить литературой затрудняется: не имея возрастной дистанции и профессиональной высоты, не может сплошь и рядом различить крепкую прозу от бытословного описания каких-то событий.

Юношеские стихи есть признак тяги к литературе — это и так ясно. Юношеские стихи есть ощущение того, что литература должна отличаться от копирования жизни — художественным качеством; а вот что это за качество в прозе и с чем едят — еще решительно неясно; об этом вот как-то мало задумывались и типологический факт не анализировали.

Русский верлибр представлялся мне ерундой. Я их писал погонными метрами, ЛИТО пединститута объявило меня гением, и я познал угрызения шарлатана.

А вот написать такой рассказ, как «Мексиканец», или «Конец сказки», или «Под палубным тентом»; я знал северную новеллистику Лондона наизусть. Или «Четырнадцать футов» или «Корабли в Лиссе» Грина. Восхитителен был О. Генри и безудержно смешон Зоценко, но юность тяготеет к драме, воспринимая комедию ниже своего достоинства: мировоззрение юности мелодраматично, она готовится к решению главных дел жизни.

И вот «Техника — молодежи», и вот конкурс на лучший рассказ. Конкурс по картинке, картинка на вкладке. Далекая планета, черное небо, серо-серебристая равнина и скалы вдаль, и два космонавта в скафандрах отшатываются от широкой красной полосы шириной с велосипедную дорожку, светящуюся на поверхности перед ними, а за полосой третья фигурка в скафандре лежит ничком, и рядом эдакий маячок типа фонаря на палочке с антенной. Дети — придумайте сочинение по этой картинке. Мой жанр!!

По душевному складу все трое были ближайшими родственниками итальянца из давнего первого рассказа. Они носили абстрактно-англоподобные имена. Тот, что уже погиб, оставил на Земле любимую и полетел за славой и забвением. Когда его корабль потерпел крушение на далекой планете, его счастливый соперник также оставил их общую любимую и благородно полетел спасать. Третий выполнял функцию резонера. Он рассуждал о любви, лишениях и суете сует. Вот только на хрен им нужна красная линия, я никак не мог придумать.

Эта необъяснимая красная линия так меня раздражала, что стало раздражать и все остальное, и эти идиоты с их незадачливой любовью, и журнал с его кретинской картинкой, и так я этот рассказ и не закончил. Я был добросовестный юноша и еще не умел легкими газетными ходами обходить без анализа и мотивировки любые реалии. Через десять лет, молодым и циничным журналюгой, я бы им выдал по картиночке любое количество материалов в любых жанрах и любого объема при соблюдении всех социальных установок.

Но вообще я твердо знал, что в жизни надо кем-то быть. Ну, меня проинформировали. В абстрактном зрелом будущем я хотел быть писателем. Или думал, что хочу быть писателем. Или, примеряя на вырост разные социальные роли, решил остановиться на этой.

Элемент решения и элемент влечения проявились в параллельные прямые, которые раньше или позже должны были пересечься, если не дергаться.

Я читал. И смотрел на окружающую действительность, пытаясь определить в ней значимые элементы и сложить из них ажурную, настроенческую, мелодраматическую мозаику, которая и будет рассказом.

Там была ностальгия. Разлуки. Несовершенство мира. Горькое сочетание чистоты душ и пошлости жизни.

Там были одиночки-старики, благородные авантюристы в прошлом, памятью о чем и счастливы. Там жажда большой жизни боролась с тоской по любви и счастью, и карьерист достигал всего, теряя себя. Или делал большие дела, точимый горькой памятью, и конфликт никак не решался однозначно.

И там был ветер, и вечер, и листва, и огни, и рассвет, и закат, и рука в руке, и седые виски, и далекая перспектива, и юношеские планы, и прожитая жизнь. Юность вообще романтична. И не дай Бог, если нет.

Через энное время процесс во мне встал на автомат и уже не нуждался в волевом запуске. В неожиданные моменты я ловил в себе кружева отвлеченных настроений и вязь вымышленных событий.

Дети часто живут в вымышленном мире, и реальный мир раньше или позже извлекает их оттуда, как болтающуюся внутри бутылки пробку крючком. Я надел грузила и погрузился, научившись и привыкнув переходить с подводного ритма дыхания на надводный: жабры развились вдобавок к легким.

Короче. Когда мечтатель и фантазер. А таких всегда немало. Начинает свою склонность культивировать. С серьезными намерениями. Оформляя в данном случае под литературный канон. И ориентируясь на лучшие образцы. То если он будет продолжать. Может что-нибудь и выйти.

В семнадцать лет я полагал, что за два года, посвятив их только ученичеству писания, я могу стать писателем. Это был теоретический допуск, потому что таких двух лет никто в СССР иметь не мог. Я-то имел в виду — полностью, только, Мартин Иден. Но по закону полагалось или идти в армию, или учиться в институте, или работать — в разных последовательностях. Иначе — тунеядство уголовно наказывалось.

А жаль. Я шел по улице, ловил на щеку тополиную пушинку, и в минуту во мне возникал рассказ об озеленении солдатом гарнизона в далекой забайкальской степи, любви его к юной бурятке из стойбища, дисциплинарно наказанного романа и вечной разлуке в трясине дембеля и быта. Я раскачал фантазию, как акробат раскачивает растяжку суставов и мышц.

Я это все не записывал. Уже на уровне замысла мне это не представлялось шедеврами. А писать надо было шедевры. Только. Как никто.

5. Мой первый диспут

Наша классная в последней моей школе была большим подарком судьбы. Кира Михайловна Яцевич не то чтобы любила русскую литературу — она ею лучилась и брызгала, всеми страстями она жила в ней (то есть учительница — в литературе; хотя можно и наоборот...). Она

давала самозабвенно и требовала ревностно. Она была в цвете — около тридцати пяти знойной смуглой женственности, и наша тупость иногда срывала ее в крик, хотя причины учительского невроза не всегда имеют причиной учеников...

В восьмом классе ее ироничное ко мне отношение вызывалось, по-моему, отличными офицерскими сапогами, в которых я прибыл с Востока: я смотрелся диковато, здесь сапог не носили. В одиннадцатом был, видимо, любимым учеником, хотя внешних проявлений она себе не позволяла.

В порядке внеклассной работы она грузила нас эстетикой как могла. Как все настоящие русские словесники, она была идеалисткой.

И вот она объявила на классный час диспут. И написала крупно и красиво мелом на доске: «*О вкусах не спорят*». И спросила, кто согласен. И почти все подняли руки. И тогда она с победным выражением поставила после фразы вопрос с восклицанием, так что получилось: «*О вкусах не спорят?!*» И спросила, а теперь кто с этим согласен. И класс смешался, и захмыкал, и оценил, и почти весь поднял руки — уже за новую редакцию текста. И был вопрос: ну, а теперь кто за первый вариант?..

Я почувствовал себя немножко в дураках вместе со всеми. Не так уж меня, как и всех, волновал диспут. Скорее задето было самолюбие. Да, я тоже слегка попал в ловушку. Но крепка ли ловушка? И так ли уж верно, что истина — во втором варианте? Гм. И я поднял руку — остаюсь при своих. И покосился по сторонам. Еще двое подняли.

И Кира сказала, что сейчас мы будем защищать свои точки зрения, и предоставила мне слово. А когда она после своего вопроса с восклицанием обернулась к обескураженному классу, лицо у нее было торжествующее. Она полностью добилась нужного эффекта. И было ясно, что она считает истиной второй вариант.

Иногда соображение идет с удивительной скоростью, а внешне твои действия выглядят легкими такими, небрежными.

— Есть вкус — и есть безвкусица, — сказал я, и по растерянным глазам Киры понял, что выиграл.

Дальше неинтересно — развертка тезиса. Если одному нравится Репин, а другому — коврики с лебедями, это вкус и безвкусица, и вкус надо прививать и развивать, а с безвкусицей бороться. А если одному нравится Репин, а другому — Ренуар, то это разные вкусы, два великих разных художника, можно одного любить, в второго нет, ну и о чем тут спорить? И тому подобное.

Кира стала выходить из ситуации, пританцовывая на фразях, как боксер. Оживление было изображено на ее погасшем лице. Я поменял весь сценарий. Спора больше не было. Спорить не о чем.

Первую пару минут я был весьма доволен собой и даже горд: я умный, образованный и хорошо все понимаю, и даже доказал вам свою правоту. Через пять минут я понимал, что скотина, и лучше бы сидел и молчал. Боже мой. Она умнее, образованнее и лучше нас. И дает нам все, что может, какие там рамки программы. И вот она в неловком положении, и это я ее туда загнал. Ей же это унижительно! И я же ее люблю, я не хотел.

И все-таки еще долго, до конца студенческих лет, я спорил не для того, чтобы выяснить совместно истину, а только для того, чтобы победить. Пока не накушался пустословия.

Интермедия. Тогда мы читали.

В приличных домах стоял на полках однотомник Сент-Экзюпери в супере, и на вечерах повторяли: «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». В Экзюпери мы полагали правильным искать и находить главное о смысле жизни. Это не только о «Маленьком принце», который остался; но и «Ночном полете», «Южном почтовом» и прочее. Таков был его статус. И портрет его в летной пилотке висел во многих домах.

Ремарка вся страна читала чуть раньше — на рубеже шестидесятых, но и к их середине жажда не схлынула. «Три товарища» были книгой книг. «Три товарища» научили меня любить немцев. «Ты прелесть, Робби. Ты ворует булочки и хлещешь ром». Какая жадность, какой расчет?! Таких книг о верности, дружбе и любви, когда отдают все с мужской скупостью в словах, мы не знали. Глубокое принятие «На Западном фронте» пришло позднее.

И был главный — Хемингуэй. Мужчина с большой буквы. Солдат, охотник, рыбак, боксер, борец с фашизмом. Мы глотали легенду и принимали к сердцу имидж — поколениям молодежи был потребен герой, мачо, писатель Честного Слова. Даже его самоубийство воспринималось актом героизма. Полковник Ричард Кантуэлл учил быть мужчиной. Старик Сантьяго учил не сдаваться никогда, Гарри Морган поведал, что человек один не может.

А главным из своих, ребята, был Аксенов. Он говорил, как мы, просто лучше. И думал, как мы, просто соблаждал чуть раньше. Так это воспринималось. Его книги ложились в сознание, как узор в подготовленную для него форму.

И щемила и повторялась нехитрая ностальгия Балтера — «До свиданья, мальчики». Эта повесть явилась актом — как стежком нити скрепившей поколения довоенное и нынешнее сквозь четверть века. Четыре лирических отступления в ней я помню наизусть и сейчас.

И был, черт возьми, Анатолий Гладилин, первый из поколения «городской», «иронической» и пр. прозы — это он в двадцать один год напечатал в катаевской «Юности» «Хронику времен Виктора Подгурского», с которой направление началось. И «Пыль в глаза!» И потрясшая нас уже в десятом классе «История одной компании»!

И уже написал «Голубое и зеленое» Юрий Казаков, и мы узнали, как мы любим...

И уже вышли «Попытка к бегству» и «Хищные вещи века» Стругацких. Мы еще не могли оценить блеска стиля и жесткой мудрости мысли. Но. Цепляло тем, что было интересно — и заставляло задуматься тем, что мир на са-

мом деле не походил на розовую туфту, втюхиваемую нам за путь к благоденствию. Феномен сочетания легкочитаемости формы и предельной серьезности содержания.

Все перечисленные были — идеологи нашей эпохи. Не марзаматики из Политбюро КПСС, конкретно которым не верили даже мы с пионерлагерского возраста. Не официальные боссы советской литературы с премиями, орденами и собраниями сочинений. Этих вообще никто в грош не ставил. И не классики школьной программы. Их место было в идеологии их эпох и в рамках школьной программы и оставалось. А эти — ложились в душу и в мировоззрение, под их влиянием и с поправкой на них мы строили представления о жизни.

Стихи тоже были, но уже это вовсе для меньшинства. Однако в нормальной школе набиралось несколько человек такого меньшинства. Эдуарда Асадова Кира нам читать запрещала за пошлость; мы пожимали плечами и пошлости в верных и душевных словах не видели. В силу малой эстетической накачанности. (Орден и памятник Асадову! Это — первый шаг малоразвитого нормального человека в приобщение к поэзии, к идеалам морали в живой словесности!)

Евтушенко был явлением природы. Фактом действительности. Его знали даже те, кто вообще не читал. Его принято было порицать за лавирование перед властью. А стихи бывали ведь ну хороши же! (Сто лет помню: «Есть прямота — кривее кривоты, она внутри себя самой горбата...». И много еще.)

Был Блок! «И вечный бой!»

Был Маяковский! «Я знаю силу слов. Я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек!»

Был Тихонов! «Гвозди бы делать из этих людей». Кто ж тогда не знал старика Тихонова. А сейчас «Балладу о динамите» помните?

И был Симонов. Константин. Вспомнили недавно, да? «Нет больше родины. Нет неба, нет земли. Нет хлеба, нет воды. Все взято!»

И знаете? это не было милитаризмом. Иначе. Юность романтична, юность жаждет изменить мир, юность проясняет смысл своей жизни прежде всего в борьбе — за идеалы для всех и во имя всех.

Да это был камертон нашей жизни: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед, боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас, но в крови горячечной поднимались мы, но глаза незрячие открывали мы, закаляйся, мужество, сталью и свинцом, укрепляй содружество ворона с бойцом!» Это было время Багрицкого тоже.

Банальность — это когда давно известное оставляет тебя равнодушным. Когда давно известное заставляет сжиматься сердце — это называется истиной.

Нужны сильные стихи, чтобы затронуть, раскачать и заставить звучать в тон словам еще малоискушенную поэзией душу.

6. Мой первый вечер

Из какой фигни состоит обычно так называемая «творческая биография»? И настолько слабо соотносятся друг с другом внешние действия и внутренние переживания! Нет, кто-то удавится за звание или орден. Но счастье — категория не процедурная.

Пединститутский филфак с ЛИТО в ядре, так сказать, решили почтить меня вечером. Именным. Типа маузера Дзержинского. Руководство решило, что созрел и сойду за «птицу» в графе культурной самодеятельности.

Я надел костюм и галстук. Я долго перебирал стихи. Волнение было сильным. Сами понимаете.

Это был актовый зал института, и он не был слишком большим. И не был полным, сильно не был. Но все же люди были. Не очень много. Мало. Не помню сколько.

В первом ряду сидели четверо девочек и двое мальчиков из нашего класса. Одна из девочек в очках и с цветами.

Я был наверху, на сцене, под лампами. Рядом за столом сидел доцент, завкафедрой русского языка и литературы, он же вел ЛИТО. Он меня кратко представил и сказал слова.

И я встал, и подошел к краю сцены, и стал читать. Все у меня одеревенело (надеюсь, дураки не заржали), и я читал, а сам боялся забыть слова. И смотрел в дальнюю стену.

И я впервые ощутил неведомое еще, тоскливое и подсасывающее безнадежностью чувство — отсутствие контакта с залом. Не было связей, тепла, любви, восторга, ожидания, да хоть снисхождения — вообще ничего не было. Я был в пустоте.

Мне жидко и вежливо похлопали, и девочка с цветами их мне вручила.

И я вообще ничего не чувствовал. Пустота и разочарование. Я же знал, что должны быть чувства: радость, усталость, удовлетворение, счастье признания, благодарность к слушателям, гордость своим достижениям. Все-таки мой вечер поэзии в институте, среди студентов! И ни хрена. Все на автопилоте, ноль эмоций.

Потом я пришел домой, отдал цветы маме и переделался в домашнее.

Как не было ничего. Что читал, кому, зачем? Ну и что?

Ожидание ощущений не сбылось. Вот что вечно лишает происходящее смысла. Водка есть, а кайфа нет.

Ода к школьной радости

Школьные годы чудесные,
с дружбою, с книгою, с песнею —
как они быстро летят, им не вернуться назад.
Разве они пролетят без следа?..

Не-ет: не забудет никто никогда шко-ольные го-оды! Значительное число самоубийств приходится именно на старший школьный возраст.

Звучание вопроса типа: «А как вы проводите свободное время?» — рождало во мне высокомерное отношение к прекраснодушному слабоумию.

Механическим сверчком сверлил будильник. Я брался за гантели и просыпался. И лез под ледяной душ, и в восемь утра сидел за партой. На свободное думанье оставалась четверть часа из школы до дома. В школе мотали нервы вопросами и оценками, а дома переодевался, обедал и шел или на дополнительные занятия, или на тренировку, или в вечернюю физмат-школу. С дополнительных возвращался при дурной голове, с тренировки нес в сумке мокрый трикотажный костюм, из физмат двигался с сознанием бессмысленной абстрактности бытия вообще.

И только после этого делались уроки, а было их обычно выше крыши. И все полностью, неукоснительно и аккуратно. Математика, физика, химия, биология, прочие ля-ля потом, когда голова уже отрубается.

— Уже половина одиннадцатого! Когда ты пойдешь спать!

Последние два класса я вставал первым в доме и ложился последним. Медаль мне была нужна для поступления и вообще, дополнительные — для медали, так было заведено, а секция самбо при Машиностроительном институте — чтоб быть человеком. Все было организовано по минутам.

И вдруг — шелк! Нет сил. Покончить с собой. Как хорошо. Отдых. Но: лучше хоть как-то жить? А лучше — хорошо? И вот: колесо каторги.

7. Последний экзамен и первый экзамен

Сочинитель сочинял,
а в углу мешок стоял.
Сочинитель не видал
спотыкнулся и упал.

Этот детский стишок я слышал от ленинградской бабушки.

Обычно мешок бывает пыльным и не ждет, пока ты об него споткнешься, а сам бьет тебя по голове.

Итак, я шел на золотую медаль. Причем номером первым. И не видал мешка в конце тоннеля.

Шел серьезный 1966 год. В предыдущем наша школа, неофициально первая и престижная в городе, выдала кучу медалистов. И все они провалились на вступительных в Минске, Ленинграде и Москве. Злорадно затрубили директора школ менее блескучих. Нашу директрису вызвали на бюро Облоно и продемонстрировали, чем отличается ректоскопия от выговора. Отличалось мало чем, и выражение лица вернувшейся директрисы заставило содрогнуться педагогический коллектив. И следующему выпуску, нам, повысили критерии отличных отметок за год до того уровня, что приходилось подпрыгивать, как дрессированной собачке до лакомства на палочке.

Не буду пересказывать всех каверз и подлостей этой полосы препятствий. Но. В том году одиннадцатилетнее обучение взад обратно менялось на десятилетнее. Везучие мы были последними, кто проучился год лишний. Десятиклассники выпускались вместе с нами, одиннадцатиклассниками. Три наших класса и четыре десятых. Двести тридцать рыл. И только двое набрали очков и баллов достаточно, чтоб в случае сдачи всех экзаменов на пятерки получить золото. Просто пятерок на экзаменах было для медали мало.

Медаль мне была нужна кровь из носу. Я хотел поступать на русскую филологию Ленинградского университета. Только туда и никуда больше. Вечерняя физико-математическая школа при пединституте и заочные подготовительные курсы в Электротехнический Бонч-Бруевича были окончены для успокоения родителей и отчасти из любопытства и для подстраховки: «филолог — не профессия для мужчины». Медалист мог сдавать только один вступительный экзамен — в моем случае сочинение. В сочинении я был уверен больше, чем в прочих своих возможностях. С пятеркой по сочинению и медалью я проходил в университет. В английском

я был не убежден, а история — хрен их там знает.

На каждый экзамен я надевал ту же счастливую рубашку. И выстрегивал из веточки акации свежую указку, украшая ручку узором. И перед выходом ставил себе увертюру к «Кориолану». И с последними бетховенскими аккордами шел на главное дело своей жизни. И нормально шел. И история с обществоведением, как вещи наименее серьезные, были для полупроформы поставлены последними. И этим мешком они меня свалили.

Я был уничтожен этими двумя четверками в одну кассу. Я знал историю. И обществоведение. И за все четыре четверти у меня стояли пятерки. И историчка была кротчайшая безвредная женщина. А сидевшая рядом с ней на этом экзамене директриса, тоже историчка по образованию, как-то легко и быстро сбила меня вроде и легкими, а вроде и непонятными какими-то, неожиданными вопросами. И кивала доброжелательно и сочувственно.

Я удалялся от школы скошенный и замороженный. Я двигался в колоколе пустоте звона. Я пахал последний класс, как папа карла. Серебряная медаль при двух четверках давала мне те же права и шансы, но сейчас при моем разгроме и полном и столь неожиданном поражении об этом вообще не думалось. Я проиграл — страшно, неожиданно, бесповоротно и, пожалуй, несправедливо. Я не мог понять, что она меня спрашивала? Я знал историю!

Два часа я гонял на велосипеде, развлекаясь тем, что не позволял обгоняющим машинам согнать меня с асфальтового полотна на обочину нервными гудками и матом, твякая в ответ, что по правилам мне полагается метр дороги, и могут вызывать ГАИ и платить штраф за нарушение. Через два часа я вернулся домой, и по телефону позвонила классная: «Ты хочешь пересдать историю с обществоведением? Тогда завтра к часу в 10-В, после них проверят твои знания еще раз».

Назавтра сидела та же директриса. Тяжелое крестьянское лицо, тяжелая крестьянская фигура: авторитарное руководство, суровая власть, безо всех этих штучек-дрю-

чек, — но не без справедливости, но не без доброты. И я тащил еще билет, и получал свои пятерки, и на вопрос, много ли готовился, отвечал со вздохом, что даже слишком много, наверное, и все улыбнулись в том смысле, что вчера я был простительно переучившись.

Много спустя я узнал, что классная устроила директорисе скандал. Она кричала, что я единственный, кто назвал ей даты Французской революции и жизни Петра I, что у меня за год не было в журнале ни одной четверки по истории, ну и можно себе представить! Не полагалось пересдач на выпускных — никак, категорически! Но мне устроили.

Одиннадцать лет спустя, в мае, в своем небольшом домике в маленьком яблоневом саду, Кира Михайловна, классная, намекнула мне, в чем было дело. И идиот вспомнил.

В этой школе мы в девятом классе ходили во вторую смену. А это неудобно, утром делать уроки, с двух до восьми школа, дома поел-переоделся — день кончен. А в десятый пошли в первую, ну, в свою очередность. А в октябре распространился в классе слух, что со второй четверти мы, точно и достоверно, пойдем во вторую смену. Народ заволновался в недовольстве. Роптал о справедливости. Учителя обычно не знают, сколь много несправедливостей терпят в школе ученики, и как это задевает и унижает душу.

Решили провести неформальное, как сказали бы сейчас, собрание класса, проголосовать, назначить протестные меры — и направить к директорисе выборных от класса. Пусть известят, что мы не хотим.

Мерой назначили забастовку — на занятия не выходим. С выборными застопорилось: никто не рвался. Я отличался повышенной раздражительностью с раннего возраста. Я сказал что пойду я, и могу один, если класс меня уполномочит. К моему изумлению, класс притих. В презрении я затянул бледно-бежевый короткий по тогдашней моде плащ, который носился только с поднятым воротником, и застегнул кнопки на очень хороших перчатках тонкой черной кожи (отец взял в Германии себе,

но не лезли, а я дорос). Так я могу считать, что вы меня уполномочили, построил я вопрос так, чтоб молчание означало согласие. Неопределенное мычание было мне верительной грамотой.

Я постучал в директорский кабинет. Где никогда не был. И вошел с разрешения. И встал посреди. И сообщил ей, глядящей из-за стола с легким удивлением. Что уполномочен. Прошлый год во вторую смену. А в этом — несправедливо. И если переведут — класс устроит забастовку и на занятия не выйдет. А я только передаю решение класса.

Меня отпустили без лишних слов. Мы остались в первую смену. Вероятнее всего, слух был ложный, и никто нас переводить никуда не собирался. Кира мне потом сказала только, что в кабинете директора лучше все-таки снимать черные кожаные перчатки и опускать поднятый воротник. Что она получила жесткий втык от директрисы, я узнал в том же яблоневом садике и в очень мягко-косвенной форме одиннадцать или двести лет спустя.

Для меня за полтора года прошло полжизни. Для директрисы возрастом за полтинник полтора года пролетели птицей-голубем городским помойным. И вот ее красавец теперь хочет получить из ее рук золотую медаль. Так где справедливость жизни, и не сука ли он наглая и удачливая? Ничего, пусть хоть чуть-чуть понюхает жизни-то, покорячится, а то уж больно певуч и разгонист.

Характерно, что я к экзаменам абсолютно забыл тот случай! И ни на миллиграмм не подозревал, что директриса меня топит умышленно! Да — я не сумел ответить... почему-то... И что-то такое чуялось... Но в объективности ее не сомневался нисколько!!! Просто вот такое невезение.

И я получил ее! Желтого металла из неизвестного сплава. И сидел на сцене в президиуме. И произносил речь от имени выпускников. И ни хрена не чувствовал. Утомили они меня этой эпопеей.

Тем более что главное было впереди. Вступительные.

.....

В шестьдесят шестом поступали два школьных выпуска 1948—49 гг. рождения, дети послевоенного демографического взрыва. Нас было до черта, и конкурсы были ужасные. На русское отделение филфака ЛГУ — около двенадцати на место. А группа переводчиков английского отделения — вообще под тридцать, так что у нас еще ничего.

Для некоторых вступительные экзамены — это решение судьбы, всей будущей жизни, состоишься ты или нет. Быть или не быть.

Я презирал себя за волнение. Я говорил себе, что поступлю сейчас, или через год, после армии, переведясь с заочного, как угодно, когда-нибудь, любым путем.

Я жил у своей тетки в Дачном. Она с семьей была на даче. А Дачное было в городе: пешком, на метро и на троллейбусе — около часа до университета.

Я перелистывал книги по программе из ее библиотеки и свои пособия по грамматике. Ездил на консультации и собирался с духом.

Это был Ленинград! И это был Университет! Хотя другие абитуриенты выглядели не страшно. А все равно.

Было четыре потока, и сдача каждого экзамена шла четыре дня: наплыв! Мой поток был второй, и мне было жаль, что не первый. Первый — это первый, что-то есть.

И я приехал за четверть часа до десяти, как рекомендовали. И был спокоен. Сочинение было готово во мне. Оно уже существовало в виде бесформенной пластичной энергии, которая послушно и легко примет любые заданные ее параметры: тема не имеет значения, надо лишь оформить и сбросить набранный потенциал. Я даже подрагивал. Но одерживал себя и презирал за это подрагивание.

И я пошел с потоком в двери большой аудитории, и у меня не было с собой экзаменационного листа. Я отошел в сторону и обрыл карманы. Я забыл лист дома на столе. Езды в оба конца — два часа. Воздух почернел, и мир зашатался.

На дверях стояли, похоже, аспиранты, парень с девушкой. Мое лицо требовало скорой помощи, и меня

утешили. Документы сланы? Приняты? Ничего страшного. Надо пойти в приемную комиссию, сказать про накладку, меня тут же перенесут в третий поток, а есть еще и четвертый, и приезжайте завтра спокойно сдавать, берегите нервы, ни пуха ни пера.

Назавтра я сидел пень пнем. Я перегорел на старте. У меня не было мыслей, не было вдохновения, не было подъема, а вместо желания был страх написать плохо. Я выдавливал сочинение, как Чехов из себя раба по капле.

И получил 4.

Тогда я не пил. И не курил. И не ходил по женщинам. И не имел денег. И у меня не было друзей или просто знакомых в Ленинграде. Поэтому я шагал вдоль набережных, и мысль утонуть в зеленой воде не казалась мне противоестественной.

Шансов пройти весь конкурс в борьбе с ленинградцами у меня было куда меньше, чем написать сочинение на 5.

И я пошел на устный литературу-язык. Экзаменаторам точно не было тридцати. С литературой было все в порядке, и я видел, как она, почти не закрывая от меня мой листок, рисует пять. А с русским устным меня заклинило. В те годы я его не знал никогда. Писал я без ошибок — чего вам еще? Я его игнорировал, тут же забывая выученный и прошедший урок. За три дня не выучишь. Она мне даже помогала, она меня не топила, она кряхтела на ухо подруге, и поставила мне три, общая четыре. И я понял, что пролетел мимо университета.

Тетка, приехав на день, напекла огромный таз коржиков. Сутки я читал учебник истории и ел коржики. Они кончились к петровским реформам 1721 года, и я лег спать перед экзаменом.

В коридор передо мной вывалился из двери несчастный, срезанный на группе «Освобождения труда». Я срочно прочитал «Группу освобождения труда» и нырнул в аудиторию. И вытащил эту группу!!!

И тут я включился. Я задышал. Наверное, глаза заго-

релись. И я задекламировал, что необходимость реформ назревала десятилетиями, что еще петровские реформы 1721 г. не могли удовлетворить общество! Меня слушала нестарая, опять же, тетка, она прерывала и направляла, а я пел издали, стремясь блеснуть всем, что имел, а главное — скрыть то, что она хотела узнать, но не знал я. Я говорил о Степняке-Кравчинском, попавшем в Лондоне под маневровый паровоз, и о Ротшильде, отсудившем у Николая I деньги Герцена. Когда я дошел до 1936 г., когда Эренбург прибыл на Теруэльский фронт и анархо-синдикалисты под черно-красными знаменами встретили его криком: «Вива Мигель Бакунин!» — она поставила мне пятерку и выразила восхищение, попутно посожалев, что про освобождение труда мы так и не узнали, но явно знаем, несомненно.

На английском я не сумел толком перевести простенький текст. Советская школьная система обучения языкам умела готовить глухонемых! Экзаменаторша стала со мной разговаривать, и тут в рамках школьной, опять же, программы я бы тянул. И она пригласила напарницу. Вот та была — класс! И юбка, и стрижка, и сигарета, и бойцово-циничное выражение честного лица — это был стопроцентный филфак, кто понимает. «Ваш любимый писатель?» Был такой вопрос в перечне. «Хемингуэй». Это была тогда правда! Но Хем был в школьно-учебниковом перечне, и она скривилась. И спросила я что читал. И я перечислил все его книги — слава богу, я отлично знал и помнил оригиналы названий. И она приподняла бровь и спросила, не помню ли я, из каких частей состоит книга «В наше время»? И получила не части, а названия рассказов сборника. И приподняла другую бровь и спросила, читал ли я «По ком звонит колокол»? И я отвечал любовно, что Кастро сказал, что двадцать лет эта книга была для нас учебником гражданской войны, но я ее не читал, потому что в нашей стране она не переведена и не издана. И она сказала, что когда я поступлю, пусть я прочту ее по-английски. И резко поставила мне пятерку.

И я подвис со своими восемнадцатью баллами.

К дню подведения итогов бóльшая часть отсеялась и рассеялась. Оставшихся собрали в актовом зале и объявили проходной бал 19. Не ожидая иного, я пошел забирать документы.

Там толкались, и я спустился к Неве. Пережду, куда теперь спешить. Я стал пытаться думать о том, куда пойду работать и проживу предстоящий год. Как буду готовиться к экзаменам, чтоб поступить наверняка. Не заберут ли раньше в армию. Если загребут, вернусь я сюда года через три. Мрачная огромность и горы пахоты.

— А что ты торопишься! — сказала свойская начальственная тетка, единственная из всех обращавшаяся на ты и к нам, и к девчонкам из комиссии. — Походи пару дней по утрам, потолкайся, послушай, еще ничего не кончено.

Когда девятнадцатибалльники разошлись, окруженный кучкой беспокойных замдекана сообщил, что послезавтра к двенадцати надо подойти на кафедру русского языка — возможно, останутся на русское отделение несколько мест для тех, у кого один-два балла меньше, хотя пока сказать трудно и обещаний никто не дает.

Я и назавтра подъехал — убедиться, что информация остается в силе.

А послезавтра положили наши дела — папочек тридцать — на стол и: полупроходные баллы восемнадцать и семнадцать, осталось шесть мест, конкурс сейчас пройдет так: вступительный балл плюс отметки по литературе и русскому в школьном аттестате плюс один балл за медаль, у кого есть.

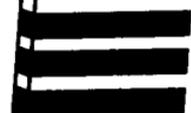
В этом раскладе я получал двадцать девять из двадцати девяти возможных.

Я уже ничего не чувствовал. Ничего не мог. Ничего не хотел. Ничему не верил.

Я вышел на Университетскую набережную и через два часа спокойно пешком пришел в Дачное. Я не представлял, куда мне себя девать и чем заняться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наш универ.



1. Загородка, компас, курс, қалитқа

Если бы в восемнадцать лет я жил в свободной стране, я бы никогда никуда не поступал. После школы я отправился бы в ближайший крупный морской порт — тот же Ленинград, или Архангельск, или Калининград, или Одессу, — и чуть раньше или позже нанялся бы на любой корабль матросом второго класса, и отправился бы вокруг шарика. Курсы и сдача экзамена на удостоверение — несколько недель, проформа, а можно и экстерном, я узнавал. А удостоверение шлюпочного старшины, на которое я сдал в местном речном клубе, на всякий случай у меня уже было.

Я хотел видеть мир! Я хотел работать всем! Я презирал туризм — благоустроенных зевак, глазающих на чужую жизнь. Надо самому жить этой жизнью, чтоб она была твоей!

Я хотел быть настоящим железнодорожным бродягой, и монтажником-высотником, и портовым грузчиком, и вальщиком в тайге. Меня просто укачивало это желание.

И, заработав денег на два года жизни, я хотел осесть в своей камерке в городе Ленинграде. И только писать. Учиться, постигать и достигать. Преодолевать и добиваться. Я полагал, я чувствовал, что через два года плотной, упорной, сконцентрированной работы — я смогу

писать. По-настоящему. И буду писать книги. И больше ничего не надо.

В суровой реальности план не катил. Альтернатива: армия — или институт. А «летунов» идеология жестко порицала: хороший человек должен был трудиться на одном месте.

Поступать в электротехнический, куда я окончил подготовительные курсы заочно? Или на физфак — я любил физику? И учиться? Чтоб раньше или позже, потеряв столько времени и труда зря, все равно писать? На филфаке хоть литературе учат.

2. Мы

Еще не было блатных и не было взяток (клянусь — ни об одном случае в университете тогда мы не слышали). И не было ограничений в приеме для иногородних, и общагу давали почти всем. Прием был честным.

Каждый из нас был звездой в своей провинции. Медалистом, победителем олимпиад, эрудитом, примером. И вот мы собрались вместе. В нашей группе из двадцати трех человек медалистов было тринадцать.

Каждый обнаруживал, что он такой не один. И было с кем разговаривать по верху своего уровня: один был уровень, умственного превосходства не возникало. Одни были счастливы, другие (позднее выяснилось) травмированы этим обстоятельством.

Мы цитировали друг другу те же книги. Терзались теми же мыслями и задавали те же вопросы.

Поражало, что треть честно поступивших были серые мыши, плохо понимавшие, что они учат и отвечают. Проскок в экзаменационную лотерею. Артисты миманса. Фон.

Весь первый курс мы плавали в блаженстве. И только потом некоторые пришли в себя и потянулись выше. Высовывались. Происходило ориентирование в новом пространстве. Старый принцип выплыл из нового тумана: ты должен быть лучшим и первым. Только теперь придется

гораздо выше. Восхитительное ощущение. Это уже не ба-рахтанье в воде. Буквально физически чувствуешь, как молоко под лапками сбивается в плотную массу, и это уже настоящая опора для настоящего движения.

Как бы объяснить. Мы были уже на площадке, где велся гамбургский счет. Здесь собрались мозги из лучших со всего Союза. Это был — подготовительный класс, но — реальный масштаб.

3. Они

Наше поколение последним успело в захлопывающиеся двери праздника. Время еще отделило нам яств с пиршества русской филологии.

Мы узнали о существовании и масштабе Проппа, и одновременно узнали, что легендарный Пропп еще жив, и седенький гном с горящими глазами еще прочитал нам в первом семестре треть курса по русскому фольклору.

Историческую грамматику русского языка давала бабка Соколова, и когда грузная старуха с трудом поднималась на второй этаж, подтягиваясь о перила, и садилась там на площадке «филодрома» передохнуть среди курящих студенток, вокруг нее висела и просвечивала плотная аура репутации: «она была любовницей Есенина!» — и знала бабка Соколова об этой своей репутации, и довольство жизнью исходило из промытых морщин и ясных выцветших глазок.

И в курсе по древнерусской несколько лекций по «Слову о полку Игореве» приходил нам читать Дмитрий Сергеевич Лихачев. А русскую XVIII века читал Павел Наумович Берков, и половину лекций он отсутствовал, вылетая на спецкурсы в Германию, Францию и прочие Италии, бо на тот момент по своему предмету имел рейтинг номер раз в мире. (Да-да, я знаю аграмматизм своего оборота.)

А когда Григорий Наумович Бялый начинал свой спецкурс по Достоевскому, то через несколько лекций все переезжало из аудитории в Большой актовый зал

филфака, и там собирался питерский бомонд, и первый ряд сиял звездами академических и театральных кругов.

А латынь давал Аристид Иванович Доватур, ученик и ученый Петроградской школы, заявлявший: «Я скажу «Кирка» вместо «Цирцея» в тот момент, когда вагоновожатая трамвая объявит: «Следующая остановка — кирк!»

И еще. И еще.

4. *Стиль*

Блистательный Георгий Пантелёймонович Макогоненко, профессор и завкафедрой русской литературы, седеющий и грузнеющий светский лев лет пятидесяти трехпяти, член Ученого совета Пушкинского дома и чего угодно, входит в «большую» двенадцатую аудиторию читать свою лекцию из курса первой половины XIX века. Еще не вошел — готовится!

Звонок прогремел оглушительно и бесконечно. Коридоры опустели, двери в аудитории закрылись. Со второго этажа спускается Макогон, останавливается за углом в коридоре и смотрит на часы. Выжидает.

Он в шикарном сером костюме. В шелковом, похоже, галстуке. Всегда очень аккуратно подстрижен недлинно и причесан. Всегда благоухает дорогим одеколоном.

Он ставит портфель на пол и прикуривает сигарету с фильтром. Берет портфель в левую руку — и с сигаретой в правой стартует с места на третьей скорости! Дверь с треском распаивается, портфель по дуге летит за кафедру, Макогон врубает речь на ходу:

— Итак, в прошлый раз мы с вами говорили, что когда Пушкин поселился во дворце графа Воронцова...

Аудитория в атасе. Девушки повосторженнее писают кипятком.

Однажды, опаздывая на лекцию, я из конца коридора наслаждался этим серийным спектаклем. Он играл!!! Ему было не все равно!!! Он был пижон!!! Он наслаждался своей работой в родном университете!!!

Рассказывали, как в блокаду он подобрал умирающую с голоду Ольгу Берггольц, выходил и пристроил работать на радио. Когда после войны он с ней развелся, она запила уже навсегда.

Однажды на экзамене старшекурсник крикнул в дверь аудитории: «Девки, Макогон любит юбки повыше». Макогон выгнал на пересдачу всех в мини-юбках.

После разноса его доклада в Пушдоме он мрачно занизил всей группе оценки на балл. А после удачного банкета — зависил группе (увы, уже другой, естественно) на балл.

Посещение лекций у нас, разумеется, было обязательное. Преподаватели ходили к Макогону, как главе курирующей русское отделение кафедры, с жалобой на разгильдяйство и пропуски. Макогон удивленно поднимал мохнатые брови: «Да? Странно... А у меня полная аудитория». Жалобщик отползал с ненавистью.

* * *

Словарный кабинет. Сессия. Вечер, зима. Пустовато, прохладно, отражения ламп в черных окнах, кожаные тисненные корешки за стеклом вдоль стен.

Индивидуальная пересдача экзамена — русская литература начала XX века. Тридцатилетний доцент Аскольд Муратов — красавец Робинзон Крузо с ухоженной гривобородой. Две студентки — одна на сносях, того и гляди родит меж словарей. Она собирается отвечать первой, но Алик вежливо ее затыкает и долго занимается другой, спрашивая и мягко пытая, пока ставит четверку. Та уходит. Беременная слегка бледнеет от волнения и раскрывает рот. Алик останавливает жестом и спрашивает о самочувствии. Удивленный положительный ответ. Вообще о здоровье? А муж тоже студент? А живут где? С деньгами, конечно, трудно? Как же она рассчитывает сдать летнюю сессию? Или взять академический? А мальчика ждут или девочку? Когда собираетесь?

Подвигает к себе зачетку и рисует туда «отлично». Желает здоровья, до свидания.

Позднее я сообразил, что с пятеркой она могла тянуть на повышенную стипендию — плюс восемь с полтиной рублей.

* * *

Детдомовец студент Бохан в поисках десятки до стипендии. Все неимущи. Бохана надоумливают, и он идет к доброму бездетному Доватуру: «Аристид Иванович, вы не можете одолжить мне десять рублей? Я отдам со стипендии». Кафедра слушает и весело косится, Аристид ласково достает десятку из кошелечка.

Стипендия. Бохан входит на кафедру с бумажкой в протянутой руке. «Спасибо, возьмите ваши десять рублей», — кладет на стол рядом с Доватуром и выходит. Кафедра хохочет. В детдомах не учат изящному политесу.

В конце двадцатых Доватур отсидел пятерку как монархист. Эта справка его потом спасала: «Знать не знаю и не хочу ваших троцкистов, бухаринцев, или кого там, я не разбираюсь. Я — монархист, за это уже отсидел, вот справка!»

Маленький, лысый, улыбчивый, лукавый и умный как бес, он мог вдруг повернуться к студенту в коридоре и сказать: «Мальчик, возьми три рубля, потом отдашь, ведь нет сейчас, правда?» Одни умилялись, другие говорили о наведенном в заключении голубом цвете.

* * *

Обнаружив, что английский я никак не могу применить, мое подсознание пришло в ярость и отказалось его учить. Доцент с красивой фамилией Ирина Георгиевна Эбер («медведь» — *англ.*) дарила мне на английском «По ком звонит колокол» и «Ученические годы Хемингуэя». И я стал нагло ничего не делать!..

«Камрад Веллер! Вы можете сейчас вывести меня под автоматом во двор, поставить к стенке и расстрелять, но зачета вам я не поставлю. Я вас очень люблю, но оставляю вас без стипендии, а если вы не пересдадите мне осенью, я выгоню вас из университета и буду горько рыдать над вами! Идите вон, не рвите мне сердце».

5. Дух

— Коллеги, — с тонированной академичностью обращались к нам профессора. С самого первого курса...

Невозможно вообразить, чтобы преподаватель обратился к студенту на «ты», или повысил голос, или сказал что-то грубое. Исключение было одно, всеми принимаемое: если на экзамене оказывался полный балбес, экзаменатор мог попросить его открыть дверь аудитории и в эту дверь выбрасывал его зачетку вон в коридор. Это выражало, что незнание студента воспринимается как за-предельное хамство.

В дверях седой профессор пропускал семнадцатилетнюю студентку вперед, и это было нормально.

Невозможно вообразить, чтоб даже старшекурсник обратился к преподавателю-аспиранту на пару лет старше себя не по имени-отчеству. Невозможно вообразить, чтобы в присутствии студентов, в официальной обстановке, сто лет как приятели профессора обращались друг к другу по имени и на «ты»: такое было только вне службы, вне публики.

Кастовость преподавательского гардероба соблюдалась не строго, и профессор мог подать-надеть пальто студентке в порядке нормы. (И ради бога, и примеряйте сюда сегодняшнюю пошлятину «свободного секса».)

В те воинствующе-атеистические года мы ушам своим здесь не верили: «Филолог, который не читал Библию — ну, это просто нонсенс». Да в родных городах за такое могли, ну, типа арестовать за антикоммунистическую пропаганду — по нашему мнению. А уж из комсомола — со свистом на позорное место.

С восемнадцати лет я не ходил ни на одну демонстрацию, ни на одно публичное собрание и шествие. Ленинград был, конечно, люлькой трех революций, но Гвардии Санкт-Петербургский Университет (в Ленинграде это звучало не то что сейчас!) эти мероприятия мягко игнорировал. Ректором был академик Александров, и его оборонная значимость охраняла его старую академическую

демократичность. Желаящие — пусть идут, а гнать — никогда! (Прочие вузы шли сквозь город полдня приказными колоннами!)

В факультетской читалке и университетской библиотеке (четвертое хранилище страны) давали Ницше! Шопенгауэра! И Спенсера! В то время!!!

Если ты самостоятельной точкой зрения возражал преподавателю — он расплывался: это был комплимент — его студент думал! его студент интересовался и въезжал в предмет!

Вольнодумство поощрялось. Разномыслие поощрялось. Любые выходы за пределы и границы программы вызывали у преподавателей вздох: можно погулять за забором, отвести душу и поточить лясы на любимые темы.

Советские литературно-идеологические догмы не оспаривались — игнорировались.

Это был — оазис. Академия в платоновском смысле.

* * *

И в этом оазисе мы неким образом еще в первый день занятий все знали, что в каждой группе есть стукач. Факультет идеологический. Западные отделения, переводчики. Контакты с иностранцами, стажеры по культуробмену. Осторожнее с политическими анекдотами. С идеологическими высказываниями. КГБ следит.

Это взывало не только к оглядке — кому вылетать, закрывать себе будущее или садиться охота. Это побуждало к какому-то дополнительному благородству, требовало дополнительной честности. А из юношеского протеста, презрения к низости.

6. Из песни слова не выкинешь

Вообще-то университет начался с картошки в колхозе. Поступившую абитуру сунули на поля Оредежского совхоза. Еще до занятий — со второго сентября. Это был самый счастливый сентябрь в нашей жизни. Груз выпуска и супер-

груз поступления позади, пять лет студенчества — филфак ЛГУ!!! — обеспечены. Мы копали, пили и пели. Копали весь день, пили по возможности и пели по вечерам. Когда не пили — все равно пели.

Мы еще не понимали, что это поэзия. Да не думали. Да просто человеку петь потребно.

Это никогда не исполнялось официально. Не звучало по радио (или мы не слышали). Не выходило на пластинках (или мы не знали). Мы не называли это «бардовская песня», или «самодеятельная», или «авторская». Никак не называли. Просто пели.

Это была неофициальная культура. Внеофициальная. Неподцензурная. Внеидеологическая. По своей охоте. Для людей.

Это не был протест или контркультура. Это была культура вне директив, и только.

Это был Окуджава. Высокую поэзию «Неистов и упрям, гори, огонь, гори...» мы поняли позднее. «Вы слышите, грохочут сапоги!» — пели мы вместе с интеллигенцией страны. Суть поэзии словами и мелодикой входила в нас через поры — с воздухом, с закатом, с костром, с глазами тех, кто рядом.

Это был Городницкий. «Кожаные куртки, брошенные в угол». Да — мы были патриотами! «Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится...»

Нормальные человеческие ценности ложились в нас вместе с запахом родной земли, раскисшей от дождей. С кислым до изжоги хлебом местной выпечки, с восторгом наступившей прекрасной жизни.

7. Первая фраза

Куратором нашей 1-ой группы (всего их было три на нашем I курсе русского отделения) был Владимир Викторович Колесов — тридцатилетний доцент: роговые очки, ранние маленькие залысины, ирония и доброжелательность, любимый ученик бабки Соколовой. В тридцать че-

тыре он стал доктором и профессором, в тридцать пять возглавил кафедру русского языка.

— Коллеги, — обратился он на первом же семинаре, — напишите на отдельном листе одну фразу. Любую, свою, придумайте. Есть? Сдавать не надо. Сохраните. Перечитайте через год — и увидите, какой она покажется вам напыщенной, надутой, претенциозной. Помяните мои слова.

Я перечитал тут же. И, кажется, что-то увидел сразу... Листок потерялся.

— А теперь напишем небольшой диктант, — доброжелательно напирал Колесов. — Все вы здесь, безусловно, совершенно грамотные люди. Но язык — вещь сложная, и поупражняться не повредит.

По несколько ошибок в диктанте сделали все. Диктантик был что надо. Нас поставили на место раз и на все пять лет.

Таких лингвистов я больше не встречал. Он наслаждался языком и делился с нами наслаждением искать предпочтительный вариант. Отправлял кого-нибудь в читалку за учебниками и монографиями и велел читать вслух разноречивых авторитетов относительно очередного написания. Затевал обсуждение и, рассуждая вслух, демонстрировал, как проводится анализ и строится аргументация.

С ним невозможно было крутить вокруг да около. Он воспринимал только честное, ясное, хорошо понятное и потому простое изложение вопроса.

8. Пилигримы

Осень 1966 в Ленинграде была настоящей славой Бродского — неофициального, непечатающегося, не «знакового», не увенчаного — живого, нормального, внеофициозного.

Эта была осень «Пилигримов». Их перепечатывали до пятой слепой копии и переписывали вручную. Их оставляли машинистки для себя. Я и сегодня считаю это — вот слышу я так, звучит мне так, — лучшими стихами

Бродского, которого американского его периода не люблю ни в каком смысле.

«Мимо ристалищ и капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо шумных базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы».

Поэзия — здесь; и пронзительная мощная энергетика ощущалась даже далекими обычно от поэзии людьми. Надсмысловое значение слов, импрессионистский принцип сочетаний.

«И тишина. И более ни слова. И только это. Да еще усталость. Свои стихи оканчивая кровью, они на землю тихо опускались».

«Прощай. До встречи в могиле. Близится наше время. Ну что ж. Мы не победили. Мы умрем на арене».

Ранний, ленинградский Бродский был хороший живой поэт. Со своей ясно ощутимой незатвердевшей, недожатостью сплошь и рядом, комплексами беспокойного и уязвимого.

Стихи, которые читали под портвейн в «Сайгоне»; стихи, которые студенты читали при свечах на пьянках в общагах между собственно выпивкой с танцами и допиванием остатков перед шабашем; стихи, которые читали девушкам, ни к чему их не склоняя, а все-таки к тому делу гнулось; эти стихи тоже были молекулами пространства, из которого формировались наши души и воззрения. Ну ведь так? Да?

9. Серебряный Тумилев

Обнаружился во всем объеме Серебряный Век. Эрудицией в его области щеголяли. Это была для нас протестная эстетика антисоциализма. Декаданс был изящен, модерн престижен. Мы ржали, млели, цвели. «Дайте мне девушку, синюю-синюю, я проведу на ней желтую линию!» «Петербург». «Огненный ангел». Переписка Брюсова с Белым. Ходасевич. Зоргенфрей. Код для посвященных.

На первом курсе зацепил Николай Гумилев. Где, кроме Ленинграда и Москвы, можно было прочесть Гумилева? Кстати, он был в свое время изъят даже из университетских библиотек.

Я оформил в деканате требование для научной работы и получил временный пропуск в Залы для научной работы Публички — основное хранилище. И в большой блокнот переписывал самые меня впечатлявшие стихи Гумилева, перемежая черную авторучку красной и синей для наглядности оформления. Я ходил туда всю зиму — огромный зал, зеленые настольные лампы, благородная тишина — и составил лучший, наверное, сборник избранных стихов Гумилева. Рукописный. Из всех его изданий.

«Моя мечта надменна и проста — схватить весло, поставить ногу в стремя, и обмануть медлительное время...» И так далее. Теперь каждый может прочесть.

На четвертом курсе в общаге у меня этот блокнот украли. Правда, на четвертом курсе я по нему уже не горевал. В восемнадцать он прекрасен! С испытанием взрослостью дело сложнее. Есть поэты для барышень, гимназистов и студентов. Романтическая поэзия в адаптации для образованцев — чтоб было доступно и самоуважительно в одном флаконе.

Но строки остались! «Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоровший многие племена, прислал ко мне черного копыеносца с приветом, составленным из моих стихов».

10. Проторассказы

На первом курсе я сформулировал для себя и повторял однокашникам:

— Я хотел бы написать книгу. Пусть одну. Но — хорошую.

Самомнение юности мешается с неуверенностью: типично.

Под хорошей книгой подразумевался уровень истинной

литературы, которая оценивается всеми и остается, ну, очень надолго: фактом в культуре.

Время пошло! Пошел отсчет пяти студенческим годам в прекрасном Ленинграде! Пора было начинать писать. А что, собственно? Прежние фантазо-композиции меня перестали устраивать через несколько месяцев: литературщина?.. банальность?.. Здесь и тогда, на филфаке, среди себе подобных юных и наглых наждачных камушков, пошлость сдиралась очень быстро, на дурновкусие морщился нос.

Я стал писать зарисовки. Автобиографические и не очень, документальные и переименованные. Темой могли быть пьянка и вечер в филармонии, прогулка и занятие по гимнастике (урок физкультуры). Короткая фраза, характерная деталь, психологический штрих. И обязательно — многозначная интонация, ощущение того, что о главном умолчано. Конечно, в этом было много Хемингуэя. Время было такое. Его везде было много.

И я их иногда читал. И мне кивали головами.

Что с ними делать дальше — я не знал. И на втором курсе бросил их писать. Второкурсник — это двухсотпроцентный студент, и тут уже автоматически начинается двухсотпроцентная студенческая жизнь со всеми восторгами, обломами и взлетами отсюда и в вечность. Время писать и время жить.

*Интермедия. Герой нашего времени.
И любого!*

Государь Николай I был прекрасный литературный критик. Плоть от плоти своих эстетов и интеллектуалов. Доброжелатель, патриот, книголюб. Недаром Пушкин выходил от него со слезами умиления.

Кто не листал бережно желтых журнальных страниц столетней и более давности, слыша сухой ломкий шорох и шелест, кто не вдыхал ту самую «книжную пыль» — тончайший прах истирающейся в прикосновении и вет-

шающей древней бумаги, кто не читал крупных угловатых литер минувших эпох, — ну, ясно, тот не прикасался к истории литературы.

Значит. Еще весной первого курса в просеминаре я придумал себе темой «Герой нашего времени» Лермонтова в прижизненной и ближайшей к тому современной ему критике. И допуск в Публичку, и ходил в журнальные залы, и рылся в каталогах, находил, дожидался выноса из фондов, раскладывал на большом столе под зеленой лампой. И открывал рот. И аж балдел.

Ни одного доброго отзыва!!!

От автора требовательно ожидали: позитивных ценностей! примера для юношества! опоры для духа! достойного применения таланту! наказания пороков и торжества добродетели! И с негодованием отвергали очерненную им действительность.

Я потрясался. И! — они писали то, о чем мы говорили в школе промеж себя, отплеывая дифирамбы и догматы школьной программы! Что Печорин — подлец, и нечего делать ему пьедестал из карточного домика апологетических спекуляций (это я, конечно, уже сейчас так изящно излагаю суть школьных претензий).

И нарождающиеся разночинцы-демократы. И образованное общество. И окололитературная тусовка. И сам царь! Дули в одну дуду! Николай-то надеялся, что служака Максим Максимыч станет героем. А тусовка сетовала, что «грех на нем остался великий перед Россией» — уже ушел в мир иной, а вот оставил юношеству подлеца в пример, вместо того чтоб чувства добрые лирой пробуждать.

Как выразился классик: «Преддверие истины коснулось меня»...

И ни один — ни одна сука, ни одна гадюка семибашенная! — ни слова не написала в первые десять-пятнадцать лет по опубликовании «Героя нашего времени» о непревосходимом блеске и обаянии стиля и о тонком и точном, беспощадном и детально отпрепарированном психологизме, каких не было близко в русской словесности до Лермонтова.

Вот вам канонизированный классик и гений. И вот вам просвещеннейшие из современников.

Уроков из этого следовало сразу несколько.

Что школьнички-то, мы, были не так уж неправы, пожимая плечами, что дерьмо Печорин на самом деле, и шел бы он подальше с его подлянками нормальным людям, что вообще-то таким морды бьют, и чему это, интересно, нам еще предлагают в нем сочувствовать? Сочувствовать другим надо, пошел он на хрен со страданиями исключительно своей личности. Думал бы лучше о других.

И второе. Э. Так даже оценки в вопросах столь генеральных меняются со временем? И не по приказу, будь то царя или партии, а даже люди свободомыслящие чушь пороли и не понимали ни хрена?

Третье. Так царь не душил поэтов, но думал точно как отдел культуры, как секретарь по идеологии Политбюро ЦК КПСС? О благе юношества, пользе для народа, воспитании молодежи? Гм. Ведь и возразить царю трудно.

Перед летней сессией мне поставили четверку без отзывов и комментариев. На вопросы руководитель семинара, старик-доцент Тотубалин, мягко отмолчался.

Баллада о давлении экстрасенса

Романтика студенческой стройки тянула безумно. Весной я с разгона записался к восточникам: их объявление повесили раньше. Потом переписался в целинный отряд филфака. Вдруг обнаружился элитный стройотряд: транспортный, дальняя стройка, Мангышлак. Первокурсников брали по конкурсу: приоритет имели заслуженные кадры. Я приволок моголевские шляпочно-планерско-самбистские бумажки с разрядами и был допущен к медкомиссии.

Мне намерили давление 155 на 100 и зарубили по гипертонии. Я перекурил, оглушенный, собрал в кулак варианты и дошлепал до спорткафедры: мол, для соревнований померьте. 120 на 70. Мое! Нормально. Ну?!

Вернулся, жду, хочется: мандраж! 155 на 100!.. Лечитесь! После третьего повтора я уболтал спорткафедру дать справку и всучил ребятам из стройкома. Нервы! Черт... Накупил лекарств и выкинул все уже в конце стройки.

Это я к тому, что плюсы и минусы впечатлительности сочетаются и обращены в разные стороны неожиданно. «Библиотечка «Огонька»» выпустила «Один день с Хемингуэем» Лилиан Хеллман. Малоумная поклонница пересказывает, как Хем учил писательству кубинского юношу: «Смотри на человека, его лицо, спину, походку, и старайся понять, какая у него жизнь, его характер и привычки».

Время спустя я девчонкам в общаге рассказывал по фотографиям характеристики знакомых. Я и сейчас не могу толком объяснить механизм. Ты видишь выражение лица, складку пухлых или тонких губ, всю комбинацию лицевых мышц, эту базу всей мимики; красота либо нет сочетается со взглядом, всегда отражающим представление человека о себе. Ты примеряешь такого человека ко всей жизни вообще, сочетания мельчайших черт просчитываются с такой субскоростью, что восприятие происходит интуитивно, как считывание флюидов. Ты впечатляешься человеком — и в контакте чувствуешь его.

При первом сеансе я скрывал удивление, что и вправду получается.

11. *Литература нуова*

Студент падает на проблеск будущего, как чайка на рыбку. Огнеопасный материал всех революций, а как же. Не так, как прежде!

Наши представления о том, каковой надлежит быть литературе, терпели крах, крах был похож на кирпичные обломки и пыль в проломе стены соцреализма, и представления устремились в сияющую и зияющую брешь в крамольные пейзажи.

В шестьдесят шестом году впервые в СССР вышел од-
нотомник Кафки: затертый, он передавался у нас по рукам.

В «Иностранке» появился «Чужой» Камю: мы оволо-
сели; мы цитировали.

«Новый мир» выдал «Золотые плоды» Натали Саррот!
Вот это было нечто. Вот о таком мы раньше не слыхали.

И тут же старик Катаев в том же «Новом мире» пуб-
ликует «Траву забвения», и народ открывает рты. Это —
тот самый Катаев? который белеет парус одинокий? не
может быть!.. во дает!.. Мовизм, говорите, изобрел?

Первые переводы рассказов Кортасара. Аж обалде-
ние. «Аксолотль». «Остров в полдень». Ни хре-на себе —
как можно писать...

Марселя Пруста желающие читали в издании
«Academia» 1934 года в переводе Н. Рыковой: библиотека
сохранила.

Грянула толстенная книга идеолога-правдиста Юрия
Жукова «На фронтах идеологической борьбы», и глава
«Фронт литературы» рассказывал сто-олько нового! а на
шелуху эпитетов можно внимания не обращать.

Не понимая, не ощущая — передние из нас выдвига-
лись за идеолого-эстетические границы советского ис-
кусства.

12. Не так, как раньше

Четыре койки в одеялах, четыре граненых стакана на
столе. Голая лампочка на шнуре, газетка вместе скатерти,
батон, плавленый сырок, бутылки.

— Всем понятно, что писать так, как писали раньше,
нельзя.

— Да изобрести новое невозможно! Все уже было!
Охота была выеживаться только ради того, чтоб выежить-
ся и показать всем, как это можешь?!

— М-дэ... Если уже римские поэты писали любой
модерн, хоть фигурами, хоть анаграммами, хоть как, так
чего...

— Погодите, мужики. Стерн написал своего «Тристрама Шенди» вообще когда, и ни фига, Пушкин восхищался. Чистенький авангард.

— Давай — чтоб новое получалось хоть иногда!

Звяк, бульк, хэк, чавк. Огонь, дым, выдох, сизое облако.

— Да пойми ты. Я не хочу задумываться, чтобы понять, как это вообще надо понимать! Я хочу задумываться, чтобы понять вместе с писателем, как жизнь устроена, почему люди страдают, а не как рассказ устроен!

— Про белого бычка. Жил-был козлик. Текст должен бить в лоб! промеж рогов! чтоб — застопорить тебя, выбить из обыденки, дать кайф тебе поймать!

— В общем, писать надо или то, чего еще никто не писал, или то, что писал — но так, как еще никто не писал.

— А иначе нет смысла. Победитель получает все!

...Делать то, чего еще никто не делал. Сказать свое и только свое. Вот такая форма, вот такие найдены слова, вот такая открыта истина. Дружными рядами пусть шагают рядовые.

13. Камчатская истина

Летом после третьего курса, добравшись на спор до Камчатки, я прожил неделю, переводя дух, в комфорте общежития Петропавловского пединститута. Эту неделю я натаскивал абитуру к экзаменам по литературе и языку, слух прошел по этажам, а они мне оплачивали коечку девяносто копеек в сутки, кормили, а вечером с собой поили. Я был играющий тренер и свадебный генерал из своей деревни.

Я солировал, как попугай Кеша. Я говорил об умном, красиво и бесконечно. Мы пили. Абитуриенты переглядывались и кивали.

Очередные несколько сдали на четыре и пять. И хорошо проставились. Мы гульнули. Я говорил о смысле жизни и великой миссии литературы. Потом все пошло всмятку, потом попадали.

Утром — во рту эскадрон ночевал. Голова взрывоопасна. Плавно, без толчков, несую тело к умывалке.

Из двери в коридор — юные звонкие голоса вчерашних абитур-собутыльников:

— Какой мужик! Сколько знает!

— Не голова, а Дом Советов! Я вообще не представляю, как он столько помнит!

Голова не болит. Тело прямое, легкое. Стою у стенок, слушаю глас народа о себе. Оценка совпадает с адекватной самооценкой. Умиляюсь. Вот ведь серые же семнадцатилетние пацаны — а доходит до них, ценят. И я, значит, ясно говорил. Они продолжают:

— Нет, ну гигант. Это же надо — столько анекдотов помнить!!!

Это все, что они восприняли. Я и не думал про анекдоты...

Голова разламывается. Тошнит. Кряхтя, втаскиваюсь в умывалку и пью из-под крана, мочу голову...

Я впервые понял, чего стоят отзывы публики...

14. Знать

Когда в первый раз в двухтомной сиреневой «Антологии американской новеллы» я прочитал заключительную фразу рассказа Амброза Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей», меня заколотило.

Раз за разом погружался я в трехстраничный шедевр Шервуда Андерсона «Бумажные шарики»: один из гениальных рассказов мировой новеллистики. Поздней до меня дошло, почему возненавидели и пытались высмеять Хемингуэй и Фолкнер поддержавшего их в молодости мэтра Андерсона: они так не могли.

«Легкое дыхание» Бунина я буквально разъял по символам, следуя Выготскому. В 1916 году в Васильевском Бунин был бриллиантовый новеллист.

Вне стен филфака объяснили мне, чем отличается «Станционный смотритель» от прочих «Повестей Белки-

на»: современный и бытовой авторский апокриф, притча о блудном сыне наоборот.

Все нормальные приличные люди того времени читали Брэдбери. У него есть дивные рассказы, тонкие, изящные, мудрые. Мне не хватало в них только новизны и необычности формы.

Я ходил на третий этаж Эрмитажа в залы современной живописи. Я пытался осознать ту грань, до которой и на которой Ван Гог остается великим художником, и это мне понятно, а за которой величие Леже или Брака уже требует некоторой моральной подготовки.

В гостях я впервые увидел альбом Филонова.

Вышла третьим (четвертым?) экраном «Мольба» Абуладзе.

Дос Пассос написал «Соединенные Штаты» контрапунктом.

Я ходил в Академию Художеств по соседству и приставал, как называются те или иные цвета.

И пытался читать и понимать людей: по походке, жестам, лицу, интонациям — характер и жизнь; есть такое упражнение.

15. *Мой первый рассказ, который рассказ*

Он называется «Последний танец». Он включается во все сборники переизданий моих рассказов. История его появления на свет подробно изложена в мини-повести-анализе «История рассказа». Которая вошла в «Долину идолов», «Разбивателя сердец» и др.

Такая штука. Неохота, стыдно было мне в великую и лучшую в СССР студенческую стенгазету «Филолог» писать просто приличный рассказ. Мне оказали честь старшие, звезды филфака: пригласили, предложили.

Сюжетов у меня было уже много. Я их запоминал, потом стал бумажки с пометками собирать в ученическую картонную папку за 12 коп. Я взял сильный, работающий, имеющий отношение к филфаку сюжет. И несчастная любовь, и авиакатастрофа истребителя, и встреча на

далеком Иссук-Куле. И получалась длинная повесть. И я ходил, лежал, и думал, как это спрессовать, закодировать в рассказ.

И видимо, все, что я знал, сработало. И повесть сложилась, как клинок пополам входит внутрь себя вдвое, и уже с острием внутри основания — входит в свою рукоять. Типа складной зонтик в три раза.

Это было тремоло. Три событийно-временных ряда параллельно, кусочками по очереди, незаметно перетекая из одного пласта в другой. Я дал события всех трех слоев, а в результате сложения возник и четвертый над-уровень! Пять страниц! А объем содержания — ну, сто. Зато эти пять — били и пробивали.

Это я все придумал (сказал бы комиссар Жюв). Не было такой композиции в мировой новеллистике, не было такого хода!

И филфак меня поздравил. Там понимали. И он физиков (элита!) пришли переписать для своей газеты.

16. *Второй*

К середине университетского курса эйфория сходит. Мудрость веков давит и душит нерешенным вопросом: почему мир несправедлив. Почему хорошие люди живут тяжело. Почему гады торжествуют — во все эпохи. Почему любимое зрелище богов — смертный, вступивший в сражении с роком.

И возникает протест. Мрачный, упрямый, непримиримый! Да: всё так, но мне плевать!!! все равно должно быть не так!!! и все равно будет так, как надо — вопреки всему, вопреки невозможному!!!

В осень, в слякоть и темень мы месяц ездили в школу на практику. Школьный звонок ронял сердце в забытую тоску: университетский звонок воспринимался совсем к иному. Школьники были немного тупицы, учителя немного неудачники, все происходящее немного бессмысленно — недожизнь.

Вот тогда у меня от злости и несогласия и написался внутри рассказ «Поживем — увидим». Об учителе, бывшем противотанкисте, контуженном в последнем бою на всю жизнь. Каждый день он вращает колесо школьной обреченности — и каждую ночь немецкий танк давит его вместе с орудием. Циклический психоз, такая разновидность, изменить ничего невозможно — ни социально наяву, ни медицински во сне.

Там я впервые понял, ощутил, применил экспрессию вербального ряда вместо грамматической фразы. «Бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава».

Я работал первые десять строк зачина десятистраничного рассказа недели две. У Бога времени хватит. Я работал навсегда. На уровень верха. Я подбирал, пригонял и подтачивал слова, как детали в затворе. С тех пор я помню свои рассказы наизусть.

«Затвор лязгнул. Последний снаряд. Танк в ста метрах. Жара. Мокрый наглазник панорамы. Перекрестие — в нижний срез башни. Рев шестисотсильного мотора. Пыль дрожью по броне. Пятьдесят тонн. Пересверк траков. Бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава. Пора! Удар рукой по спуску.

Прет.

Все.

А-А-А-А-А!

Скрежеща опустился искореженный пресс небосвода — белый взрыв, дальний звон: мука раздавливания оборвалась бесконечным падением».

Бой во сне. Двадцать два года мне было. Тридцать шесть лет спустя я это вспоминаю. Хрен кто сегодня может так работать, деточки. Идите сюда, плюньте мне на ботинок.

И рассказ, тягостный заурядный день единого учителя, сеющего разумное-доброе в холодную безнадежную жизнь и не сдающегося никогда, заканчивается сном, где он подбивает этот проклятый танк! Так не бывает, не может быть, но все равно, все равно, мужество всегда победит, правда всегда победит, добро победит — вопреки законам жизни!

Не слюняво и не оптимистично. Горько и стоически. Мы проигрываем, и все равно нас нельзя победить.

Я стал что-то понимать. Я чему-то, возможно, даже научился. В рассказе должно быть то, чего в нем нет. Но не подтекст. Это слишком мелко, и это уже сделано другими. Был Чехов в драме и Хемингуэй в рассказе. Вроде и чай пьют или рыбу ловят, а вроде и настроение всей жизни понятно, и смысл ее виден и его отсутствие, и счастья нет. Бросьте! Должна быть над-идея, над-смысл, великая энергетика и посыл мысли, и молния страсти, чтоб ледяная колючая проволока вдруг прожгла тебе спинной мозг, чтоб из стиснувшейся груди вдох-выдох вышел прокладной тонкой кометой в высший истинный мир.

Горечь и восторг прозрения и причастия. Вот что такое рассказ.

17. *Обстановка внутри*

Стройотряд, пустыня, колея железки дотянута вот сюда, и мы разгружаем платформы с балластом (мелкий гравий), и похожий на битого викинга-альбиноса аспирант Баранов рубит, горланит и сипит:

Несутся составы в саже
их скорость тебе под стать
в них машинисты всажены
как н-нож по ррукоять!!

Тогда на вечерах читали стихи. Это было нормально: читать стихи. Хорошо — чтоб горло схватывало. Свеча, вино, ее глаза.

Белые бивни
бьют в ют.
В шумную пену
бушприт врыт.
Вы говорите
шторм — вздор?
Некогда длить
спор.

Видите — в пальцы нам врос
трос,
так что и этот вопрос
прост.
Мало ли видел матрос
гроз? —
не покидал пост.

И я читал с помоста на «Проводах Белых ночей»,
и дружинники хотели меня бить:

Наши предки лезли в клетки
и шептали в грозный час:
«Туго, братцы. Видно, дети
встретят солнце после нас».
Я как филин на обломках
переломанных богов:
в неродившихся потомках
нет мне братьев, нет врагов.

На втором курсе я повторил опыт с Гумилевым и переписал прекрасное рукописное «Избранное» стихов и баллад Киплинга. Я гурманствовал, я вылавливал лучшие переводы по разным книгам. Сборник поэзии Киплинга на русском издавался до этого в тридцать восьмом году и был, понятно, бесценным раритетом. Напиваясь, я читал исключительно Киплинга, Блока или Вознесенского. Дивное трио. Киплинга украли позднее, чем Гумилева, но так же неукоснительно.

Кафедра советской литературы подвергалась презрению как гнездо официоза и юдоль идиотизма. Это здесь преподавал Плоткин — автор статьи «Михаил Зощенко — проповедник безыдейности» в том же номере журнала «Звезда» за 1946 г., где было знаменитое постановление о Зощенко и Ахматовой. И кореш его Наумов, любимый ученик профессора Гуковского, продавший его как космополита молниеносно, и смерть в тюрьме была быстрой. Это по их учебнику советской литературы учились десятые классы много лет.

Бакланов, Бондарев и Быков, «Три Б», шли в одной обойме военной прозы, Бондарева быстро назначили

более главным, а Быкова менее, и когда я говорил, что он на голову выше всех прочих, меня полагали «оригинальничавшим». Сам себя не похвалишь — ходишь как оплеванный.

На концертах самодеятельности кто-нибудь обязательно читал под гитарный перебор «Нежность» Барбюса.

И повторяли друг другу — о блестящий Гольшев, о великий Пенн Уоррен: «Все мы мечтаем когда-нибудь поехать на Запад. На Запад ты едешь расти вместе со страной. На Запад ты едешь, получив телеграмму со словами: «Все открылось, беги». На Запад ты едешь припасть к истокам. На Запад едешь, увидев, что нож в твоей руке в крови. Или просто едешь на Запад. Я просто ехал на Запад».

Интермедия. Журналистская практика.

Ну что, сложил толстые журналы? Ах, что это было! Там громоздились штабеля пухлых картонных папок. Там слонялись и сплетничали кучи сотрудников, томимые малоденьем и бездельем. Они приезжали на работу в двенадцать, обедали с двух до четырех, уходили в половине шестого, один день был у них библиотечный, а другой мог быть творческим, и отловить их бывало непросто. И очередь на публикацию уже принятой вещи — два года. Только простых смертных к публикации не брали. Узок кус пирога у разъезда Дубосеково, насмерть окопались панфиловцы у Литфонда.

Вместо музейной практики, что было неинтересно, я выхлопотал себе редакторскую — в «Неве». Самое начало Невского, огромные окна на Дворцовую площадь, шестиметровые потолки дворца. Три человека в отделе прозы сдают страниц сто двадцать в месяц общими силами. Скрытая безработица советской власти. В это же время они ездят на семинары и съезды, берут отпуска за свой счет и просто так, тут же гонят побочные работы, пишут свои книжечки, отбывают на месяц в Дом творчества и так далее.

Меня попробовали на вшивость, одобрили и приспособили. Месяц я делал работу отдела, кроме принятия решений, — и дико радовался своей роли: интересно! Я читал самотек, отбраковывая почти все, и лишь исключения передавая редакторам — вдруг что-то есть? Я отобрал две вещи в номер из стопки «примерно запланированных» — то есть это уже до меня было условно-полуодобрено. Я ремонтировал рукописи в номер, вклеивая напечатанную отдельно машинисткой корректорскую и редакторскую правку. И с разрешения и указания редакторов — я редактировал!!! идущие в набор рукописи!!! и даже одного из секретарей Союза писателей Ленинграда!!! и был со ржанием одобрен циничными сотрудниками. И они сказали, что после меня стало гораздо лучше.

Мне был двадцать один год! Мне доверяли редакторскую работу люди за тридцать, профессионалы, и говорили типа комплиментов! И разделяли мои вкусы, хотя иногда вздыхали, что это все-таки юношеский романтизм и еще не совсем литература, а вот это, конечно, полное говно, но это друг нашего главного, и печатать все равно придется; так что вы, Миша, особенно не убивайтесь, но у вас очень хорошо получается редактировать этих идиотов, попробуйте поработать, так сказать, над текстом. О, как я работал над текстом! Я оправдывал доверие!

Потом они предложили мне еще месяц доверия сверх плана, а оплатят внутренними рецензиями. Потому что Леше Иванову надо было в Дом творчества, а Саше Лурье на семинар молодых критиков, а завотделом Владимир Николаевич Кривцов писал свою книгу. А я чувствовал себя редактором и человеком, работая трехместным отделом прозы толстого журнала «Нева». Жить стоило! И я еще написал несколько рецензий на отказные рукописи, и бухгалтерия выплатила просчитанные 60 рэ.

С одной стороны, меня впечатлило, что я — я! — редактирую произведения профессиональных писателей! Так можно писать фигово — и все равно этого хватит, чтоб печататься и быть писателем! Жизнь подтверждает — я могу лучше их!

С другой стороны, они так ничтожны, что в мире серьезной литературы эти презренные пылинки даже не существуют. Этот уровень нельзя даже во внимание принимать.

С третьей стороны. В крайнем случае — так как они я всегда смогу, и буду печататься, издавать книги и нормально жить. Значит, пока суетиться не обязательно, можно жить в свое удовольствие и делать то, что больше хочется.

18. *Первая фраза, которая осталась.*

Мы давно отвергаем вульгарный пан-фрейдизм за архаичностью и упрощенчеством оного. Но есть ведь зерно, здоровенное такое зернище, в теории сублимации, да? Хочешь кому-то понравиться — и от возбуждения умнеешь, пока возбуждение естественной разрядки не получит, тогда резко глупеешь. А пока добиваешься — мозги твои распускают в черепе такие павлиньи хвосты!

Кончался третий курс, и на три рубля я сидел в «Подмосковье» — коктейль-холл на первом этаже ресторана «Москва», Невский угол Владимирского, соседняя дверь с «Сайгоном». (Сейчас там очередная гостиница типа Рэдиссон-САС.) Было тошно и скорбно, груз вековой мудрости буквально вминал студиозуса в депрессию, и на треху я тянул два самых дешевых коктейля.

Она была блондинка, у нее было светлое личико и серые глаза, и когда она проходила (в туалет, видимо), фигурка обнаружилась что называется точеная. За другим столиком она пила с тупым амбалом. А я, значит, сидел один ипил вприглядку.

Я пришел рано. Ближе к восьми-девяти вечер в баре завился и загустел. Подсаживались люди, вступали в разговор и ставили студенту выпивку. А девушка тоже не уходила. И не смотрела на меня нисколько. А после очередного поила я был в нее уже просто влюблен. Ну? Денег нет, хаты нет, друга нет, а там амбал, и она с него глаз не сводит.

Двенадцатый час. Пустеет. Я набрался. Веду умный разговор с застольниками. Все кончено, начало забываться, щемит, бывает.

И вдруг слышу над собой голос, приятный и направленный такой голос девушки:

— Молодой человек. Как вас зовут? Очень приятно. А меня Инна. Я хочу, чтоб вы мне позвонили.

И мне в руку суется сложенная бумажка.

Видимо, у меня выпучиваются глаза и приоткрывается рот, и на автопилоте я говорю, почему бы нам тогда сейчас пока не отойти. И чувствую себя не то чтобы трезвым, но вообще вне состояний трезвости или опьянения. Вне растерянности или находчивости. Хотя фиксирую, что говорю не то. Но реагирую, по своему мнению, адекватно.

— Сегодня я занята. Так я буду ждать вашего звонка. До свидания.

И уходит.

Я на автопилоте изображаю небрежность перед соседями. И ничего мол такого, подклеиваются тут всякие, обычное дело, так о чем мы говорили? Но думательный объем в голове занят шампанским звоном, то есть не вино звенит, шампань стучает глухо, а шампанские пузырьки поигрывают и хрустальные звоны вибрируют.

Все, что было дальше, не имеет никакого значения. Хотя были странные встречи с огромными перерывами, изложение всей ее жизни и рассказ под названием «Революционный этюд», но не про революцию, а про пьесу Шопена, которую она играла мне на рояле, а рояль стоял на шкуре белого медведя, а родители-полярники были там, где им полагалось быть — в Заполярье.

Осталась фраза. Уж очень она мне в тот вечер нравилась. То есть девушка нравилась. Хотя фраза тоже осталась!

«Раз в жизни сбывается несбыточное». Это, значит, что она сама ко мне подошла. Это был шестьдесят девятый год! И представления о приличиях и достоинстве были сильно иные. Были. Сильно были.

Эта фраза осталась от давно утеряннного за малоцен-

ностью рассказа «Революционный этюд». Но в «Любит — не любит» в «Звягине» она вошла.

Нервное напряжение принимает вербальную форму. Семантическое сочетание стыкуется на поэтическом, метафорическом уровне. Из семантико-грамматического разлома фразы, как из трещины, смысл ее восходит в иное измерение, безмерное пространство, надлогическую систему координат. (Уметь все это понимать и формулировать совсем не обязательно. Талант может обходиться без рационального аппарата — т.е. гениальный поэт может быть дураком и неучем, это общеизвестно. Просто понимать — интереснее.)

Были у меня когда-то две записные книжки с цитатами из книг. Первую я завел еще в восьмом классе. Вторую в университете. Обе лежат в коробке из-под ботинок уже сто лет, возил в переездах, жаль выкинуть, хотя вообще не перечитывал те же сто лет. Но кое-что помню. Фразы были — чтоб кайф ловился.

«Он предпочел залпом выпить чашу жизни и разбить стакан, но оставить по себе бессмертную память». Э. Сетон-Томпсон.

«Коммунизм — это юность мира, и его возводит молодым». Поль Вайян-Кутюрье.

«И он остался недвижно стоять на утесе, как памятник недавно пронесшимся здесь грозным и славным событиям». Фенимор Купер.

«Бедное сердце, осаждаемое со всех сторон». А. Дюма.

Цитирую по памяти — как и все в этой книге. Тут я придерживаюсь идеалистической точки зрения. Мы имеем дело с тем, что и как представляем внутри себя: это мои фразы, мой мир и его вехи.

С малолетства я комментировал что ни попадя. На уроках литературы в 5–6 классах комментировал из-за спин читаемые нам тексты, всем в развлечение.

Так что в четырнадцать лет цитаточки мои были, может, и не бог весть как изысканны. Но к возрасту полного совершеннолетия, к 21 году, я уже сложил фразу со смыслом. Даже себя зауважал.

19. *Диплом двойной защиты*

Вы над дедушкой Лениным-то без меры не смейтесь! Приличный человек найдет хорошее везде, а свинья везде найдет грязи. Это я к тому, что во всех гарнизонных клубах и ДОСА (Дом Офицеров Советской Армии) в главном зале при сцене обязательно висел плакат — золотом по зеленому:

«Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатить свою память знанием всех тех богатств, которое выработало человечество».

В. И. Ленин

Когда прочтешь и запомнишь это раньше, чем появился иммунный барьер рассудка, впечатывание в подсознание обеспечено. Коммунист был идеалом человека, лэйбл идеала сменился, но тезис-то остался!

Я изучал рассказ. Обогащался знанием. Жадный скопидом. Стяжатель-фанат.

Когда-то, классе в седьмом, первым моим потрясением от того именно, как рассказ построен, был О. Генри. Концовка-то вдруг откуда-то — шар-рах! Сразу и не поймешь.

Потом был Амброз Бирс, где было-было — ан в конце выясняется, что все не так было, и вообще ничего не было.

Шванки и прочие фацетии были малоинтересны. Анекдот строился исключительно на неожиданности концовки. Но это в лучшем случае, а обычно анекдот Возрождения был вполне грязен и туп. (Тогда я не мог понять, а большинство и сейчас не понимает, что ценность не в качестве этих анекдотов, которого нет, а в самом факте их наличия, в живом вольнодумстве — после веков церковного ригоризма.) «Декамерон» и «Гептамерон» строились нехитро.

А вот сказки Перро были уже непросты! Там уже было что посмотреть в устройстве!

Гофмаң был велик, о. У Гофмана были усложнены временные петли и сюжетные вилки. Вот многословие

и небрежнословие удручало. Правда, у нас всегда были редки хорошие переводы с немецкого.

Великое изобретательство и разнообразие Эдгара По тянуло минимум на докторскую. Умел, наркоман проклятый!

Книг по технике и технологии рассказа не было. Вообще. Я буквально высасывал все из университетской и Публички — это был ручеек влаги на мельницу: образы, характеры, мастерство пейзажа, философские ноты. Банды пустоболтов.

И любимый мной ОПОЯз в двадцатые занимался не тем. И уважаемые структуралисты занимались не тем. И никто не хотел показать, как из нескольких фраз составляется блок, нагруженный уже новой мощью мысли, чувства, значения. И никто не говорил, как можно составлять эти блоки в разные комбинации, и будут получаться разные и сильные по воздействию тексты.

Я читал бесспорного нашего авторитета Бахтина и не мог уразуметь: еще «Илиада» полифонична, еще «Венецианский купец» полифоничен, диалектика есть закон жизни и среди прочего формализуется в многогранности персонажных характеров, неоднозначности, неоднородности героев, — так о чем вы поете столь бесконечно?..

Меня интересовала современность. Подошел диплом. Рамки темы не могли быть раздвинуты за горизонт. Я сформулировал себе: «Типы композиции современного советского рассказа». Таких работ не существовало. Компиляция не предполагалась. Пахло самостоятельностью, и пахло «формализмом», и от меня открещивались, и я еле нашел себе руководительницу. Она была лишь доцент, и вообще на пару лет из Тарту, и содержал ее муж, и у нее не было опаски.

И я придумал свои термины, и дал свою классификацию, и вообще это есть в анализе-наставлении «Технология рассказа», и об этом говорится в «А может, я и не прав». Прошла треть века, и я могу сегодня отмерить: к моменту защиты я был первым в СССР специалистом по композиции короткой прозы. За слова отвечаю. Про другие страны и языки сказать затрудняюсь, за железной

занавеской мы жили, без интернета, и факсов с ксероксами у нас не было, и загранпаспортов. А в радиусе известного пространства — был я.

Кто понимал «трехопорную новеллу» О. Генри, Шекли и еще пары ребят? Кто формулировал «переставленный кубик» Пристли? Кто анализировал «опрокинутый временной ход» Фитцджеральда? И вот эти банды неучей и идиотов будут всю жизнь полагать себя изучателями литературы, начитывая и комбинируя чужие нехитрые соображения!

М-да. Но ограничиваться надо было советским послевоенным периодом — 50-е—60-е годы. И все мои познания по части мировой новеллистики уходили в примечания и сноски!

Кто помнит сейчас, и кто отмечал тогда контрапункт короткого славного рассказа Сергея Воронина, ныне и вообще забытого? Кто препарировал — чтоб вся ткань ясна на срезе! — блестящий параллелизм Аксенова «Завтраки 43-го года»? Кто проследил, как от железного рычага сюжета в «Охоте жить» Шукшин перешел к «точечной новелле»? Кто увидел и понял весь жизненный цикл — символ-треножник — в единственном гениальном из рассказов спившегося Виля Липатова «Мистер-Твистер»?

Если вы сведете пушкинского «Гробовщика», бабочку Чжуан-Цзы и «Ночью на спине лицом кверху» Кортасара — так это будет одна моя сноска к одной из страниц в дипломе. Не много ли я хотел от бедной кафедры советской литературы, которая ненавидела во мне уже выпестыша ненавистно-почтенной кафедры русской?

Меня провалили на защите. Я был единственным из трехсот человек выпуска, кто, вовремя представив подобающе оформленный диплом, соответствующий всем требованиям, защищал его в назначенный срок и в установленной форме — и был провален.

Это было так неожиданно и нетипично, что я даже толком не понял. Я совершенно не переживал. Отметка для меня ничего не значила. В аспирантуру я не собирался никогда. На моей судьбе это не отразилось никак. На

работу я мог устраиваться все равно, для проформы мог написать любую фигню и защитить через год, все по фиг дым. Но странно. Здорово!

Потом кафедра битый час ругалась за закрытыми дверьми. Сводила личные счета. Кричала о науке и лже-науке. Говорила, что теперь русская кафедра раздует инцидент и хрен кто из наших «советских» защитится в Пушдоме! И голосовала, и решила по Соломону: а вот пусть нужный нам Пушдом, вотчина ихняя, и решает сам эту фигню, а мы умываем свои коммунистические руки и потакать инакомыслию в нашей науке не будем!

По-моему, они специально орали так громко, чтоб в коридоре лучше было слышно!

И я защищался в Пушдоме. Я был приподнят значимостью своей персоны. Я пел и щелкал. Я был спокоен, доказателен, доброжелателен и уверен. И не давал перебить и заткнуть себя никаким каким!

На усмешку завкафедрой, что вот этот график должен объяснить ему пафос рассказа?! — я отвечал гордо (заготовка), что он же не требует от кардиолога, чтобы кардиограмма объяснила врачу его военную храбрость и благородство души? Так у меня тоже узкая задача.

Через пять минут директор Пушдома обнял меня за плечи и посадил рядом с собой. Он легко погасил мелкий случай, и полил маслом, и помазал сладким, и выразил и пожелал.

.....

Черт меня побери. Это была последняя в моей жизни отметка.

С четверки я начал школу, где был потом первым. И с четверкой по настоящему диплому я закончил филфак, где был звездой. Не единственным, нас была пачка, но это была тонкая пачка, свой талант каждому, и у меня было в порядке с головой!

Не в харизме дело. Неуверенностью я не страдал. Видимо, у Парня Наверху были свои планы. Типа «что не ломает — то закаляет».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Первая зима.

1. *Первая ночь*

Мне было двадцать пять лет, и я был абсолютно свободен в том смысле, в каком команда начальства: «Свободен!» означает «пшел вон».

Я удрал из сельской школы, я удрал от Облоно, я удрал от всех. Я был «БОМЖИР» — «без определенного места жительства и работы», ходил такой термин в низовых органах.

Летом мы бригадой вели трассу на Терском берегу, Белое море, и на книжке у меня было зажато тысяча триста рублей. Зажато мертво. Мне нужно было купить ленинградскую прописку через фиктивный брак. С прицелом получения жилплощади в будущем. Брак стоил пятьсот, комната — семьсот. Я искал варианты и экономил копейки.

Однокурсник с французского отделения уехал на два года в Африку переводчиком и оставил мне свою комнату в коммуналке. Злая соседка не позволяла комнату сдать, мне следовало быть пайнкой и аккуратно платить символическую квартплату.

Варианты находятся небыстро. Осень тянулась слякотная. Безделье стало томить. Нормальная работа без

прописки была невозможна. Из платных развлечений я позволял себе только кино.

Приводить к себе кого бы то ни было соседка запретила. И самому приходиться позже двадцати трех часов запретила — двери закладывали на кованный крюк до утра. А куда мне было деваться? И как лапочка в одиннадцать я был дома. Без подруг и друзей, без телевизора и радио, без книг из библиотек по причине отсутствия прописки в паспорте, и обычно с батончиком за тринадцать копеек во внутреннем кармане пальто в качестве ужина. Но было где жить!!

Миновало 7 Ноября, и стало совсем темно. И на девять вечера пошел я как-то с тридцатикопеечным билетом в ближний кинотеатрик. «Там, за облаками» вышел новьем на экран. Любовь, война, летчики, сбит, ампутированные ноги, к любимой не вернулся, а двадцать лет спустя друг случайно увидел его, узнал, помог, пристыдил, привез, она ждала, все плачут, горькие годы позади, счастье еще будет, все хорошие люди. Какая-то тут фигня зарыта.

Бреду по темным тротуарам домой, грея батончик под левой грудью, и не соглашаюсь с режиссером. Из логики предъявленных мне характеров и ситуаций строю собственную конструкцию. Искреннюю, жесткую, не банальную, не слюнявую. Выпил друг двуногий с другом безногим и понял правду жизни. Не дай мучаться, добей, браток. И поехал к той невесте, двадцать лет ждущей своего без вести пропавшего, и сказал точно, что нашел в строевой части его авиаполка документы о смерти и похоронах, и вот его награды. Порыдали, выпили, подвели черту под этой частью жизни. Ну потому что неопределенность мучит страшно! И баба жизнь себе как-то давно наладила. А эти безногие пьяницы ох покажут небо с овчинки, как похмелье встречи сойдет. Вот так.

Вот и рассказ! А когда же начинать писать всерьез? Двадцать пять с половиной лет! Есть свободное время,

и деньги на жизнь, и никаких обязанностей. Пора. Давно пора. Ну так и пора.

Дома надеваю свежую белую футболку. Кипячу на кухне чайник, тихо тащу к себе. Изготавливаюсь.

А в комнате пу-усто. Крошечный диванчик, столик два стула и настольная лампа. Гвозди в стенах — вешалки. И мой чемодан и две картонки с книгами.

Я пристраиваю стул и лампу. В коробке нахожу тетрадь и вырываю несколько двойных листов, разворачивая их в формат «больших» (А4). Промываю авторучку и заправляю, чернила черные. Справа определяю подручное место чашке с чаем и пепельнице. Коробок спичек кладу рядом с пачкой «Шипки». И в половине двенадцатого сажусь, закурываю, отхлебываю, беру ручку и начинаю писать.

Я чувствую себя просто прекрасно. В груди приятный холодок предстоящих дел. Больших и долгожданных.

11 НОЯБРЯ 1973 ГОДА. Вот она, дата, как забыть.

Слегка замедляюсь, составляя мысленно первую фразу. Ну, чтобы правильный настрой, и вообще. Задумываюсь даже над первой фразой.

Сигарета докурилась, а фраза какая надо не идет. Тормозится.

...Через полчаса я был в ужасе. Я не мог написать ни единого слова!

Все фразы получались банальные, тупые, неинтересные, штампованные. В них не было духа, не было куража, не было стиля, никакого блеска, да вообще ничего в них не было. А надо ведь — чтоб цепляло, чтоб без штампов, чтоб энергетика ударила, чтоб просто без кружев и мелихлюндий: правда, сила, чистота.

Я засел в половине двенадцатого, боясь, что захочу скоро спать. К часу ночи я был измочален, футболка пропотела, в горле саднило от табака, на листе не было ни слова.

— Спокойно, — сказал я и полез в свои книжные картонки. Ну хорошо — сейчас посмотрим, как писали те, кто умел.

Я читал Паустовского, и я читал Бабеля. Я читал Хемингуэя, и я читал Лондона. Хозяйского было четырнадцатитомник Чехова в углу. И я их читал, и я смотрел зачины их рассказов, и я все видел, и ничего не понимал. И начитавшись, я пересаживался с диванчика за стол, и брал ручку, и закуривал, и потел, и через десять минут садился обратно читать.

У меня был сюжет. Материал. Герои. Я все видел и слышал. Я все знал. Оставалось только выразить словами тот рассказ, который уже был готов внутри меня. И он не рожался, не выражался, не лез никаким каким.

К четырем я перестал соображать. Я потерял свой нерв. Мне было страшно. А что, если я не могу????!!! Это крах жизни.

Перед тем, как обрубиться, я довел до себя на уровне решения и осознания: ладно; завтра продолжим; я буду писать это неделю; или месяц; или год!!! или десять лет. Но в конце концов я напишу рассказ. Я буду писать десять лет, но через десять лет я напишу хороший рассказ, такой, как я хочу.

В конце концов, достаточно за всю жизнь написать всего несколько таких рассказов, как Бирс, или Андерсон, или Бунин, или Бабель, чтобы сделать свое и остаться в литературе. (Так я тогда думал.)

.....

На завтрашнюю ночь я написал два предложения.

Интермедия ужаса

01. Не в ту дверь

(В конце того сентября. Еще теплая осень. Ленинград, свобода и есть на что жить. Ощущение, что, несмотря на предстоящие траты и безработицу, рублей сто можно прогулять. Скромно, но без счета.

Страшно изводит бездомность. Утром благодаришь очередных друзей, им на работу, ты выкатываешься со своими мелкими пожитками в старом портфеле. Деться

некуда, делать нечего. И все либо комнаты в коммуналках снимают, либо приживалы сами у кого-то, а твоя ночь уж вовсе на птичьих правах и собачьей подстилке.

А весной было совсем тошновато: без копейки. Бредешь и мечтаешь: наестся бы в добром доме от пуза и выспаться на чистой постели, утром в секущий душ, завтрак, рюмка, кофе, сигарета, и белье на тебе свежее, и можно спокойно планировать и начинать новую хорошую жизнь, все нормально! Такая формула счастья.

А через знакомых высвечивают варианты: дворник с лимитной пропиской, носильщик-кладовщик в камере хранения на вокзале, вахтер где-то в общежитии. И — в двадцать пять лет!! — пахнет от этих предложений обочинной жизни, деклассированным элементом, выбраковкой, второсортицей. Пир неудачников. Шарахаешься!

А в сентябре, значит, встречаю я однокашника курсом младше, выгнанного пару лет назад с филфака за ерунду и несправедливо. Он хорошо держался, а сейчас приехал восстанавливаться, и его не восстановили. Он уезжает. И я провожаю. И на Ленинградском вокзале мы идем в кабак. Не бог весть, но — ресторан, в советские-то времена. Я с заработков — гуляю его.

Обстановка в советском вокзальном ресторане — типа гадюшник. Лица клиентов, настроение приятеля, любезность официанток, класс кухни — все в гармонии. И свет тоскливый.

И он отходит в туалет. И я смотрю в пространство. И вся неуютность последних месяцев собирается в точку где-то посередине груди. И вот тут на несколько секунд меня не то чтобы охватил ужас — я просто растворился в бескрайнем ледяном пространстве без остатка, и это ледяное пространство было — несостоявшаяся жизнь.

Написать книгу — но при этом напечататься, издаться, пробиться, «стать писателем», даже если ты не меришь себя этим словом: в 1973 году было в СССР чудовищно трудно. Я еще и не знал, насколько чудовищно.

Меня качнуло. Из будущего высунулась беспощадная рука времени и вышибла меня с ринга. Я усомнился, я потерял веру, источенный дух сломился, я был слаб, я не мог.

Я НЕ СМОГУ, ясно понял и ощутил я. Вот это было страшно. Я избрал не ту дорогу. Жизнь прошла наполовину впустую, и впустую окончится. Мне уже двадцать пять. Путь избран — и это тупик. Разрушение неудачника. Жалкая судьба, жалкая работа. Претензии заурядности. Амбиции пустоболта.

Что же делать, если я не смогу? Мне конец. Да с чего я взял, что я могу писать настоящие книги? Кто сказал, что мне по плечу войти в избранные? Ни славы, ни денег, ни удовлетворения от работы: прозябание и угасание.

Черное, зеленое, ледяное, тошное до смерти. Я аж охнул.

Вернулся друг, мы засадили по полстакана, и ужас больше не возвращался, в таком-то пробойном качестве.

...После первых секунд и за пару минут до возвращения друга я сложил это в рассказ «Не в ту дверь». Не ставший писателем старик убеждает юного литературомана, что тот не сможет! не пробьется! потому что это он сам себя убеждает, юного и начинающего! предъясвляет себе юному — себя старого! И молит пойти другим путем!

И юный плюет на эту правду и эту неизбежность — и все равно делает то, к чему его влечет. Ему гарантировано — проиграешь! — но все равно он будет играть! И в этом истина!

В ту зиму я написал этот рассказ, а еще три года спустя переписал. Но вот если когда испытывал я ужас — был действительно не уверен, что сделаю свое, — это в те омерзительные секунды. Все остальное были даже не трудности — а, правильнее сказать, необходимо решаемые рабочие моменты.)

2. Чужие беды

Я проснулся в полдень и поехал в ДЛТ. И купил пачку бумаги «Писчая» 210×297мм, 250 листов за 83 коп., большой лист зеленой настольной бумаги, простой карандаш граненый и бритву для его точки.

Я покрыл стол зеленой бумагой. Лампу установил слева, и чистую бумагу тоже слева, за ней. А чашку, пепельницу и сигареты справа. А ручку и карандаш чуть правее центра. А в центр класть чуть наискось для удобства тот лист, на котором писать. А исписанные раскладывать веером у дальней кромки столика.

И почитал «Золотую розу» Паустовского. И «О прозе» Шкловского. И пошел бродить по улицам. Проветривать голову и вдыхать энергию для вечера-ночи.

И я мучился. И я словно грецкий орех давил в середине груди неким волевым, эмоциональным и одновременно интеллектуальным усилием. И сидел с половины двенадцатого до половины четвертого. И написал:

«Близился полдень, и редкие прохожие спасались в тени. Море блестело за крышами дальних домов, а здесь, в городе, набирали жар белые камни улиц».

Я сдвинул вагон. Это было мало, но это было верно.

В первом предложении не сказано, что это солнцепек, и людей на улицах уже почти нет, и тени-то немного, и жжет все сильнее. Есть время, люди, движение, атмосфера. Слов — шесть. Строй — твердый. Словарь — простой. Содержание фразы больше ее формы. Вот это и есть стиль. Предложение состоит из двух простых, и смысловой пробел между ними дает объем содержанию.

А насчет моря за крышами — это приморский город, берег, и город на склоне горы, и мы довольно высоко на склоне, и много домов ниже нас сбегает к берегу, и блики по волнам далеко внизу, а белые камни — могут быть только в черноморском городе. И «набирают жар» — это точное выражение, без гипербол, потому что они не «раскаляются», то уже метафора и красивость.

Вот этим вещам у мастеров и можно было учиться. Нет, не подражать, именно и точно так никто, конечно, не писал. Но пейзаж и атмосферу дать несколькими простыми точными словами — это лучшие умели.

Хорошо написано — это когда для пересказа необходимо больше слов, чем для цитирования. Это когда нечего сократить. Это когда язык естествен и прост — но в то же время он свернутый код длинных предложений, характеристик и картин.

— Вот так примерно! — сказал я себе и пошел спать, устав честно и в меру.

Назавтра я написал почти полстраницы.

.....

Медленно. Так будет очень медленно.

Все равно же текст отделяется бесконечно долго — пока не выйдет единственно верно. Написал — отложил — подзабыл — переписал. Свежим взглядом. Твердой отдохнувшей рукой.

Доводить до ума уже легче (думал я). У тебя есть глина, сырье, объем, канва. Рабочий материал. Есть коллизия, герои, их действия, сюжет, построение, обстановка. Слова, в конце концов, могут быть даже сколь угодно небрежны. Неточны, приблизительны, стерты. Но карта сути, набросок в масштабе 1:1, грубый слепок — уже никуда не денутся. А время отлежаться первому варианту все равно нужно!

Хорошее ощущение и спасительное решение. Хм... А как иначе?!

И я как бы уменьшил заглублиение лемеха плуга, которым натужно вспахивал свою литературную ниву. Я пошел по сюжету и композиции, по характерам и описаниям легче, приблизительней и поверхностней.

На третий день я написал страницу. На четвертый полторы. На пятый две. На шестой три. На седьмой — четыре почти, и кончил этот рассказ. И назвал его «Чужие беды».

Пока я над ним бился и перегревался, он здорово изменился. Главный герой стал уголовником, благое действие — капризом супермена, а пусть мимолетное и сознательное касание в орбиту чужой беды приводит к беде собственной, и он не может понять, какого черта ввязался в ерунду и погорел.

Супермен может все, но чужое высокое чувство оказывается сильнее его, и жестоко понимаемое милосердие отражается жестокостью судьбы в отношении его самого. Он прав, и логика его верная, но есть иное измерение истины.

Был алогизм. Над-смысл. Пятое измерение. Без чего настоящий рассказ не существует.

И я поехал в ДЛТ. И купил большой лист оранжеватой бумаги. И дома разрезал его на четыре части — сложенная пополам, каждая давала размер папки. Понизу я обметал папки крупными стежками оранжевой нитки, специально купив катушку за 10 коп. Пластиковых папок еще не существовало, а картонные по 22 копейки были мне на тот момент дороги. Я жил нищей жизнью в скудно отоваренной стране.

Я вложил стопочку аккуратно и твердо исписанных листов в эту самодельную папку. Принес от мусорных баков со двора несколько дощатых ящичков из-под апельсинов и построил из них маленький книжный шкаф. Между ним и гвоздем в стене пристроил хозяйскую палку от швабры — этот хилый турник стал работать платяной вешалкой. Разложил одежду, расставил книги и вымыл пол.

К одиннадцати вечера я стал чувствовать приподнятость, готовность, возбуждение. Четырехстраничная доза энергии нашла свою форму и русло.

И я стал писать. В двадцать три тридцать ежедневно.

Интермедия о чтении

До двадцати пяти лет я не умел читать. Это открытие произвело на меня впечатление.

Всю жизнь я читал как нормальный человек. Для себя. Потреблял. Я воспринимал сочетания слов и предложения как готовые, цельные блоки — получая из них содержание, настроение, информацию о происходящем. Писатель излагает — читатель воспринимает. Сюжет, характеры, ударные сцены и забавные подробности.

Чтение программной литературы в университете — вообще не считается. Профессиональное диагональное: до экзамена донес? вес взят! — и все рушится в кучку и улетучивается из головы, оставляя только общее впечатление.

Нет, отдельные фразы все-таки обращают на себя внимание сколько-то нормального читателя. Зошенко. «Одесские рассказы» Бабеля. Изюмины из «Понедельника» Стругацких и «белый плащ с кровавым подбоем» Булгакова. Но это — отдельные фразы: краткий смак и чаще всего юмор.

А вот как люди сколачивали фразу!.. Как чисто и точно пригоняли слова друг к другу! И слова брались такие, чтоб вставало за фразой панорамное, объемное содержание!

Ты раскрываешь книгу — наугад. Прочитываешь фразу. Всматриваешься в нее, вслушиваешься. Ты настраиваешь внутренний бинокль на резкость — медленно, тихо, внимательно крутишь. И вдруг ловишь швы, узлы, каждое слово выступает выпукло, как камень в кладке стены. И ты видишь, что никакая это не ровная поверхность, не монолит безликий, выполняющий лишь функцию стены — ты видишь точность подгонки, и как выбирал каменщик размер и форму камней, и как удобно и прочно приставлял один к другому. И ты ахаешь: как мог раньше не видеть этого мастерства?

С глаз спадает пелена. Из ушей выпадают затычки,

И ты — впервые в жизни! — ясно и четко видишь давно знакомые страницы. И проникаешься глубочайшим уважением к мастеру. И — впервые в жизни! — испытываешь наслаждение от его мастерства, не воспринятого тобой ранее.

Так только гимнаст может оценить мастерство гимнаста в труднейших комбинациях, чудо которых недоступно непосвященному: ну, здорово, лихо, да, но на то и профессия, нормально. Так только серьезный драйвер может увидеть мастерство гонщика формулы в «просто очень быстро едущем автомобиле».

Нормальный читатель не воспринимает качества текста. Не видит и не слышит. Недаром первая заповедь для массового бестселлера — «ноу стиль».

Я был нормальным читателем. Я поразился. Это я-то, столько читавший, и то-сё, и поэзия, и филология, и дундук дундуком.

И вот когда увидишь инверсию и перехватывающие горло паузы Лермонтова; и отточенную до наготы честность фразы Флобера; и богатство романтического словаря Лондона; и бесцеремонную точность Толстого; и благодарно до слез восхитишься тем, как умели настоящие; вот тогда до тебя начинает доходить, что есть писать.

Практическая стилистика. Постепенно формируется рефлекс: читая, ты смотришь, как это сделано, оцениваешь, примеряешь на себя.

3. Мои сюжеты

Я придумывал их из всего. От них требовались три вещи.

Первое. Раньше таких не должно было быть.

Второе. В них должен иметься тайный поворот рычага внутри. Сюжет должен быть ударный, неожиданный, работающий.

Третье. Они никогда не должны повторять друг друга. В каждом должно быть что-то свое: зерно, особенность, принцип, поворот, темп.

Они стали приходить в голову постоянно. В столовой я бросал есть комплексный обед за сорок копеек, выхватывал из внутреннего кармана блокнотик и спешно записывал. Сюжет рассказа обозначался буквами = **Ср** =, значок ставился в верхнем правом углу, листки дома я сначала кидал где-нибудь, потом купил за 12 коп. маленькую ученическую папку.

Сюжет не придумывается, строго говоря. Его практически нельзя сконструировать. Его надо провидеть. Это следует понять, ощутить, определить в себе эту способность и раскрыть ее, как раскрывается сложенный в ранце сверток, образуя огромный и сияющий парашютный купол.

Ты научаешься внутренне расслабляться. Ты видишь все двойным зрением: четко, в фокусе — и неясно, зато на всю глубину пространства и даже за горизонт, где реальность и миражи не имеют границ между собой.

И тогда ты смотришь на любую вещь — и в разных участках окоема фиксируешь другие вещи той же плотности, четкости, тональности. Они выделяются в невидимую систему отношений. Последовательность этих отношений и есть сюжет. Понятно ли?

Ты видишь шахматную доску жизни и понимаешь ходы людей. И тогда ты можешь двигать их как угодно — в соответствии с характером фигур. Ты Господь мира, отражающегося в твоём сознании и воображении, и ты вершишь судьбы. И тогда деревце в сквере, его ровесник пенсионер, музыка из транзистора подростков и мусорный бак в подворотне — запускают сюжет легко, потому что немецкий марш гремит из их плеера, девчонка-лимитчица в сорок пятом году сажала это дерево, а старик из раскулаченных, семнадцать лет лагерей, ненавидит это все, и внук давнего энкаведешника приезжает к нему фельдшером по «скорой», а старуха, та веселая девчонка,

занимает его комнату для алкаша-сына, которого все не выгонят из дворников.

Главное — войти в это измерение. А там твори что хочешь. Правда, многие вообще не могут представить, что это за измерение и тем более как туда войти.

4. *Все уладится*

Я твердо стал на четыре страницы в день (ночь). В пересчете на английский это равно тысяче слов — классической норме профессионала. И занимало у меня четыре часа. Как раз — период полного внимания. О «проблеме пятого часа», когда мозги устают, хорошо известно шахматистам.

Мучения стиля прекратились. Слова легко и ловко сплетались друг с другом. Связность собственного изложения меня восхищала.

Я перестал добиваться алмазного штриха и алмазного блеска. Я разрешил себе гнать черновик — заготовливать глину. С утра я начинал ждать вечера. День уходил на дружески-деловые встречи, ориентированные к поиску варианта: прописка!

И перевалил Новый год, и лежал снег, и солнце стало пробиваться горизонтально поздними утрами ближе к полудню. Я просыпался и видел в голое окно розовые крыши, и штриховку тополиных ветвей, и церковный купол за ними, и жизнь была прекрасна. И оставалась горбушка батона, чай, сахар и сигареты, а в кухне можно было нагреть на газе кастрюлю воды и вымыться в ванной из таза.

Сюжетов у меня за прошедшие года скопилась чертова прорва, сотни две. Я лежал в полудреме и раскуривал очередной до неожиданного и желанного шелчка. Шелчок отдавался в голове, в груди, я вскакивал и ходил по улицам.

Овеществление человеком изображения — ход старый и бродячий. Восходит к Пигмалиону и прочему. Так что

мой обычный гражданин, научившийся доставать из картин реальные предметы, меня не устраивал.

Я сделал его маленьким человеком, наивным простаком. Такой Акакий Башмачкин плывет по течению и как телекамерой дает видеть всю картину окружающего. Моя деспотичная соседка звалась Чижова, и герой получил фамилию Чижигов. Согласен — нехитрый ход.

А имя — Кеша. Кирюха то есть. Простофиля, значит, наивный и незадачливый. Сегодняшним языком — лох. Вот с таким подтекстом эти имена могли у нас произноситься и заменяться.

И он решил разобраться в феномене. И обратился к художнику, ученому и священнику. И не дали ему ответа ни искусство, ни наука, ни религия. И никого он не интересовал. Все заняты своими задачами. И никто не видит чуда у себя под носом. А чудо творит обычный маленький человек. Но никто даже не допускает такой возможности.

А дома у него все не ладится. И с работы выгоняют. И он решает уйти в прекрасный вымышленный мир, созданный искусством, воображением: дезертировать в идиллический лесной пейзаж художника с выставки и остаться там жить.

И прячется в зале, и ночью лезет тайком в раму сквозь холст. И ошибается, или картину заменили: он попадает в бой! в кровь и грязь! в революцию и гражданскую войну! на рубеж смерти с винтовкой в руках! И он стреляет.

Нет идиллии!!! Нет ухода!!! Нет мира!!! Ты хочешь жить? Так иди и воюй! Целься и стреляй! Никто никогда не пожалеет маленького безобидного человека, а чудо ведет только к тому, чтоб ты стал мужчиной и воином!

В отличном приподнятом настроении я написал двадцать рукописных страниц этого рассказа за четырежды четыре ночных часа. Язык был легок, а в концовке — жесток. Но тут слова меня не заботили. Я знал, что вернусь к этому рассказу. Через полгода или год. И перепишу его до шедевра.

...И был эпитафия. «Все уладится, образуется, /виноватые станут правыми». В том смысле, что ничего не уладится! Я знал, что в чистовике эпитафия не поставлю. Это был Галич. Эмигрировавший в Париж диссидент. Мы все его пели... Потому такое название.

Интермедия. Откуда берется материал

К тому времени я уже до фига знал. Я жил на Украине, на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Белоруссии, в Ленинграде. Я был в стройотрядах на Мангышлаке и в Норильске, я зайцем гонял через Союз до Камчатки и прошел в Долину Гейзеров. Я шабашил в тайге и кочегарил сутки через трое в одном институтике. Работал старшим пионервожатым, и воспитателем группы продленного дня, и младшим редактором, и учителем. Я понимал и помнил охоту, стрельбу, бокс, парашют, гимнастику, топор и бензопилу. Три года по четвергам меня учили ремеслу артиллериста, три месяца по ночам я упирался монтажником на «Лентелефильме». Полгода я бичевал по всей Средней Азии, и два месяца шел по всему Черноморскому побережью от Измаила до Батуми. Я мог управлять планером, вязать три десятка морских узлов, шкерить рыбу, не блевать в кашку и кланчить мелочь на улице. Я видал в гробу всех, кто ниже меня ростом! Так говорили в детстве у нас во дворе.

Поэтому я знал, куда наводить на танк перекрестие прицела и где у пушки спусковой рычаг. И как «с оттяжкой» кидать гравий с лопаты, и как чуть наклоняется относительно плоскости удара лезвие топора перед тем, как вогнать его в ствол дерева, и как проводница дальнего поезда делает себе душ в служебном туалете: из консервной банки, истыканной в дуршлаг гвоздиком. И как здороваются незнакомые люди на базаре и проливают пару раз заваренный чай через чайничек.

Знать всё было безумно интересно. Нормальное желание, естественное и бескорыстное. Писатель невоз-

можен без любопытства и жадной любви к разным разностям людских работ и жизней.

Коллизия рассказа — придумывалась. И сажалась на наиболее подходящий материал, известное мне поле реалий.

5. *Апельсины*

И вдруг — вдруг? — вдруг???! — вдруг... — через пару месяцев четко отчеканенные фразы стали появляться словно сами собой. Это бывало редко. Очень. И потом их все равно приходилось чистить и шлифовать, если я хотел сразу довести фразу до ума. Заразу по приказу. Вы понимаете.

И тогда я вспомнил сентябрьский день. Я провел его в прострации. Хотел понять, как жить дальше. Ходил по городу и ловил флюиды пространства. Пытался определить свое место в системе координат. Координаты были дерьмо.

«Реальность отковывала его взгляды, круша идеализм; совесть корчилась поверженным, но бессмертным драконом; характер его не твердел».

О-па. Эволюция личности и характеристика эпохи давалась через метафоризированную психологическую деталь. Теза, антитеза и синтез оказались разнесены по разным уровням.

А кто, братишечки, помнит сейчас фразу: «Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко»? Было у кого учиться, было.

Я написал двухстраничный рассказ за два часа, и доставил себе наслаждение потратить следующую ночь на доводку его до ума. И когда вернулся к нему три года спустя — потратил еще неделю, но в общем он был уже совершенно готов за те две ночи.

Следовало определить себе критерий. Отковать гвоздь. Установить планку. Чтоб не сползти в компост. Теперь я мог гнать болванку будущего рассказа с любой

приблизительностью и небрежностью, абы сюжет до конца изложить. Но я знал, какова должна быть плотность настоящей работы.

6. Небо над головой

Бессонница обнаружилась через месяц. Я удивлялся и не понимал. Раньше мне было это абсолютно неизвестно. А тут я лежал часами, и засыпал только в полдень. Мне было двадцать пять, и никаких ограничений по здоровью.

Это детали. А вообще была отличная композиция рассказа о любви. Она — средних лет, хороша для этих лет и вполне благополучна во всем. И рассказ об ее жизни перемежается цитатами из его писем — как он ее любил когда-то. Здесь ей тридцать пять, а там ей семнадцать, и ему семнадцать, и восемнадцать, и двадцать, и он ей все писал, надеясь когда-нибудь на встречу и взаимность.

А она ничего этого не вспоминает сейчас.

И не может вспомнить. Он ей эти письма не посылал.

И не пошлет. Он давно погиб.

А она живет своей благополучной и счастливой жизнью, и никогда ничего не узнает. А вообще он был пэ-вэошник, и в том, что небо осталось мирным, есть и капля его заслуги, и его жизнь.

Когда-то у меня был школьный друг. И он писал мне о своей любви к девушке. И я сохранил его письма. Это были хорошие письма.

И я достал из коробки эти письма и стал выделять из них предложения и абзацы, нужные по ходу и смыслу рассказа. И — ничего не получалось! Ложась в текст — слова менялись!!! Исчезала сила, искренность, страсть, интонация! Чужеродны и неуклюжи они делались!

Я бился всю ночь. И следующий день. Перечитывал с карандашиком и примерял.

А на вторую ночь плюнул и стал, вписываясь в его интонацию и стилистику, придумывать и писать сам куски писем. И это покатило!

В ту ночь я понял. Скопированное становится неправдой. А созданное становится правдой. Если ты постиг дух происходящего. И сумел дать его адекватно материалу, адекватно всей интонации.

Правда жизни, вынутая из живых взаимосвязей и всунутая в искусственную среду, в своем буквальном и дословном виде начинает иначе выглядеть, звучать, функционировать.

Ты пишешь не буквалистскую копию правды — ты пишешь портрет правды. В искусственных отсветах и синтетических декорациях она должна соответствовать виду и функциям истинной правды, которая в этих условиях тухнет и дохнет.

Я не столько обрадовался, сколько удивился. И даже не столько удивился, сколько разочаровался. Значит, я могу придумывать вам тоннами и километрами, и это будет правдой искусства?

Кажется, задача оказалась легче, чем я боялся!

Кто там у нас сукин сын? Ай да!

№? Моя первая Конференция — молодых дарований

Моя однокашница работала референтом в одной из комиссий Союза писателей. Ленинградского.

— Сколько нужно времени, чтобы вступить в Союз? — спросил я, прикидывая.

— О, — сказала она. — Ого. Книга. Два года очередь в издательстве. Еще чтоб приняли!.. Нужны две книги. До книги нужны публикации. Ну... Самое меньшее — лет пять. Ну — четыре?..

Ничего, кроме злобы и недоверия, такой прогноз вызвать не может.

И тут, я уже сижу пишу, она звонит:

— В декабре будет конференция молодых писателей Северо-Запада, можно попробовать тебе там участвовать. Ты можешь представить несколько рассказов? Страниц

сорок, больше их все равно читать никто не будет.

Я засуетился, машинки не было, по старой памяти на филфаке сунул свои именно что рукописи секретарше через знакомых: перепечатала.

Однокашница вернула мне мою уже машинопись с резолюцией отборочной комиссии: «На конференцию еще рано». Но донесла, что руководитель одного из семинаров прозы «согласен побеседовать».

Презирая свою неполноценность, я вперся незванным к открытию, и упомянутый славный человек включил меня в свой семинар. На десять юных дарований (средний возраст — тридцать) было три руководителя. Четыре дня: семинарист читает рассказ — все обсуждают — руководители выносят приговор — следующий пошел.

Ледяной темный декабрь. Особняк Союза писателей на улице Воинова, у Невы. Мраморно-бархатные гостиные. Внутри свет, маленькие толпы, помесь вольных надежд с казенщиной.

Рассказы в нашем семинаре были чудовищные. Самый взрослый, тридцатисемилетний, читал «добротную», но жутко занудную повесть. И все были легитимны, один я приبلудный.

Все люди неблагодарные скотины. Мне дали время тоже прочитать два рассказа, и я читал «Поживем — увидим» и «Последний танец», и выслушал слова может и не очень умные, но благожелательные и даже похвальные. И?

И вот иду я поздним вечером к себе на Петроградскую — пешком, чтоб как-то разрядить возбуждение! — и в безумном подъеме стучу кулаком в перила моста: здорово! приняли! оценили! хвалили! — а сам при этом презираю их мелкость и безвестность. Все-таки люди скверны, и от рода человеческого не отречешься.

На закрытии руководители семинаров по очереди с трибуны провозглашали лучших. Суки. Меня там не прозвучало.

А как пели! «Это чудовищно, недопустимо — это слишком хорошо, так писать в двадцать пять лет!..» — раз-

водил руками тридцатисемилетний. Но «модернизм» сильно не одобряли.

И вот — декабрь 1973! — «молодым» пожелали счастливого пути в литературе: белый зал, алый бархат, лучистые люстры, протокольные морды.

Еще полгода я твердо полагал, что скоро все будет в ажуре.

Частый бредень госнадзора.

7. Убить друга или хоть коня

Этот рассказ придумался в голове давным давно. Возможно, в подсознании (и не таком глубоком) он восходил к «Балладе Редингской тюрьмы» Уайльда. Человек очень любил своего лучшего друга, и убил его «для его же пользы» — ну, обстоятельства так сложились. Но не «Белое безмолвие» Лондона! Друг был вполне дееспособен, и друг-убивец потом страдал страшно, да кто поймет тонкую и сильную душу, понимаешь.

Потом я стал думать, что это как-то слишком высокопарно и банально. Меньше пафоса! Холоднокровней, Маня, вы не на работе. Ситуация хорошая, правильная. А блеск и внешний эффект — надо снизить.

И летом на шабашке, в перерыв по случаю дождя, я придумал, что он убил не человека, а коня. Но тоже — любил страшно. Лучший и единственный друг. Потому и убил. Жизнь гадская. А он благороден. Страдал. И убил. И правильно. Но страдает.

И вот я стал писать. А не знаю — ни хрена. Коня видел редко и издали. Ни в какие приемлемые взаимоотношения с человеком поставить его не могу. Аж порнография в голову лезет.

Припомнил я О. Генри с Майн Ридом и перенес дело в Америку. В прерии. Все равно черновик. Потом все перепишу. Когда-нибудь. Главное — объем болванки нагнать, чтоб было что переделывать, это уже легче.

Забегая вперед — я никогда не использовал из этого писания ни одной буквы. Через четыре года, в процессе писания, ту рукопись выкинул всю. Но помню! О, какое ужасное сюсюкающее фуфло! Не просите, не расскажу, ничто человеческое мне не чуждо, я стесняюсь! Стыдно мне.

Больше я так не халтурил. Впустую потеряны три ночи. Я чувствовал! Есть нижний предел даже у заведомого черновика!..

8. Свободу не подарят

Ночью в мою открытую форточку были слышны куранты Петропавловки. Это был высокий шестой этаж на Петроградской близ Стрелки: зима теплая, а топили жарко. Я и начал рассказ:

«Ночью в открытое окно слышны куранты Петропавловки».

Это был вполне печальный рассказ о любви. Она была наша, а он был негр из Африки. Хоть он и был молодой коммунист, но родители ей запретили за него выходить. А она и сама колебалась, хотя, вроде, любила. Ну, подобные истории у нас случались.

В рассказе она оставалась несчастной и одинокой, некрасивая старая дева, школьная учительница. А он тоже страдал в разлуке и воевал в джунглях против проклятых расистов-колонизаторов.

Да! Вот так мы верили тогда во все хорошее! (А сейчас юный африканец стал бы любовником своего профессора, а нашу девку заставил бы торговать героином, и она нажаловалась бы фашисту с помповым ружьем! Вот что демократия-то делает с людьми!)

Прямоточное повествование меня не устраивало — банально и скучно. Жестче! Резче! Штрихами и мазками! Коллаж и параллели! Смешение стилей и характеров!

За два часа я написал две страницы. И все изложил. И озадачился. Рассказ я предварительно прикидывал на

десять страниц. Ну вот по весу и объему материалов, жестко стиснув. И вдруг — две! И все...

Еще два часа я безуспешно пытался что-нибудь добавить.

И следующую ночь пытался что-нибудь добавить.

Нечего было добавлять!

И это тоже явилось новостью. Случилось в первый раз. Что ты по всем приметам и замаскам прикидываешь, чувствуешь, рассчитываешь один объем — а выходит другой. И четко так — как влитой! как перчатка! в размер и слог ложится все, что ты имел.

Интермедия. Сезон первый

С 11 ноября по 10 февраля — я писал три месяца без перерывов, за исключением одной только новогодней ночи. Двадцать пять самодельных папок встало в углу на пол, и в них были двадцать пять рассказов. Это были черновики. Хотя три коротких из них были очень близки к уму. И десяти лет не понадобилось.

С тех пор и всю жизнь стол у меня был застелен зеленой толстой бумагой, и лампа стояла слева, а стакан и пепельница справа, а ручка с чернилами и карандаш лежали левее середины, а больше на столе никогда ничего не было.

И на столе прикноплены обветшавшие в переездах фотографии Че Гевары из журнала «Богемия» за 1968 год и Хемингуэя из «Лайфа», год 1962. И маленький графический портрет Акутагавы Рюноскэ в виде мастера Ёси-хаде из «Мук ада».

И нет ничего замечательнее, чем садиться за этот стол, зная и вспоминая, чувствуя и прозревая, что сейчас и всегда, пока жив, ты будешь писать только то, что тебе сильнее всего хочется. Так, как знаешь истинным. Плюя на все и вся.

А потом последовала смешная церемония в обвалившемся и ремонтирующемся загсе, и все всамделишно на-

дрались по поводу фиктивного брака и реальной прописки. И я бросил писать на долгие три года, и закрутилось с треском пестрое и забавное колесо.

Но крутился и резвился я внутренне спокойно. Я хлебнул и я узнал. Я могу и я буду. Просто пока надо чуток забить социальный статус. Денег нет ни копейки! Под статьей хожу! Друг вернется — где жить буду? А также в двадцать пять лет до ужаса хочется веселья, любви и дружбы.

Тут Вольтер из мглы ехидно высовывается: «В молодости надо веселиться, как черт, чтоб в старости работать, как дьявол».

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ГЛАВА



Собираясь с духом

1.

О черт. Но ведь в любой миг. Я мог устроиться — даже в режимном советском Ленинграде — на любую работу, дающую прописку. Лимитную, временную, любую. Дворник-кочегар-бетонщик-носильщик. И писать все свободное время. Свободной душой. Чистой головой.

Не мог.

Инстинкт отчетливо шарахался от деклассирования. Слова «андеграунд» еще не было, но от свободомыслящих непризнанных гениев розами не пахло. Печать жизненной неудачи чернела сквозь их кожу несмываемо, как татуировка. Неиспользуемое высшее образование, нервозное неприятие абсолютно всего официального и признанного, обреченная неряшливость в быту, в планах, в интимных отношениях.

Это было энергетическое поле второсортных. Расплывчатая расслабленность всех жизненных проявлений. Заработок мерился прокормом, любовь — доступной койкой, успех — похвалами в соседней компании. Зоилова мера, двойной стандарт, горьковское «На дне». И — о похвале в официальном литературном семинаре или —

о! — случайной публикации в газете (не говоря о журнале!) — передавали со значительной весомостью.

Их неудача была заразна, как проказа. Сам воздух был сер и мутен. Я не знал французского. Они были мизерабли. Необъезженный белый конь не нес тебя к литаврам, золоту и принцессе!

И все, что они писали (из читанного мной), было фигней. И никто не собирался быть первым в мире.

2.

Большой, но в сущности безвредный штамп о браке был смачно вклеен на одну страницу серпастого и молоткастого, а на другую поместился маленький и главный, как пуля в глаз, штампик о постоянной прописке в Ленинграде. Ага!!!

И тут же я отправился в первое прослышанное место: ПТУ с вакансией учителя языка-литературы.

Директор оказался стерт, худ, среден возрастом, размером и цветом. Старший бухгалтер скобяной артели или низовой уполномоченный НКВД.

— Зарплата у нас маленькая, для мужчины-то, молодого тем более, если вы после университета, вас что привлекло? — без радушия допросил он. Никакой ожидаемой мной радости он близко не проявил.

Я авторитетно разъяснил, что за большой зарплатой не гонюсь, в летний двухмесячный отпуск могу на шабашке заработать, если надо, а вот именно большой отпуск и малая загрузка — шестнадцать часов преподавательских в неделю у них было — мне ценны. Потому что вообще я пишу, и свободное время мне для этого необходимо и дорого.

Все у него в кабинетике было канцелярское, стандартное, типовое, и лицо его канцелярское начало вдруг щериться.

— А что вы — пишете? — спросил он как человек, имеющий право официально одобрять либо же обвинять

меня в писаниях, о сути которых он обязан сейчас узнать.

(Ох сколько раз потом слышал я этот вопрос от самых разных лиц, не имевших ни малейшего отношения к издательству, редакции, цензуре, литературе, комплекс бдительной соседки по коммунальной кухне вздергивал даже ученых секретарей музеев! Надзирать за мнением и ограничивать неверное!)

Рассказы пишу, отвечал я веско и скромно.

Пауза.

— А вы член Союза писателей? — с недоверием, уважением и требовательно клянул вперед директор.

С мягким превосходством я объяснил, что пока еще нет, потому что для приема в Союз необходима книга, и вот я сейчас работаю над книгой. И внутренне покраснел от своего газетно-официального оборота в собственный адрес.

Последние черты бухгалтера исчезли, как надоевшая маскировка, уступив место раскованному энкаведешнику. Секунду он осознал мою преступную наглость.

— Как это? Так кто же вам разрешил писать? Вы о чем пишете?!..

Мое мямленье о жизни и человеке было лишним. Растерянный враг.

— Или вы как этот, понимаете? Солженицын?

Уже было ясно, что гостеприимный приют ждет меня в другом месте. В руках у меня не было ничего, кроме шапки, но возникло ощущение собираемых вещей. Не в силах усугубить кару высланному Солженицыну, директор погнал вон хотя бы меня.

Стоял март семьдесят четвертого года. Еще никто не спрашивал меня, кто разрешил мне писать. Что называется, предвестие истины коснулось меня. Я ступил на дорожку, где встречали не цветами, и не хлебом-солью, и оркестр норовил сбиться с любой мелодии на похоронный марш.

— Вот скотина, — с неуютом и изумлением сказал я, отойдя на безопасное расстояние.

3.

Я не хотел работать в школе. Я боялся работать в школе. Работать в школе тяжело. Еще на школьной практике в университете я после своего первого урока почувствовал в учительской, что пиджак у меня пропотел на спине.

На уроке тебя взгреют ученики, в переменах директор, а дома жена — за размер зарплаты. Плюс проверка тетрадей и внеклассная нагрузка. Я низко кланяюсь учителям, презируя свое дезертирство.

Школьная работа в области и районе расширила, безусловно, жизненный кругозор. Но постигаемые мною нюансы классической литературы не воспринимались учениками как слишком тонкие и отвергались завучем как слишком нахальные. Образы и типы из школьной программы были родом эстетического вротного.

Преподавание литературы в школе вызвало во мне ненависть к литературе и презрение к юности. Впредь я запретил себе испытывать эти непродуктивные чувства.

* * *

Одно время я подрабатывал репетиторством. Двух десятиклассников и одного зрелого мужа натаскивал по сочинениям для вступительных в нормальные институты. Десятиклассники поступили, муж сказал жене, что ему эта затея надоела и в гробу он видал ее план высшего образования.

Это зло провоцировало логичность мышления. Качества характера: первое, второе, третье. Достоинства — недостатки, враги — сторонники, план — реализация, преступление — наказание.

Вообще преподавание такого рода способствует формированию безответственной наглости в оценках, храбрости суждений. Вот как ты приговорил — так и будет. Гм. Это веселит. Роль арбитра литературы оттачивается на единственном слушателе, зависимом и еще платящим тебе за твою точку зрения.

4.

Должность корректора в Ленинградском издательстве морской картографии и геодезии была кратким и мало-значимым эпизодом в биографии джентльмена. Статьи и надписи были до жути нехитрыми и не утомляли чрезмерными объемами. Все, что я вынес оттуда — категорическое несогласие с некоторыми правилами употребления запятой. Я проверял и ставил ее согласно правилам, и навсегда похерил некоторые из них для себя лично.

Польза на будущее от этого осталась крайне мелкая и чисто тактическая: приятно было сказать корректору, что сам когда-то работал корректором и хорошо его понимаешь. После этого легче уговорить корректора по-человечески снизить к твоей нужде и слабости — и в исключение из правил оставить твое написание. В советские времена это было непросто!

...Я не уверен, что вам нужны подробности про столы, лампы, гранки, оттиски в одну, две и четыре краски, про капитанов в погонах первого ранга, которые потом иногда оказывались нюхавшими море только в отпуске в Сочи, и сплошной женский коллектив, немолодой и чужой, отдельный.

Но. Иногда эти карты вдруг давали тебе иллюзию отсутствия железного занавеса. Дальние моря, южные океаны представлялись обычным делом. Как чужие миллионы бедному бухгалтеру при них.

Если бы я проработал там год — я стал бы писать биографии великих мореплавателей.

5.

Казанский собор — это песня!

Я прослужил в нем ровно год. Со дня рождения Ленина — 22 апреля — в аккурат до следующей годовщины вождя.

«Государственный музей истории религии и атеизма». Эти упоительные приключения веселого духа и молодого тела заслуживают отдельной повести. Я был мэнээсом, экскурсоводом, столяром, снабженцем и замом зама директора по хозяйству.

Религию изучали все больше евреи под управлением татарина и поляка. Это обеспечивало философскую разноплановость точек зрения на все.

И комсомолец я узнал, что Иисус Христос, скорее всего, надо полагать, существовал реально. А?! Услышать это — в советское время — от официальных советских ученых и частично коммунистов!.. Врожденный атеист просто начинал коснеть в сарказме и скептицизме относительно всех советских догм! Ибо массам было предписано полагать религию опиумом для народа! Библию в руках не держали — но плевали в ее сторону! Попов полагали обманщиками или в лучшем случае отсталыми и заблудшими мракобесами! Забыли, ренегаты?!

О-па! И я за умеренную плату купил там Библию из конфиската таможни! У кого в семьдесят четвертом году была Библия, голодранцы?

И я узнал, что человек был религиозен всегда — с самых ранних моментов, когда можно судить о его появлении! Еще у неандертальцев были религиозные верования и обряды! И религия, а стало быть вера, человеку вообще свойственна, по природе его, в мироположении вещей это. Официально так не писали, но знали и говорили меж собой как естественное.

Черт-те чем я пропитался в этом очаге религиоведения средь воинственно атеистической страны!

6. «Скороход».

— Ты что, Михайло, — сказал друг. — Ты пишешь в общем чего хочешь, это автоматически печатается, приличным причем тиражом, а тебе за это еще платят

деньги! На работу хоть к двенадцати, хоть вообще не приходи, если дома пишешь: только предупреди, да и все. Раз в неделю только к десяти, летучка в понедельник. Ну — ты же все равно писать хочешь?

Не то чтобы «и вот я стал многотирастом». Переложился еще одной работой — интересной и в тему.

Класс издания — «заводская газета» (полступенью выше многотиражной). Четыре полосы пять раз в неделю, тираж десять тысяч! Всесоюзное Обувное Объединение «Скороход» — двенадцать фабрик по всему Северо-Западу от Витебска и Невеля до Архангельска и Петрозаводска. «Скороходовский рабочий»!

Штат — четыре человека. Работало восемнадцать. «На подвеске» — числились затяжчиками 4-го разряда и пресовщиками 3-го, как и гласили записи в трудовых книжках; и дважды в месяц ходили в «свой» цех за назначенной зарплатой.

Все свои. Филфак ЛГУ. Средний возраст — двадцать шесть-семь. Сто сорок рублей. Чужие здесь не ходят. Песни трудовых подвигов. И на уголок за портвейном.

В первый день меня посадили на «подписи под клише». Тебе дают фотографию работницы. Фрома — фотошник Игорь Фромченко — сам накидал сокращений на обороте: «*Иванова Мария Иван., 29УП, закрой, 5 раз, 27 лет, бриг, КПСС, 140%*». Посмотрев на эти значки, я пошел к редактрисе спросить, а где же информация о героине с фото, чтоб написать?

— Володя, — позвала она, — объясни человеку!

Хмуро-бородатый и весело-циничный двадцатитрехлетний ас Володя перевел с журналистского на русский эту скрижаль:

— Фабрика «Пролетарская Победа» № 2, закройный цех, закройщица пятого разряда, двадцать семь лет стажа в обувном, член партии, бригадир, план перевыполняет до ста сорока процентов. Ясно? На — пиши.

Я сел в машинописке, заправил бланк и стал тупо думать, что тут можно написать кроме того, что я уже

услышал? Через час Володя сунул бороду в дверь, сел за соседнюю машинку и, глянув мельком на протертую моим взглядом фотографию, без паузы стал тюкать:

«Смотрите, девочки, смотрите. Учитесь! Бригадир Мария Ивановна рассказывает не слишком много, предпочитает показывать личным примером». И т.д.

— Ты что пишешь? — спросил я.

— Тебе помогаю, — ровно пояснил он.

Я открыл рот. С воздухом начали входить азы профессии. Словоблудие профессионала текло легко, как родниковая струя в ленинский чайник. Слова были совершенно необязательны и абсолютно непроверяемы. Они читались как нечто естественное, оставляя послекусие рассказа о жизни как трудовой подвиг, но со скромной интонацией.

— О господи, — сказал я. — Твою мать!

— Продолжай, — сказал он. — Научишься.

Я научился. Все учились! Но я через полгода стал чемпионом редакции в жанре «подпись под клише». По аналогичным значкам на обороте фото я на спор написал очерк на полосу. Условием было: не звонить в цех и не узнавать о героине больше ничего. Я писал о терпении, о наработанной точности глаза и твердости руки, об экономии кож и разных видах обуви, о цене трудового рубля и ранней дороге до проходной.

Видит Бог — мы были адские газетчики. Почти все были заголовщики и почти все были фельетонисты. Любой свободный писал любой материал. С точностью до единой строки! Заправляемые в пишущие машинки бланки были типографски размечены на 25 строк по 60 знаков. Коэффициенты не считали — приличествовало помнить наизусть.

Первую заметку о ветеране войны я писал два дня и был измучен двумя страницами, как тракторист пахотой. Писание — интимный творческий акт!!! Что значит — надо написать то-то и то-то?! А как? Где кайф, порыв, вдохновение, внутренний позыв? Сначала я

мрачнел, потом потел, краснел, пыхтел, кряхтел, стонал и матерился. Непринужденный циничный гогот молодых коллег был мне поддержкой.

Из гуманизма меня посадили на культуру, и неделю я тачал и валял шестистраничный мини-очерк о музее Приютино. Оценили. Хорошо. Здесь все работали хорошо.

Через месяц молодого-нового кинули на первую полосу, и патриотические лозунги с тех пор мгновенно ввергают меня в беспокойство и невроз. Писать этим нечеловеческим языком ох нелегко. Призывы и свершения, знаменуя и призывая, вдохновляя и преодолевая, достигнуть и свидетельствовать, следом за и на смену им. Проклиная эту чуму, мы лепили первую строго по очереди.

А вот когда настал август, ребята, и все расползлись по разнообразным отпускам да еще пара заболела, нас осталось на месяц пятеро: по одному на ежедневную полосу и пятый — на макет. Вот тут-то мы попахали! Жизнь была — работа плюс выпить, иногда совмещая. Боже, как мы издевались над своими балладами и призывами, родным «Скорородом» и его трудовыми кадрами, над свершениями родной страны и светлым будущим! Кураж, балдеж и обалдение от переработки. Адреналин шел в смех, алкоголь в беззаботность, а обувщицы были благосклонны к молодым журналистам.

В сентябре я вышел из обитой звукоизоляцией машинописки и нервно завопил:

— Теперь я знаю, что такое фашизм! Это добровольно и за маленькую зарплату писать обратное тому, что думаешь и хочешь!

Редактриса поспешно выписала мне премию, и с пятницы меня выпихнули на три недели в Сочи:

— Тебе надо отдохнуть после лета.

...Я научился не то чтобы словесной развязности — я расчистил и развил способность писать когда угодно о чем угодно в каком угодно объеме. Не алмазным резцом, но — легкими, нефальшивыми и вполне относящимися к делу словами. Это так же относилось к литерату-

ре, как школьный баскетбол — к метанию последней гранаты под танк. То есть как-то все-таки относилось.

Общеизвестно и банально, что поработать в газете писателю полезно. Правда, хорошему писателю все полезно. Любой опыт можно обернуть в позитив. Все, что не убивает — закаляет. Да?

Таки на первых порах, в подготовительный период — похоже да, полезно. Ты перестаешь бояться слова — навсегда. Какой на хрен страх чистого листа?! Ты всегда готов измарать его в мгновение ока. И когда с наслаждением медлишь над первой фразой — ты готов родить и сбросить их сотню, но слушаешь нутром музыку сфер и добиваешься, ищешь, ждешь единственно верного звучания. А глину, болванку, черновик для последующих обработок и переписок — готов гнать с пол-оборота.

Ты готов писать без перерыва — наслаждение и трудность даны тебе в одном флаконе, чтоб из всех возможных вариантов текста избрать и выдать — идеальный, единственный, адекватный внутреннему слуху.

Короче. Грубое, но неограниченное управление писанием во исполнение поставленной задачи. Вот что дает газета. Может дать, если там понимают дело.

А в «Скороходе» — мы понимали. Вчерашние звезды филфака и завтрашние издатели, главные редакторы, писатели и переводчики. Мы просто были — без прописки, или без партийности, или с разводом, или не с той национальностью, не члены Союза журналистов — мы тормозились советской жизнью, и в этом торможении собирались к дальнейшему проскоку через бутылочное горлышко родного «Скорохода». Если б не анкеты — все бы лудили центральные газеты: мы работали по асам. Все отраслевые призы, кубки и грамоты в своем разряде мы держали на стенах редакции — к гордости фирмы.

Писание на нефальшивом профессиональном уровне становится полностью управляемым тобою процессом. Подконтрольным. Вот чему научается приличный газетчик.

...Потом приедается. Уходит новизна. Нет новых

открытий. Кайф улетучивается, оскоми́на густеет и вязнет. Повторение. Тошнит.

Я вынес девять месяцев. Десять лунных. И дорога родила меня обратно.

— Откуда ты?

— С улицы, — сказал Гаврош.

* * *

И еще одно осталось на память. На всю оставшуюся жизнь.

— Ты вникаешь в тему до тех пор, пока не узнаешь о ней все, — внушали и открывали мы очередному пришедшему. — Если ты пишешь — в объеме своего материала ты должен быть самым компетентным из всех. Они — каждый на своем шестке, а ты — должен знать все смежные узлы и вопросы, ты уясняешь проблему во всех связях! И вот когда ты абсолютно компетентен — тогда ты пишешь! И никто не должен уличить тебя в любой неточности или незнании. Тогда ты журналист.

И еще.

— Ты можешь писать любую бредовую фигню. Доказывать победу трезвости в районном вытрезвителе. Но делать ты это должен так, чтобы никто не мог усомниться ни в одной твоей фразе. Ни в одной детали. Ни в одном приведенном тобой факте. Ты никогда не врешь ни слова! Ты оперируешь только правдой. Ты выбираешь из нее то, что тебе надо, и komponуешь это так, чтоб получить искомый вывод. Штампы и банальности — ну, это неуважение к себе, это плебейский класс: это не здесь. Человек должен прочитатъ и сказать: сука, но ведь это на самом деле так!

И последнее.

Тебя перестает удивлять, что слово — это дело. С которым считаются и за которое платят. Которым можно снять начальника фабрики, лишитъ премии какую-то службу или ткнуть так, чтоб заставить дать человеку квартиру. С тобой считаются, и ты смотришь по сторонам на полголовы выше безгласных.

7. Восемь квадратных метров

И очередная слякотная ленинградская осень сменилась очередной слякотной ленинградской зимой. И дом, где я был прописан, но не жил ни минуты, согласно платной договоренности, расселил под предлогом и по причине капремонта райжилотдел. И я срочно оформил развод (реальный) брака (фиктивного), и за деньги (реальные) получил подпись жены бывшей (фиктивной), что она не возражает против выделения мне отдельной жилплощади при расселении дома. Вот так в брежневском Союзе покупались комнаты. На уровень семьдесят пятого года в Ленинграде — семьсот рублей за среднеобычную комнату в среднеобычной коммуналке.

Я влез в долги и снова стал голодранцем. Зарплата сто сорок.

К Новому году я получил ордер и прописался. И купил туда тахту. И житье в Питере на птичьих правах кончилось. И наслаждаясь счастьем своей крыши над головой, я бросил работу к черту. И вот тогда рублей и копеек не стало вовсе.

В суперцентре, на улице Желябова, между Шахматным клубом и универмагом ДЛТ, во дворе, верхний высокий четвертый этаж без лифта, сразу за входной дверью при начале коридора, у меня было восемь квадратных метров. Высокий потолок, большое окно, вид на крыши и рифленая железная печь в углу.

Облегчение. Предвкушение. Покой. Уверенность.

Мне двадцать семь. И у меня есть — в Ленинграде! — дом; свое жилье; угол; база; площадка; запасной аэродром на все случаи жизни. Только бездомный поймет это счастье. А уж СССР и вовсе не был приспособлен для одиночек, не желающих трудиться десять-пятнадцать лет на непокидаемом советском предприятии, чтобы получить жилплощадь, право на которую надо было еще отвоевать в комиссиях, и встать на очередь, и не вылететь из нее за пьянку или прогул, а вперед тебя будут совать

блатных и нужных, и получишь ты на полпути к пенсии комнату в хрущобе на дикой окраине.

Огромный камень свалился с плеч, и Сизиф плюнул вслед моральному кодексу строителя коммунизма.

Никакие трудности, надобности и промежуточные желания больше не стояли между мной и желанием писать; временем писать; писанием как естественным образом жизни; писанием как потребностью, надеждой и высшей целью.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Главные годы.

1. *Продуктивная сладость безделья*

Всю школу я вставал в тридцать пять минут седьмого, по будильнику, зимними месяцами в темноте, и делал зарядку, перешедшую в жесткую разминку. После беспродыхного напряжения школы — университет был разболтанным занятием в кайф; и учительство заставляло потеть только пока ты пол-урока объяснял материал, часа три-четыре в день-то всего; а в музее вообще не бей лежачего; а в газете ты уже просто сам себе хозяин. Вот на выездах в пампасах, деньги зарабатывая, там пуп рвали — но ведь в охотку и не на всю жизнь.

Мне было двадцать семь с половиной, и я проснулся утром на собственной тахте в собственной комнате — и не сразу вспомнил невыразимое блаженство бытия: я не был обязан делать что бы то ни было.

Белка выскочила из колеса и обомлела от расслабления.

Она добежала!

У меня была прописка, жилье, университетский диплом, приличные записи в трудовой книжке. И я был свободен. Чтобы жить, существовать, думать что хочешь и делать что заблагорассудится — ты не был обязан совершать никаких усилий!

Обломов выпал с пожизненной каторги на диван.

Воспитанный в строгих трудовых представлениях — я просто плыл оглушенный по этому нескончаемому воскресенью. От ничегонеделанья захватывало дух, и дух уподобился прохладной и прозрачной голубой волне, невесомо катящейся сквозь чуждые ему будни.

При расчете в газете я получил стольник зарплаты и премии. Бывалый бомж на стольник мог прожить практически бесконечно и в меру счастливо. В гробу я видал всех, кто ниже меня ростом!

О-о-о! Я просыпался в одиннадцать и читал в постели. Брал прекрасный никелированный алюминиевый чайник, плоский, как танковая башня, купленный мной за четыре пятьдесят, и ставил на кухне чай. Доедал остаток вчерашнего батона и быстро мылся по частям под краном, спуская и задирая купленный еще в студенчестве дивный гэдэеровский махровый халат за двадцать четыре рубля. (Ванная с дровяной колонкой стояла в коридоре на проходе, и при вселении мне веско объяснили, что в ванной они не моются, а ходят в баню. Я тоже любил ходить в баню, но не каждый день. А общежитская жизнь отучает от стеснительности; да и заходили они в полдень на кухню редко.) После чего со вкусом одевался в единственный комплект одежды и выползал в город. Вести рассеянный образ жизни.

Я бродил по набережным и переходил мосты, думая о своем. Совал нос во все закоулки и исследовал мебельные и комиссионные магазины, развлекаясь подбором очень малого количества нужных мне вещей за минимальные гроши.

Музеи не стоили мне ни копейки — я показывал зажатую при увольнении из Казанского корку Министерства культуры РСФСР. А там было тепло и сухо, и пусто в будни, и тихо, и масса интересного, наводившего на размышления. Многие ли бывали в Военно-Медицинском музее одноименной академии? А в железнодорожном?

Я читал в Публичке прижизненные издания Шкловского и Эйхенбаума, и курил потом в Катькином садике

с аспирантствующими однокашниками. Книг было не купить, да и не на что.

И. И. И. Я попал в резонанс Городу. Словно стал — или увидел, ощутил себя? — оформленной фигурой из общего вещества окружающего Бытия, отделенную от окружающего лишь условно, контурами своего объема. Вот как сгребли воздух огромной рукой, покомкали, и вылепили меня — чуть плотнее воздуха и воды, чуть другого цвета, определенных очертаний, но тот же воздух проходит сквозь меня, те же колебания среды создают во мне рябь, та же энергия мира пронизывает меня в числе всего прочего и заряжает.

Не придуриваюсь и не «говорю красиво». Я стал как-то органично един с улицами и домами, скверами и дождем, прохожими и витринами. Вот перестал бороться с волнами и грести в какую-то сторону — а расслабился, отдался на волю волн, поплыл по течению, и стал получать от этого удовольствие, и стал любить волны и чувствовать их единую с собой природу, и увидел их красоту и прозрачность, и вместо преодоления их — тепло, ласка и покой.

Тогда я впервые увидел, что Ленинград красив — и как красив! Без слов, доказательств и знания — зрением и чувством воспринимаешь.

Боже мой! Как прекрасно жить, ни о чем не заботясь и ни в чем не нуждаясь!.. Кров, жратва, одежда. М-да. Здоровье, молодость, уверенность. Какой ужас был бы никогда не испытать этого состояния.

Я заходил по старой памяти на факультет перекурить с однокашниками меж читаемыми ими лекциями. И строил рожи из-за спин экскурсантов нашим мэнээсам в Казанском. И пил кофе в Сайгоне со знакомыми поэтами и гомосексуалистами. И вообще ни о чем не думал. И это было восхитительно.

Мало того, что я всем естеством любил и чуял город и жизнь в нем, прошлое и настоящее, и близки были слезы причастности ко всему, редкое и великое счастье. Мало того, что я дышал с ним в один вдох! Так я еще и отдохнул и расслабился, как никогда в жизни. Меня

словно разобрали до гайки, промыли бензином, спиртом и родниковой водой, смазали, свинтили, поджали, отладили, протерли и заправили полные баки.

Несколько месяцев безделья — и вы свернете горы! Поистине, «человек может все, пока он ничего не делает».

И вот тогда. И вот тогда. Стали ощутимо проявляться в пространстве взаимосвязи всего на свете. Все воедино, все связано, все завязано друг на друга и зависит одно от другого.

2. Навязчивые ощущения и главные вопросы

Это началось в университете. На третьем курсе. Эйфория доступности всего мудрого и прекрасного схлынула. А печаль всей мудрости веков — напротив, все более наседала. На полпути и грани от возбуждения к депрессии.

Был серый и тусклый день начала весны. Я шел по Дворцовой у края Александровского сада. В портфеле было пять кило книг, и время обеда гнало к жратве. И мимо прошел трамвай.

Непросто объяснить возникшую в сознании паутину. Паутина была вуалью на мире. Завеса, ставшая прозрачной. А под ней все было связано. И в этом всё были связаны воедино: звон и металл трамвая, несчастная любовь, литература классиков, вечный призрак войны с Америкой, несколько жалких своей обреченной ограниченностью знакомых хороших студентов, величие Адмиралтейства над серыми метелками ветвей, забайкальские степи и полет бомбардировщиков над океаном, плач родителей по ребенку и аромат в кондитерской, промокшие ноги и бокс, и как зубчатая, ажурная, репейная пирамида — за любую деталь цепляется весь мир, и эти связи расцепить невозможно, потому что все едино и определяет одно другое.

И в этом были неведомые, справедливые и жесткие законы всеобщей взаимозависимости и обусловленности. И некий Высший Закон всеобщего единства.

Много-много лет спустя открылась в связи с этим истинность изначального импульса всех суеверий и примет, амулетов и гаданий, вер и религий. Через одно, открытое тебе, провидеть и постичь другое — связанное с первым тайной, непостижимой связью, но однако неразрывно связанное! Судьба через звезды, военный поход через полет птиц и любовь через выпавшую карту.

И читая впервые Томаса Вулфа — в хаотическом и всеохватном потоке его прозы, несущей весь скарб и мусор жизненных отношений и подробностей — я уловил! то же инстинктивное стремление зафиксировать и постичь и передать, как взаимосвязано и неразрывно все в жизни, от честолюбия до булавок незнакомой женщины.

* * *

И тогда вечные вопросы. Вставшие давно и близко не разрешенные к двадцати семи годам. В наложении на взаимосвязь всего, иногда приоткрывающую свое наличие чуткому соучастнику по Бытию. И осознались глубинной канвой того, что я хочу писать и написать.

Что-то до меня дошло. Еще не до ума. Но уже до нутра, которое шевельнулось и забеспокоилось.

О чем бы ты ни писал — ты проникаешь глубинную сущность Бытия. И выражаешь свое проникание — через разные сюжеты, разными словами и интонациями, в разных формах и размерах. Поскольку и Бытие — разнопланово, разнозвучно и разноцветно. Но только нельзя не быть абсолютно честным и предельно чутким! Тогда выдающий себя за жреца является шарлатаном и самозванцем.

Так почему жизнь несправедлива? И любовь обычно несчастлива? И добро не вознаграждается по заслугам? И порок торжествует, а добродетель терпит поражение? И в чем смысл этого?

И в паутине ощущается разгадка. Высшая справедливость этих горьких закономерностей. И связь их со счастьем жизни и радостями добрых чувств и дел. И некое единственно возможное равновесие главных величин.

И тогда я подумал, что, кажется, можно писать всерьез.

И энергия дела собралась во мне за прошедшие месяцы сама собой.

И некуда торопиться. Писать надо только так, как надо. И результат окупит все. Смысл имеют только шедевры.

3. *Три первых*

Я перебрал тонкие папки с черновиками. Интересно было перечитать заведомо сырые рассказы два с половиной года спустя. Заготовки отлежались. Текст отстранился от мозга, и замечалось не только его несовершенство, но и возможности необходимых изменений. Варианты поправок, улучшений, доводок.

Исходник годился! Путь к совершенству ловился в воображаемом пространстве переделок, как инверсионный след в голубом небе, где растворен далекий невидимый самолет.

Я отобрал три наиболее близких к готовности и доведенных. «Апельсины», «Чужие беды» и «Небо над головой».

Я перечитывал один с утра, набрасывал ход эпизода, варианты фразы, колонку синонимов к слову. И жил весь день своей рассеянной жизнью, не переставая думать и перетасовывать мысленно элементы и части.

Это оправдывало мое полное безделье. «Я довожу до ума три рассказа», — знал я: — «Это занятие надолго. Торопиться нечего. Это должны быть неслыханные шедевры».

На пустой задней площадке последнего автобуса, переезжая Обводный и глядя на дремлющую бабу, сложил я: «Опущенный полумесяц ее рта тлел ему в сознании; увядшие лепестки век трепетали».

Толстая дворничиха тюкала ломиком лед, и ни с того ни с сего я говорил себе с улыбкой спасенного из лабиринта: «Инвалид достал из кошелки стакан и четыре абрикоса». Это была кирзовая хозяйственная сумка со сло-

манной молнией, черно-серая с белесыми от потертости боками, почти пустая и оттого впалая, но если внюхать — из швов нутра еще пахло клеем и искусственной кожей, а стакан был граненый и плоховато мытый, ясное дело, а один абрикос был чуть перезрел и подмят, и еще один светлел чуть недозрелым островком пупырышка остроконечности, противоположной черенку.

Вслушиваясь по звуку и слову, я перечитывал красивый, чистый и неправдивый рассказ Паустовского «Ручьи, где плещется форель», и вдруг мой инвалид, сглатывавшая пробившую после коньяка на жару слюну, извергал нервный и сбивчивый монолог о нелепой сокровенности своей жизни, и я бросался записывать, задыхаясь и торопясь ему в унисон, и три страницы покрывались летящими каракулями в двадцать минут; а потом я две недели переписывал их по слову, разводя до пяти страниц и сократив до одной с четвертью; сглаживая строй интонаций до плавности и снова втыкая спотыкливость косноязычного отчаянья.

И стройный рассказ, сделанный на короткой фразе и рубленом диалоге, перекашивался от этой нагрузки, как поймавший гирию пеликан. И в этой асимметрии разности-левых частей вдруг появлялось незнамо что, придающее жесту силу удара.

На пальцах, по знакам и словам, линейкой и арифметикой выверяя строки, писал я снова письма влюбленного мальчика из «Неба над головой». Мелькнув впервые неуместным обрывком среди дел и мыслей чужой жизни, эти письма должны были к концу рассказа стать главными, и подчинить себе внимание, и сердце, и в них и был главный смысл.

И в каждом рассказе было несколько непримиримых правд и несколько верных и взаимоисключающих ответов.

Я писал их ползими. И почти всю весну. И еще три недели осенью.

И всего-то в них было три страницы, девять и девять. Двадцать одна. Хорошее число, подумал я полжизни спустя.

Интермедия. Об отношении к написанному.

Когда я слышу о «страхе перед чистым листом», я раздражаюсь. Какого хрена?! Боишься — ну так не пиши! Поди в поликлинику за таблетками от невроза. Смени профессию. И не отнимай воздух у других. Что может быть сладостнее чистого листа, когда ты еще всевластен над готовыми родиться и тем пока идеальными словами!..

Есть много расхожих формул — банальных фраз, придуманных плохими журналистами и недоумками от околкультуры. Типа дежурных:

«Художник всегда неудовлетворен результатом своего творчества». Ну — дураков всегда большинство.

Графоман всегда удовлетворен результатом. Подняться над графоманией некоторые полагают искусством, каковым ему надлежит быть.

Нет, мои милые коекакеры и полумудрецы. Сознание несовершенства есть первый шаг к достижению совершенства. Вот второй шаг — долог и труден всерьез. СДЕЛАЙ ИЛИ СДОХНИ! Да, это не для всех. Тот, кто не собирается ради этого слохнуть, в душе не допускает, что кто-то это может. Так раб и шкура не верят в возможность добровольного подвига и самосожжения, полагая в разговорах об этом лишь пропаганду для обывателей.

Но если ты неделями ловил и ждал фразу. Если мог месяц писать страницу, слушая строй слов до верного звучания. Если при перечитывании наутро и через три дня из-под ложечки толкалась восторженная волна под горло: «Да! Вот так вот!!!» Если всей жизнью ты двигался к каждому шагу и знаку своего дела. Так почему тебе быть недовольным?!

Я могу вчистовую надиктовывать тексты под диктофон. И большинство станет думать, что это нормально написано и так и полагается. Но это — не для того, кто попробовал настоящей работы и различил в ней настоящее качество.

Все, написанное по первому разу, легшее сразу на лист, я всегда рассматривал как черновик. Глина. Болванка. Заготовка.

Дай полежать хоть чуть-чуть. Прочти свежим взглядом. Смотри на текст, пока не увидишь сквозь имеющийся вариант — иные, лучшие, не худшие, возможные. Смотри и слушай, какой из них — идеальный.

А трудность идеала в том, что от него требуется быть адекватным. Адекватным — замыслу, задаче, характеру, сюжету, настроению.

Это сродни искусству икебаны. Лучший цветок вообще — не существует. Есть только верный цветок для этого места в этом букете. И тогда говорят о совершенстве.

Писать быстро и легко — не трудно. Трудно — дать в себе вызреть и родиться идеальному и адекватному варианту. Для этого нужны время, покой и кураж.

Мне в голову не приходило считать законченными рассказы, если мне в них хоть что-то не нравилось. Не говоря о том, чтоб их кому-то показывать. Тем более — предлагать к печати.

Я делал их до тех пор, пока не получалось как надо! В нескольких случаях, когда это так и не получилось — они пошли в отходы.

Вот когда поправить уже нечего. Нечего улучшить. Ты изваял своего Давида. Написал свою Мону Лизу. Изрек словами сердца свою Нагорную проповедь. Тогда можно пускать свое слово в мир. Труд завершен.

Работающих иначе я всегда в той или иной степени презирал. Полагая в их отношении элемент халтуры «и так тоже хорошо».

4. В перерывах

Я заканчивал сезон Девятого Мая. Девятого первая рюмка выпивалась под звон кремлевских курантов с парада.

Девятого после полудня я в первый раз выползал на Петропавловку, загорать на пляже. Есть такое климатическое правило, что 9 Мая в Ленинграде всегда была хорошая погода.

Я смотрел на бронзовых и коричневых атлетов, и стройные мускулистые тела профессиональных ухаживателей за своим видом портили настроение. Я выглядел плохо и жил по сравнению с ними неправильно.

Дома я вытаскивал из-под шкафа гантели, эспандер и резиновый бинт и перед большим зеркалом в дверце начинал интенсивно приводить себя в порядок. Можно было бросить жрать на ночь, но если случалось пить, то приходилось и закусывать...

И сваливал я в пампасы. На Север или Юг, или Восток; вот только на Запад я не сваливал. Работа подыскивалась и готовилась с осени или зимы, заранее и задолго, не спеша и с предвкушением. Под нее с весны можно было по маленькой влезать в долги.

Валишь ты лес в тайге, или гонишь скот в горах, или упираешься рогом на стройке железки — голова твоя очищается, дух грубеет и здоровеет, а карман становится толще, ибо любая копейка оттянет кошелек нищего.

Я норовил вернуться в Ленинград к первому октября: рефлекс начала учебного года в университете. Четырешесть месяцев здоровой и правильной жизни — и счастье безделья, свободы и работы за столом освежались и вспыхивали: не то курс глубокой реабилитации, не то с войны целым вернулся.

Независимо от заработанной суммы и срока возвращения деньги неукоснительно кончались 8 Ноября — на второй день попойки. Главное было — успеть раздать долги и, в свою очередь, одолжить друзьям и знакомым разумные суммы. Брала на неделю-месяц, но я не торопился. Эти неистрачиваемые заначки, от трех до двадцати пяти рублей (брат больше у меня совестились) я получал без напоминаний или вытягивал до следующего мая. Март, ноль, и вдруг червонец! Советский вариант банковского вклада голодранца. Иных источников доходов на сезон не предвиделось.

Недельку отгуляв, раскачиваясь и настроившись, я угромождался за стол, закуривал над листом и проникался бесконечным кайфом.

5. Первая заправка

Стало быть, в октябре я довел первые три рассказа. А это что? Это уже подборка! Можно предлагать журналам.

Пишущей машинки у меня не было. Они были дороги, и они были дефицитом. Двести сорок — двести шестьдесят рублей стоила машинка, обычная, портативная, без всякого электричества: их «доставали» по блату, умащивали заранее продавцов и т.п.

Старую машинку «Москва» я одолжил у друга и пользовался немало месяцев.

Печатать вполне быстро, хоть и не вслепую, я научился в газете.

И я старательно перепечатал свои три рассказа — через два интервала, бритвой подчищая опечатки, как предполагается.

И спустился, перейдя в подъезд ДЛТ. И, пока были деньги, купил десять папок для бумаги по 22 коп. и десять «Скоросшивателей» картонных для бумаг по 12 коп. И другой канцелярской утвари, такой уютной и полезной.

Из «Скоросшивателей» я выдрал начинку: пластинчатые алюминиевые усы в картонной вклеенной планке. Получился просто сложенный вдвое лист серого картона в формат машинописного. Я приклеил снаружи белый лист, написал заголовок рассказа и вложил внутрь окончательный чистовой рукописный экземпляр. Его выпустить из дома и давать в чужие руки было нельзя ни в каком случае.

Три «родных» встали на полку над столом. А три печатных легли в папку. На ней я цветными чернилами крупно и четко написал фамилию.

И понес!

Я отнес их в родную «Неву» и отдал своему шефу и покровителю по когдатошной практике Самуилу Ароновичу Лурье. Старшему редактору отдела прозы. Умный, ироничный, доброжелательный и эрудированный Лурье был моим единственным знакомым в литературном мире. И выказывал мне дружбу старшего единомышленника.

— Вот уже много лет я ждал, когда же вы принесете нам прозу, и это наконец произошло! — воскликнул Лурье. — Поздравляю вас! Я не сомневаюсь, что это хорошо. И прочту ну просто вот сразу.

В те времена такое обещание уже много стоило.

Через неделю он сказал:

— Миша. Я прочитал ваши рассказы. Ну что? Я вас поздравляю. Проза, конечно, есть. Да зная вас, в этом невозможно было сомневаться. Публиковать, конечно, еще рано, тут я должен сразу вас огорчить. Но вообще это вас огорчать не должно. Это говорит не только о том, что вы пишете, но и о том — и даже больше о том! — какое дерьмо мы печатаем.

Он развел руками, расцвел виноватой и любящей улыбкой мудреца, заблестел очками и закивал лысиной:

— Пишите, приносите, я не сомневаюсь в вашем таланте, и раньше или позже мы с вами добьемся успеха!..

Это был удар — но ожидаемый, обычный, небольшой и неопасный, полагающийся удар, как первый выпад в драке. Я помнил «Мексиканца» всю жизнь: «Он привык принимать такие удары — за полдоллара разовых или пять долларов в неделю». Глядя вперед — я уже привык в перспективе получать такие удары.

На титульно-лицевом листе скоросшивателя я сделал первую запись: куда когда отдал и когда мне оттуда вернули. Первые три рассказа «обкатались». И я перенес их в «Звезду».

В «Звезде», втором из ленинградских толстых журналов, я раньше не был. Она размещалась на Моховой и выглядела почти так же роскошно, как «Нева»: эти высоченные потолки, огромные комнаты и паркет старой работы.

Редактриса Корнелия зарегистрировала мою папку. Ее доброжелательность была сродни милостыне, поданной дурачку дамой, уважающей себя за доброту.

Черт возьми! Я узнал, что к рукописи вообще полагается прикладывать авторскую справку с краткими сведениями и координатами. (Загадка: еще на практике в «Неве», студентом, я видел и читал такие справки! —

и начисто не думал сейчас, что это и ко мне имеет отношение! Отгадка тупости и провала в памяти — одна: я был слишком перевозбужден главной частью процесса, и мелочи просто выпадали за край сознания.)

Я позвонил через две недели, и зашел через месяц, и Корнелия вернула мне папку без лишних слов. «Это пока еще не достигает уровня публикаций. Всего доброго».

Лоб трех скоросшивателей прочеркнула вторая черная татуировка, и папка переехала в «Аврору». Тут уже была приложена справка, и автор сумел сказать о себе в немногих словах много хорошего.

Через десять дней мне позвонила — сама! — (вернее, позвонила соседке за стенку, которая по самым важным делам звала меня к своему телефону) — старший редактор прозы «Авроры» Елена Невзглядова. И пригласила зайти!

Я полетел на соколиных крыльях — пикируя сбить добычу влет! Лучший из охотников. С третьей зачетной попытки.

Елена (Анатольевна?) была мила, печальна и обаятельна. Она излучала доброжелательность, но примесь безнадежности сводила эту доброжелательность к абсолютно бесполезной. Невозможно вспомнить ни единого слова из ее отказа: это была сплошная элегия по поводу печали бытия. Втайне она уже писала стихи. И потом вышла замуж за Кушнера. И сама публиковалась и издавалась. Так хрен ли ей Арихада?

Я сделал третью запись. И по почте отправил папку в «Юность».

...Я был готов к отказам. Я был готов к десяти отказам. Я был готов хоть к ста отказам! Я не вчера родился. Насчет нового, которое в борьбе со старым. Я читал «Мартина Идена». Не трогали меня их отказы. И слова их были пустые.

...После «Нового мира» папка слалась в «Знамя», «Октябрь», «Дружбу народов» и «Наш современник». За ними настал через петрозаводского «Севера», свердловского «Урала» и ташкентской «Звезды Востока». Иногда

ее не возвращали, и мне приходилось перепечатывать.

По размышлении я опустил общий уровень претензий также до еженедельников. «Литературная газета», «Литературная Россия», «Неделя». «Огонек»! И даже «Знание — сила»! Э, пропадай моя телега — и «Сельская молодежь»!

Презируя себя, последним в список я включил толстый, но маленький, однако московский, полужурнал «Литературная учеба». И заодно такого же формата «Молодую гвардию».

Получается двадцать, и в конце концов я завершил список бомбимых целей минским «Неманом». Двадцать одно!

Больше двух лет продолжались толкания моих первых трех рассказов по этим вожделенным органам. Послужной список передвижений стал двухстраничным: я обклеил и заднюю сторонку скоросшивателя.

Ч-черт. Таких рассказов не было. Нигде не печаталось. И плевать на казенные пожелания и указания. В непохожести, изготовлено тиражом одна штука, был плюс этих рассказов. И в этом же был их минус для публикации. Ничего. Еще примут и оценят.

Они будут это печатать!!!

6. Все рассказы разные!

Писать разно и разное — не было принципом или заданием самому себе. Или экзерсисом. Скорее это был жадный инстинкт жизни, требующий увидеть все страны, познать всех женщин, вкусить всех яств и написать все рассказы. Грустные и смешные, длинные и короткие, легкие и жесткие, простые и изощренные. Окончание рассказа характеризовалось состоянием: «Так! Хорошо! Это сделано. Ну — а какой же рассказ мы будем писать теперь?» Под словом «какой» подразумевалось — не такой, как раньше.

Поясняю. Топливные баки не встраиваются в корпус ракеты — стенки баков являются в то же время стенками

самого корпуса, баки одновременно есть части несущей конструкции корпуса. Или: броневые листы и пластины не навешиваются на корпус или каркас штурмовика Ил-2 — но являются жесткими составными частями самого фюзеляжа: функции защиты, жесткости, смонтирования воедино центроплана с крылом и стабилизатором — совмещены воедино в броневом листе, которому придана нужная форма и он находится в нужном месте, правильно связанный с другими частями.

То есть — ну? Форма и есть содержание. Нет, не полностью, это не одно и то же. Но отчасти эти категории совпадают. И чем сложнее и нестандартнее форма — тем больше доля ее совпадения с сущностью рассказа вообще, тем бóльшую эстетическую, т.е. в данном случае — поэтическую — нагрузку несет форма, и нагрузки смысловая, эмоциональная, информационная даже — немалой своей частью перемещаются в область формальной нагрузки.

Писание разных рассказов было не освоение всего поля новеллистики. Но созданием всего корпуса короткой прозы. Как другой человек — это другие черты, рост, вес, голос, смех, темперамент. А не только другие поступки, складывающиеся в другую биографию. Или местопребывание, из которого вытекает его социальная роль.

Совокупность внешних черт, внутренних качеств и объективных обстоятельств дают человека как уникальный единый ансамбль. Ну так и рассказ тоже! Уникальный! Единый и единственный! Комплекс! Внешних форм и внутренних смыслов! Из чего возникает и решается единственная на каждый раз задача!

Ну — ну? Мужчина предьявляет себя женщине — как развлекатель, защитник, обеспечитель, утешитель, любовник, наставник, отец детей, оцениватель и поклонник. И он же — нуждается в ее ласке, заботе, помощи, утешении, восхищении и незаметном руководстве. И в каждой роли, в проявлении каждой черты — у него разное выражение лица, разная лексика, он по-разному

одевается и настроение у него разное, он напряжен либо расслаблен и т.д.

Но рассказу форма придана раз и навсегда, и для другого настроения, другой мелодии, другого смысла — ты, не в силах изменять один и тот же, пишешь другой рассказ! И человек в нем другой, и город может быть другой, и коллизия другая — ну так и форма неизбежно другая!

Рассказы — это вам не гамбургеры и не ботинки! Рассказ о поедании гамбургера и рассказ о надевании ботинка — два разных рассказа не только по содержанию — но и по слюноотделению, по пыхтению, по позе.

Я нормально хотел есть, пить, любить, гулять, одеваться, курить, ходить в кино, ругаться и смеяться, читать и смотреть картины. Так же естественно было писать разные рассказы.

Я ничего не искал! Ничего не «пробовал»! Я просто пил свою чашу жизни в ее литературной ипостаси. Да: жить и писать было одно! Вот так это называется. Пардон за высокий штиль.

Плач по друзьям за дверью

С восемнадцати лет самым общительным человеком из всех, кого я знал, был я. Я хлебал, блаженствовал и наверстывал за годы изоляции психологической и ограниченности географической. Я падал на любой контакт и пел на любую ноту. За ночь в общежитии мне доводилось сменить до трех умных компаний: обрубленные беседой о вечном камрады валились в койки, а я шел по коридору, прислушиваясь к спорам из-за дверей. Обычным было провести на площадке второго этажа у центральной лестницы весь день: собеседники менялись, сигареты кончались, звонок с лекций обозначивал конец трудового университетского дня. Я знал даже тех, кого вроде и не знал.

А вольные годы сторублевых работ были каруселью жизни. Друзья и бутылки: все виды времяпрепровождений и удовольствий. Однажды мы вчетвером ровно сутки

подряд играли в «Монополию» — два часа на партию. После чего встали в сизом дыму и поехали пить к девушкам.

Но сейчас я работал! Стереотип же оставался: дома? один? здорово, мы к тебе! Отказывать в приеме было — дико, непонятно: не то псих, не то гадина, не то сильно обиделся?

Я сейчас немного занят, мямлил я, отводя глаза. Чем занят-то? Да ладно — через час мы уйдем, и доделаешь все. Если человек не ходит на работу, и женщины сейчас здесь нет (это всегда уважительная причина), и что когда делать он сам себе определяет — так чего не побалдеть? А потом продолжишь. Много пить не обязательно. Да мы вообще зашли на чай, вот ватрушка.

Вы же не предложите хирургу прервать на час операцию, а потом закончить!!! Ну-у, ты не то гонишь. Они не понимали, что работу в накате прерывать нельзя!.. Я стал нелюдим.

7. «Все уладится» доводка

После селедки конфета, после работы табакокурение. Хотелось веселого и легкого, но при этом с неотразимым ударным концом. И я вытащил из лелеемой стопы старых заготовок «Все уладится». Было необыкновенно приятно перебирать рукописи, прислушиваясь, какая попросится в работу охотней и сильней.

Первая фраза — это: о. Первый камушек в огород должен попасть в камертон. У классика — как? — «Рычаг должен лежать в руке и обогреться. Повернуть его надо один раз, а не два». Уж я его грел, гладил и лелея шупал. Легкость, простота, житейский юмор с черной ниткой — хлоп: материализовался и выпал из пространства короткий строй слов:

«Понедельник — день тяжелый, уж это точно. Но вторник выдался и того почище: Чижикова выперли с работы».

Вот так. Дальше.

А дальше я передирал с заготовки в доведенный этот рассказ с лайнерской для меня скоростью: от полутора до двух с половиной страниц в день! Дело шло так:

Передо мной стояла машинка, серая поношенная «Москва» моего приятеля. Слева от машинки лежал лист рукописи — черными чернилами, четко и ровно. А справа — конторская книга. Я смаковал очередную фразу. В редчайших случаях она годилась. Это были самородки, вот сразу в кайф слово отпочковалось. Но и тогда я крутил и пробовал — так и эдак — а лучше, точнее, выразительнее можно? Ручкой на очередной странице конторской книги я писал варианты и сравнивал на вид.

Первый вариант фразы почти всегда обычно (банально) составлен из банальных слов. В лучшем случае он обычен: чист. В худшем — никуда не годится: неточен, немелодичен, не бьет и не блестит.

Первому слову сразу доверять нельзя. Оно болеет детской болезнью трафарета. Фрукт — яблоко, лайнер — серебристый, награда — заслуженная, поток — бурный.

Словарный запас человека имеет шкалу частотности. Хлеб, картошка и мясо лексической кухни. И когда ты хочешь что-то выразить — сознание подает тебе слова, что ближе под рукой. По принципу универсальности применения, привычной частоты употребления и уверенности в их подходящести. Быстро, легко и как принято вокруг! По этому принципу обычный мозг выбирает и составляет слова.

Иногда — в точку! В масть. Крик души. Нота единственной струны. Прямое попадание. Просто — да истинно.

И ты открываешь трюмы с полками и залежами слов. И пробуешь, какое точней войдет в обойму.

Даже драгоценные камни ты не швыряешь россыпью, но подбираешь ансамбль.

Фраза должна выглядеть органичным сплавом, но на деле он дозированно составлен из разных металлов, порой с редкими и в малых количествах добавками, придающими прочность и блеск.

...Словарь синонимов помогал только по принципу от противного: его варианты могли натолкнуть на цепь замен, ведущую к верному результату. Полторы сотни вариантов одного слова, в два десятка столбиков-гнезд заполнявшие двухстраничный разворот, были у меня делом обычным. Хотя чаще работа происходила прямо в голове.

Слово должно чеканить и цеплять, но читатель не должен понимать, отчего у него возникло то или иное ощущение. Утоляя чистым и вкусным напитком жажду, не должен различать вкус яда и эликсира в его составе.

На полстраницы уходил час-полтора.

И вдруг после очередной адекватной фразы ты видишь неистинность, не идеальную правдоподобность, не максимальную выразительность всего следующего абзаца. Опаньки! Ну?! Ты удивленно и изготавливаясь закуриваешь — и начинаешь пролистывать в театре внутри себя, какой же ход эпизода и поворот действия совпадет с мозаикой всего рассказа. Вход в этот театр закрыт на дверцу с замком, и надо запомнить, где хранится золотой ключик.

Я заменил всю концовку. Три страницы одного на полторы немного другого. Заменял героев, обстановку, логику действия.

Бедный беспомощный интеллигент оказался вкинут из нашего тягучего быта в огонь и железо Гражданской войны. Так это — другой воздух, другая цена жизни, и слова тоже другие!

Концовка не шла.

Среди ночи я поднялся, налил холодного чаю, сел за стол, закурил, послушал перетасовавшиеся и вставшие на прочные места знаки и звуки, и с внутренним подрагиванием записал... Я никогда не вспомню, что я записал, потому что через пару часов шлифовки и переборки предложение стало следующим, и задало тон, и им начинались последние пятнадцать строк большого двадцатистраничного рассказа, а вернее — даже мини-романа, а не краткой повести:

«Прочеркивая и колотя глинозем, оцепеняя сознание всепроникающим визгом, завораживая режущим посверком клинков на отлете, рвала короткое пространство конница».

8. *Не думаю о ней*

Следующий рассказ был выбран — чтоб строить текст исключительно на чистой обрубленной фразе в спокойном темпе и напряженной интонации. Чтоб в нем ничего не происходило вообще. А все главное оставалось за кадром, но было передано через внешнюю деталь. Не названо.

Человек просто бродит по городку и собирается уехать. Все. Он пьет кофе, гуляет, покупает билет и видит и слышит людей вокруг. Все. Из этого должна явствовать несложившаяся любовь, и одиночество, и неустроенность, и общая неналаженность и неопределенность его жизни.

Десять дней я отработывал четыре страницы. Из десяти страниц черновика я выкинул все, что указывало на реалии и конкретности жизни героя. Он стал чужим странником в постороннем мире. Проход экскурсанта по крошечному уголку планеты людей.

Слова из несложившихся фраз вертелись в голове, как мошкара у лампы. Это было удобно. Куда бы ты ни шел — отработываешь сочетание и абзац.

Я шел ночью по набережной канала Грибоедова и, докурив папиросу, щелчком среднего пальца от большого послал ее над водой. Багряный светлячок прокувыркался и исчез внизу. И ощущение точного нерва рассказа началось с заключительной фразы, тут же возникшей как эпифания окурку:

«Он расчеркнулся окурком в темноте».

Не говорилось, что он курил, не обозначалась поза, не назывался номер этажа: ни вдоха и ни слова.

9. Бермудские острова

Старый приятель, сосед по комнате в общежитии, работал торгпредовским переводчиком в Бразилии. Мифическая Бразилия была для окопавшихся там спецов «Бразилеевкой». Через год-другой экзотика тускнела, режим советской колонии был строг и закрыт, дефицит общения нарастал. В отпуске в Ленинграде мой португалист ходил по университетским друзьям с теплой душой и заграничными презентами.

Ему хотелось рассказывать и хвастаться, но тактичность мешала. Негуманно беречь самолюбие невыезженных. Мой подробный и агрессивный интерес к Рио-де-Жанейро и его жизни выпал ему редким подарком. Он расцвел и раскупорил не мне дотоле предназначенную заграничную бутылку. При следующей встрече он втащил восьмимиллиметровый проектор и коробку киноплёнок: катушек пятнадцать.

Сказочный Рио был в прагматичных складках простыни, повешенной на дверь. Друг вещал, токовал и прельщал. Его ответами и комментариями я заполнил листов тридцать в два сеанса.

Он просидел там четыре года, университетский португальский превратился в живой бразильский всем нужного пройдохи-переводчика, и я узнал достаточно, чтоб написать путеводитель по официальным, культурным и значимым местам Рио. Я видел карнавалы, причем со всех ракурсов и закулис, концерт и банкет Доривала Каими и раздающего автографы Жоржи Амаду; полицейские надувались, дети кланчили, купальники были уж совсем условными, а фавелы пестрели ярко и бутафорски.

...Вот после одной такой аудиоконсультации и двух видеоконсультаций, часов по пять под бутылку каждая, я вытащил и стиснул из тридцати страниц сокращенного конспекта — одну страницу черновика.

И теперь я в два дня превратил эту страницу в восемнадцать строк. После трехлетнего отлеживания текста это не так трудно. И эти восемнадцать строк — рваными абза-

цами — легли бразильской частью заключительного триптиха в давно выношенный рассказ «Бермудские острова».

В нем пять страниц. И я писал их три недели. Несколько дней ушли на тост учительницы — чистый романтический концентрат на перемонтированной грамматике. Еще по паре дней — на три, стало быть полустраницы о настоящем дне трех героев, разбросанных жизнью. Один день — на якобы газетный абзац: краткий, содержательный, и чтобы точно в унисон и смысловую нишу всего предшествующего коллажа. Один день — на четыре короткие строки, замыкающие первый раздел.

Ну, и полторы недели — на страницу «плетенки»: несколько разбросанных по белому пространству группок слов-наборов, ассоциативными кустами дающими все главные и приметные аспекты человеческой молодости в ее течении — и старении... Я долго искал и шупал, и слушал: как передать повесть горстью ключевых слов!..

.....

Дописав предыдущую фразу, сейчас, тридцать лет спустя, я раскрыл свежее очередное переиздание сборника «Хочу быть дворником» и перечитал рассказ «Бермудские острова». Я читал его медленно; я смотрел, как он сделан; и как он доведен, отжат и компактен. Да — импрессионистский роман стилем молодежной прозы, и перерождение романтического посыла в быт, и ирреальная, не в европейской традиции, ведущая нота, не названная словами. И приемы, которых не было. Пять страниц: четыре жизни и жизнь вообще.

«Не было больше ни у кого таких рассказов!» — сказал я себе. И близко ни у кого. Не было и нет.

Интермедия об обстановке слоновой башни

Я любил свой восьмиметровый пенал с первого взгляда. И обставлял, как скупец и эстет.

Тахта раскладная полутораспальная «Юность» была куплена в мебельной комиссионке на Марата за 30 (тридцать) рублей. Когда мы с другом втащили ее на четвертый этаж без лифта (грузчики стоят денег!), у нее отвалился ножкоподлокотник с одной стороны. Край у нее отвалился. Этот бок был вдвинут в угол и покоился на стопке нажитых военных мемуаров, верхним из которых был «Солдатский долг» Рокоссовского. Что бы я ни делал на этом кровать-диване, опорой мне были военные подвиги в воспоминаниях полководцев.

Желаемый письменный стол я отловил в комиссионке на Римского-Корсакова. Если от дивана требовалось быть не больше 190×90, а с поднятой вертикальной спинкой-полуместом и отломанным с ножками подлокотником он был еще компактнее, то к столу требований было много. Он был небольшой — 110×65. Меньших не делалось. А такого хватало. Он был однотумбовый, причем тумба обязательно справа: левая сторона вставала в угол к окну, под левую руку места на столе много не надо, а надо наоборот, справа под локтем простор, сидеть левее центра. И верхний большой плоский ящик кроме тумбы. И не выше нормальных 75 см, чтоб не соваться носом по листу. Плюс хоть пристойный вид и ограничение по цене. Шедевр встал мне в 12 рублей! Окантованная столешница была затянута коричневым тертым дерматином, но я все равно покрывал ее зеленой настольной бумагой.

Прекрасная металлическая черная с белой клавишей настольная лампа была принесена одной из знакомых (рублей за шесть!).

Другая знакомая подарила исключительно искомого вида небольшой и легкий изящный стул: чешский, с горизонтальным полукругом спинки под уровень локтей, поддерживающей поясницу, с чуть вдавленным жестким сиденьем: идеально удобный для работы.

...О мебельные комиссионки старого Ленинграда! — ну как удержаться от ностальгического трафарета? Плохо освещенные, огромные, впритык захламленные рядами

разнообразнейшей утвари, в запахе ветхого дерева с пылью древооточца, и столярного клея (подновляли), и старой кожи, и морилки, и растресканного мореного дуба; и палево пестрела карельская береза «павлиний глаз», и вишневым лаком сияли по краям югославские «стенки», сиротливый аристократизм венской качалки, гадость засаленных диванов, толпа стульев как гибрид оленьего стада с ежами, малогабаритный город из шкафов всех эпох, секретеры от прессованного новобреда до провороненного товароведом староанглийского шедевра. И барствующее холопство развращенных заискиваниями и взятками продавцов этого дефицита, откуда все лучшее выковыривалось еще до выставления в зале. И старушки, караулящие в очередь появление дешевенькой, но приличной лежанки и малобитого кухонного столика.

Шкаф я привез с Кондратьевского. Двустворчатый фанерный шедевр «Гей, славяне» был снабжен зеркалом в рост большой створки: да одно такое зеркало стоило тридцатник, а я купил за двадцать весь шкаф! В нем свободно болтались все мои пожитки, от пальто до двух хороших рубашек, а в малой половине на полочках кучка сборной посуды, а в огромный нижний ящик я убирал постель. Под шкаф я задвигал гантели и гимнастический коврик.

В качестве книжных полок я долго размещал над столом и вбок по стене полки хозяйственные решетчатые, из толстой эмалированной проволоки, остановившись в выборе на темно-синем неброском цвете. 65 см на 15, они были уже лишь некоторых больших книг, слегка прогибаясь под весом: но смотрелись хорошо, в три поднятых асимметрично от уровня груди лесенки.

Над диваном я приколотил гвоздями к стене оленью шкуру, привезенную дедом еще с финской, и мошь питалась ею украдкой с тех самых пор. А у двери прикнутил ветхую карту Союза, с которой шлялся уже много лет: чернильные пунктиры всех моих маршрутов от левого края до правого и от верха до низа. Красивая была карта, и много лет не разваливалась на сгибах.

Так. Абажур на лампу — шесть руб. Столик туристский складной — десять. Он подгибал алюминиевые ноги и входил в щель за шкаф: толщиной с плинтус. Это был стол обеденный, банкетный, приемный, чайный, курительный, выпивальный. Дачно-алюминиевый складной шезлонг мне подарили, и в сложенном виде — за отсутствием гостей — это удобное кресло тоже засовывалось в щель за шкаф.

Еще была гитара на гвоздике и просвечивающий от стирок старый плед вместо штор на окне.

Аллес капут. Все.

Я мог передать это одним абзацем. В стиле.

Подержанный диванчик, фанерный шкаф, у окна старый письменный стол из комиссионки, оленья шкура и сотня книг на стенах. Блик настольной лампы на коричневой краске пола, и стакан в серебряном почерневшем подстаканнике вдруг начинает звенеть в резонанс звякнувшей струне на битой гитаре.

И ключевые знаки картины дополняются воображением каждого до детальной полнообъемности. Это — профессионализм и языковой слух.

Интермедия. Тений рубля

Я сам давно забыл понимать, на какие деньги жил. Строго говоря. Ну:

Половина круглого хлеба из желтовато-сероватой кукурузно-ржаной муки стоила 8 копеек. По весу она равнялась целому батону, но свежая вкусности была необыкновенной, аромат пекарни и корочка; этот хлеб черствел быстро, но у меня ему это не грозило.

Чай грузинский 1 сорта стоил 38 копеек за 50-граммовый цыбик (забытое слово, да?). Сорт высший по 48 коп. я брал редко: во-первых, его обычно не было, во-вторых, денег обычно тоже не было. Про индийский со слонами — 52 коп. — я вообще не говорю: роскошь и ценный дефицит той эпохи. Этой пачки мне хватало

дня на три. Если денег было совсем в обрез — брал 2 сорт за 30 копеек. Итого на 10—15 копеек в день чаю.

Килограммовая пачка сахара стоила 95 или 98 копеек. Но был и песок, расфасованный по полкило: 47—49 копеек. Я всегда покупал полкило, и практика показала, что мне хватает его на пять дней. А если копеек мало, я покупал сто грамм развесного песка, по 90 коп. кило, сорта первого, а не высшего, и россыпь чуть дешевле выходила. Бывал еще по 92 коп. кило, но сто грамм мне всегда оценивали в 9 копеек ровно. На день как раз!

Пачка «Беломора» стоила 22 копейки. Пачки в день у меня чаще не выходило. Но под Думой на Невском в голубом фанерном киоске «Табак» работал старичок, торговавший беломором штучно тоже: по копейке. Он выгадывал три копейки на пачке такой розницей. А я мог купить на день 15 или хоть десять папирос. Дешевый «Север» (14 коп.) или всеобщие сигареты «Аврора» (те же 14 коп., ленинградский вариант «Примы») были ниже уровня правильной жизни, как я ее понимал. Табак должен быть приличный. Правильный.

Вот как-то с глубокой юности сложилось у меня представление, что мужчина должен хорошо чувствовать себя везде, где есть хлеб, табак, чай и сахар. Таким образом, я мог отлично и безбедно прожить день на $8 + 10 + 9 + 10 = 37$ копеек. Это даже не жестко — это просто достаточный минимализм.

Если лучше — были еще супы сухие в пакетиках, 3 условные дозы пакет размером с горчичник. Суп вермишелевый с мясом стоил 19 копеек, без мяса — 12. Мясо было представлено десятком катышков размером с черный перец, и беря без мяса я ничего не проигрывал. А чего-то горячего раз в день ленинградская зима требует. Пакетик давал две тарелки хлеба, что при помощи четверти хлеба более чем насыщало.

И тогда: хлеб, чай, сахар, табак, суп = $8 + 13 + 20 + 12 = 53$ копейки суточных. Округляя — на полтинник в день сытная жизнь с горячей пищей и беломором.

Какой помпезный идиот посмеет сказать, что это голод и лишения? После летних пампасов я всегда набирал за зиму несколько килограммов.

...

В поисках рубля-трехи я обзванивал знакомых из автомата, за отсутствием общего телефона в квартире. Братъ за сезон больше одного раза было неловко: разовый случай переходил в попрошайничество. Я никогда не записывал эти мелкие долги, всегда запоминал и не всегда отдавал — осенью, с заработков. Пьешь вместе, долю в складчине никто не считает, ну? — «Я тут тебе треху с марта должен». — «Слушай, отвали, ты еще детство вспомни».

...

Если рубль не вытанцовывался, я ходил иногда «на паперть» — в родной профессионально и близкий (триста метров) географически Казанский собор. Ну, гуляя по Невскому зашел: ну, шутливо и свойски стрелял у пары-тройки недавних коллег, сторублевых мэнээсов, по гривеннику-другому. Если чай и сахар еще оставались, то двадцать копеек на хлеб и табак давали спокойно жить день.

Осенью с заработков я заходил раз-другой с парой пузырей и выставлялся. Ощущение должника сменялось ощущением угощателя-платежника. Баланс медленно менялся к весне, как крен коромысла.

...

Когда не приходило ничего, можно было сшибать по маленькой на главном ходу. То есть можно было стрелять мелочь на улице, но это было нельзя. Я не вписывался в амплуа. Вы с ума сошли. Большую часть сезона я ходил в волосатом реглане с поднятым воротником, сером и в меру потертom, и серой же надвинутой на брови шляпе, выломленной скорее под стетсон, нежели под борсалино. Всю жизнь мне нравились шляпы и поднятые воротники. Носить их надо как английский шпион, залегендированный под аристократа. И если это вошло в рефлекс — клянченье мелочи у входа в винный не

встретит адекватного понимания. Я прибежал к этому редко, как-то вдруг непосредственность обращения покидала меня, и человек сразу чувствовал, что проситель далеко не уверен в своем праве просить. Если мне с начала отказывали два раза подряд — я на неделю терял способность к занятию, зажимался...

Так что — у автомата «две копейки позвонить» — это святое. И вовсе изредка — пятачок у метро. Его подавать тоже не разбегались. Не внушал я сочувствия и жалости! А система Станиславского в данном контексте мне претила.

...

Вот чего я никогда не делал — не собирал в скверах и арках пустые бутылки. Хотя они стоили пол-литровая 12, а ноль семь — 17 копеек. Майонезная баночка 3, а пол-литровая 10 копеек. Это уже было равносильно рытью по помойкам. Их ведь, если грязная, после чужих ртов и лап еще помыть надо перед сдачей! Замызганные полустарушки в пальтишках забытых мод делили территорию обитания на участки и высматривали стеклотару в урнах и под скамейками.

Вот если у соседей скапливалось в кладовке при кухне много бутылок, я в голодный момент мог ночью спереть даже не одну, а две — если был уверен, что точный счет не вели. Я в лучшие времена собственные бутылки считал только перед сдачей — как все нормальные люди. Пара бутылок могла решить проблему завтрашнего дня.

...

А в гости-то! А в гости!

Вечером! К своим людям! Везде ведь вечером ужинали! И сажали за стол нормальным человеческим порядком, естественно! И, откровенно говоря, осведомленные о моем образе жизни, подкладывали досыта. После такого ужина хотелось есть только во второй половине следующего дня! А первую половину — работать на чае и папиросах.

Хлеб с маслом без лимита, картошка жареная просто и картошка жареная с котлетой, котлета с рожками

и котлета с макаронами, макароны по-флотски и макароны просто, а мог еще и суп обеденный, вплоть до густого грибного со сметаной! Хрен забудешь. А мог и торт к чаю. А могла и косорыловка, огненная вода, водчонка «Московская» два восемьдесят семь или «Столичная» три ноль семь.

Вот пил я только если назавтра выходной, а выходные я себе устраивал раз дней в десять. По мере ощущения головы усталой. Рюмка водки не давала назавтра работать в полную силу. Трезв и ясен абсолютно же, и все нормально соображаешь и делаешь — а нет чувства точного попадания в слово.

...

Но часто на ужины не ходишь, с пустыми-то руками и не зовя к себе ответно. И вообще деньги идут к деньгам, и чем их меньше — тем сильнее все обстоятельства сопротивляются, чтоб к тебе хоть какая мелочь притекла. Отсутствует друг, болеет семья других, обматерили на тротуаре и нищ Казанский. И тут незаметно срабатывал некий переключатель, и проблема двадцати копеек выглядела неразрешимой. Ты тупеешь, напрягаешься, исчезает вера в успех двадцатикопеечной акции: неуклюжая обреченность. Вдруг делаешься неприспособленным к материально-денежной стороне жизни вообще, в ноль! слабым, неуверенным, не видящим выхода.

Однажды я шел пешком с Желябова в Купчино. У меня нет пятака на метро. И стрелнуть его в метро не мог. И контролершу не мог попросить пройти за без денег: ну, потерял кошелек, или украли, или просто бывает. Вот иногда мог — а иногда не мог. Язык не поворачивался. И пролезть незаметно тоже не мог. Потерял нерв.

Вот в таком состоянии я несколько раз падал: среди ночи шел как бы в туалет — он был в конце коридора — и напротив соседской двери с постыдным чувством запустил руку в карман чужого пальто. За той дверью жила простая нормальная нестарая чета: она работала в колбасном цехе мясокомбината, а он таксистом. Сытые люди из нижнего верха на перегибе от рабочего класса

к сфере обслуживания. Честно говоря, меня никак не заботило, что там — колбаса копченая через проходную, чаевые и ночная торговля водкой из такси. Это были просто два чужих пальто на вешалке в коридоре, и небрежно несчитанная мелочь вне кошелька на дне карманов. Я без дыхания отделял серебра и меди на пятнадцать-тридцать копеек.

Других пальто с деньгами в коридоре не было.

...

Если ты разжился трехой — не надо идти в столовую и проехать рубль на первое, второе да еще компот! А если отдали взятую осенью десятку — тем более не надо покупать пару пузырей, чтоб с ними пристойно ехать позже в гости, или даже поить своих гостей!

Надо сделать запасы папирос, чая, сахара и супа в пакетиках! И пока у тебя это есть — ты обеспечен. Потому что восемь копеек на хлеб всегда можно найти, взять, настрелять, — а больше тебе ничего не надо.

Но как хорошо купить полкило соевых батончиков за девяносто копеек! И угостить зашедшего вечером друга парой стаканов портвейна за рубль восемьдесят семь. И съесть в домашней кухне солянку и гуляш за рубль, и качественно сытым медленно брести домой, зная, что сейчас заваришь чай, и возьмешь книгу, и через полчаса войдешь в состояние и в ранние ленинградские сумерки усядешься за стол работать.

...

Зима, прохладно, я полдня ходил по улицам, крутя и фильтруя в голове рассказ. Иногда заходил в магазины погреться. Промерз, есть хочется, домой надо.

А есть дома нечего. А денег — шесть копеек. Это — четверть хлеба и две папиросы. Чай можно проварить спитой.

А перед домом — Невский, у моего угла, двести метров дойти — кафе «Минутка». И оттуда пахнет кофе и пирожками. А шесть копеек — это чашка бульона, согреться. И еще походить по улицам можно! А четыре копейки — две двушки — я настреляю у автомата: на хлеб.

И я беру в свою очередь у стойки этот бульон — маленький фаянсовый чашкостаканчик с огненной желтовато-зеленоватой водицей, пахнувшей мясом и перцем. Обжигаясь через перчатку, несу к столику и осторожно прихлебываю. Слабый костный отвар, кипяток с перцем. Дешевле ничего нет. Кофе — десять копеек. Правда, чай — три, но стрелять одну двушку или две — без разницы: гуляю! Чай я дома пью, вторую неделю на сухих баках, надо же хоть каплю хорошей жизни.

Я даже не обратил внимания, что за люди стояли за моим столиком, круглая крышка на ножке, но они доели и отошли. В стоячке народ не задерживается. Они ушли — а на одной из тарелок остался пирожок с мясом.

Это был нетронутый, ненадкусенный, небольшой и красивый, поблескивающий такой, с заостренно-овальными концами, с плотным пузиком посередине, желтый и коричневатый сверху, явно теплый и вкусный пирожок. В «Минутке» пекли вкусные пирожки.

Я смотрел на пирожок. Со стороны — как бы он мой, и я его ем, ну. И что. И почему нет. А что такого. При чем здесь предрассудки. Какая разница, кто за него платил.

И я инстинктивно знал, что если я его съем — я переступлю черту. Вот некую черту, за которой будет что-то неправильное. Презираемое мной же. Опущусь, короче.

И уборщица все не шла со столов собирать, зараза!

Я так и допил бульон, глядя на пирожок. И презирая себя за ерунду и задвиг. Какого черта?

Я его не съел. Я его запомнил.

...

И вот когда совсем уж всё, я пробирался ночью на кухню. Соседи привыкли, что иногда я сижу со светом до утра, и хожу на кухню греть чайник. И отрезал там по тонкому краешку от их хлеба, соблюдая форму отреза. И отсыпал по шепоти их сахара. И кидал в чайник чайники из их пачек. И нес в свою нору: обрезки хлеба в карманах, сахар в спичечном коробке.

У нас были нормальные отношения, но как-то потом

хлеб на кухне хранить перестали. Коммуналка. Едят по комнатам.

Тогда я отсыпал несколько столовых ложек соседской муки из пакета в шкафчике, и добавлял пол чайной ложки соды из их пачки, и горсть соли из их банки, и доливал водой из крана. И месил пресное тесто на своей клеенке своего стола у раковины.

И лил на свою сковороду их подсолнечное масло, и пек ковбойскую лепешку, какие мы пекли в скотоперогоне на листе найденной жести, положенной на уголья.

Оставлял форточку открытой, стирал остатки муки со стола, прятал в шкафчик сковороду и нес лепешку к себе. Когда в четыре утра подымаешь с голоду, а она горячая — это яство богов...

...

Собирать окурки надо сухой ночью на автобусных остановках. Там бывают еле прикуренные сигареты и папиросы, которые выбрасывают при подходе транспорта. Оба конца, с губ и огонька, подстригаются ножницами и слегка опаливаются над спичкой. Можно курить. Бычок — не обедок.

...

А кутеж на рубль — это: сто граммов свежесмолотого кофе в Елисее — 45 коп, сто граммов сахара — 9 коп, пачка сигарет хороших — болгарских с фильтром типа «Стюардессы» — 35 коп, лимон — 10 коп, и копейку коробок спичек. Хау!

Если же у вас два рубля на двоих — ха! Малёк — 0,25 «Московской» 1.49 или «Столичной» 1.59. Плавленый сырок «Дружба» — 11 коп, сто граммов «Докторской» — 22 коп, полчерного — 7 коп. Будем!

Интермедия о бессоннице

Всю жизнь я спал, как бревно. Меня можно было переносить и ронять. Пока не начал работать. В главном смысле. Писать.

Это раньше я с недоумением читал, как кто-то мучительно хотел спать, и не менее мучительно не мог заснуть. Это как? Есть возможность и есть желание — так хрен ли тебе не спится, золотая рота?

Первой рабочей зимой, пристрелочной-разгонной, три года назад, я таки нюхнул, каково это — отползание сна, как отползает от руки привязанный за ниточку кошелек. Лег, закрыл глаза, час полежал, почитал, два полежал, покурил, три полежал, попил чаю, четыре полежал — розовое утро, снег, булочная, мороз и солнце день чудесный, бух — вырубился. Ну так это была фигня. Мне даже нравилось утром по морозцу бежать за батоном, а с подъемом бодрящего солнца — уплывать в серые колеблющиеся узоры.

Началось с того, что, усевшись первого октября за стол, я был движим крепким, трудовым, пробойным планом. Жизнь — это труд и наслаждение в одном флаконе. Работать!! Двенадцать часов в день. С десяти утра до двух дня, с четырех до восьми и с десяти до двух ночи. Восстановление — два часа перерыв на еду и прогулку. Сон — восемь часов. Выходной — по воскресеньям. В этом не было насилия над собой — но лишь жадная жажда писать, завершать, пробиваться. Я люблю работать, мой дом существует для этого, и моя жизнь построена на это.

Я проработал двенадцать часов, и нажил бессонницу на двенадцать дней.

Я не хотел ездить за город на лыжах, или бродить день по улицам и музеям, или пить: я хотел работать, не теряя дня! Веришь ли, братан, вся камера рыдала...

...Час ночи, и ты приходишь домой, читаешь в постели перед сном, уже полуавтоматически отмечая, как пригоняет слова мастер, и выражает мысль на беглый взгляд обычным порядком, а на профессиональный — аж языком цокаешь от точности мазка, картина верная — а при рассмотрении вплотную мазки-то условны, неестественны, грубы! Как для восприятия картины нужна дистанция — восприятие текста рассчитано на определенную

скорость чтения! И эта скорость не дает читателю миг углубиться в первоначальные, отдельные выражения и слова! а воспринимает он их только в контексте фразы, периода, абзаца. «Всадник плыл над полем». Просто, да? Обыденно, да? А вот попробуй напиши так в первый раз, отойдя от точного, словарного значения слов!

Сна никакого, встаешь, чай, лампа, закуливаешь, — наслаждение работой несказанно. Ночь, стол, бумага, папироса, чай, тишина, покой. И время впереди не мерено. Мозги разогреты, раскручены, и варианты фраз черкаешь и тасуешь по словам и сочетаниям. И вдруг — но это медленный, наблюдаемый «вдруг» — как вылезает из воды глассер, вставая на редан и летя по синему впереди буруна — прорезается из безбрежности слов точная точеная фраза, и звенит в кайф, и незаметно даже, что она выше уровня словаря и грамматики. «Знание и победы утратили абсолют, — томление списанных ошибок овладело им; анализ был выверен; он смотрел на генерала с надеждой и беспокойством». Примерно вот так, цедил я себе. «Она ищет формулу прощания». «Тени отмечают время».

Фигу после этого уснешь.

Перемежается и рвется клочковатое забытьё. Обманно будит внутри сна горячий внутренний гул во всем теле. Необходимо прекратить его! и ты пытаешься орать сдавленным жалким голосом, и кряхтишь и стонешь от отчаянного усилия проснуться! О господи... ф-фух... сядишься и закуливаешь.

Одурь вяжет сознание к одиннадцати утра, оседаешь мешком в койку, боясь расплескать наплывающий, как вода в подполе, сон. Отруб.

И просыпаешься до сумерек с ясной головой, охотой жрать и полным забыванием клятвы разуму: не писать перед сном, которого тогда не будет. По н-новой!

Рабочий график ползает по суткам, как часовой цикл с иной планеты. Ты садишься в идеальные для себя четыре часа: из серенького в синеватый тихнет и тухнет день: время умиротворенного перехода в миражи. И так разгоняешь голову до полдевятого, что заснешь не раньше

полтретьего. Через пяток дней — в три. Четыре. Просыпаешься после пяти часов сна, и ощущаешь необходимость поспать еще час, да не уснуть. Уснул в пять, встал в шесть, за стол в семь. В конце концов садишься в полночь и кончаешь работу в четыре утра. Тогда приходится сделать день-два перерыва: думаешь, вертишь, ходишь, но не пишешь. Чтоб сесть в десять утра, выспавшись через водку и амитриптилин, — и поползти: одиннадцать, час, через две недели опять в четыре.

К концу работы начинает ныть левый бок. Ясно ощущаешь, где у тебя сердце. После амитриптилина при засыпании выкручивает суставы. И вдруг судорожно вскакиваешь с заклиненным от удушья горлом. Смертный вздох не проходит сквозь спазм, ужас выбивает ледяной пот. Зарезанно ахаешь, звук бритвой прорезается сквозь слипнутую закостеневшую гортань. Скатываешься на пол, встаешь на четвереньки, надо опомниться, успокоиться, собрать волю: перестать пытаться вдохнуть, я могу не дышать полторы минуты, расслабиться, подождать немного, потом осторожно начать делать выдох, и вот когда воздух пойдет из легких наружу — перейти на медленный, осторожный, недолгий и неглубокий вдох. И тут же медленный выдох. Очень поверхностное короткое дыхание постепенно переводится в нормальное. Все. Отпустило. Свет, холодный чай, закурить.

Хэ. Идут недели. Приступы не так уж часто. И — о-па: толчок удушья выбивает тебя из сна в смертную тоску, и в этой смертной тоске ты отдаешь концы: сердце перестает работать. Все медленней и слабей. Трогаешь и считаешь нитевидный пульс: сорок!.. тридцать восемь!.. тридцать шесть... И ночь означает смерть.

Свет! Курить! Чаю — горячего! И ведь никогда не держалось ни капли выпивки! Досидеть до рассвета — значит прожить еще сутки. Только дожить до рассвета!

Уфффффф... Светло. Можно лечь и заснуть. Пульс участился до пятидесяти двух. Порядок.

Неделя, две, — оооооо... Выплываешь из сна от тошной и томительной дрожи в сердце, кислой вибрации

за грудиной. Сердце трепещет и меркнет, волны полых шариков давят снизу в горло. Пульс сто десять... сто шестнадцать... И вдруг пропадает!!! Сердце не бьется!!!

Вскакиваешь в кошмаре. Сердце влажно ударяет в горле и вновь трепещет мелко и часто. И снова останавливается!!!

У меня не было телевизора, и радио, и телефона, и денег на такси поехать хоть к кому, и выпить не было. Я сидел один в животном бессмысленном ужасе и ждал двух вещей: смерти и рассвета. Что придет раньше.

Пульс сорок — это брадикардия. А сто двенадцать в покое — это тахикардия. А пропуски сокращений — это аритмия.

А вот резкий спазм удушья во сне — это синдром ундины; и от него можно и умереть, а вкупе с нарушением сердечного ритма — любо-дорого переправиться через Стикс. Слава богу, я узнал это много лет спустя. Синдром ундины вообще мало знают.

Ходишь неделю с пульсом сто двенадцать, и иногда присаживаешься от головокружения на что ни попадя. Зар-раза.

Дважды я обратился к врачам. Мне сказали, что это нервное. Двадцать приседаний на меня не влияли, давления и прочее в норме. Участковый терапевт выписала мне валерьянку. Эту валерьянку она выпьет сама на свадьбе своего дедушки. Сука. Не заставляли рыдать медицину мои молодые страдания. Я мог хоть повеситься. А то они мало трупов в морг сплывили.

Это сейчас смешно. А в реальном формате? Не смерть ведь страшна — страх страшен.

На летних работах в пампасах весь первый месяц я взлетал по ночам со скрежещущим всхлипом вурдалака, насаженного на осиновый кол. Просыпались по тревоге кореша и смотрели с уважением и радостью: уважением к качеству, которого они не имели, и радостью за то, что его не имели.

...Со временем я научился, в заботе о завтрашнем дне, работать иногда совсем мало. Иногда — один час.

Одна страница черновика. Или отработка абзаца начисто, ну максимум полустраницы, ну уж страницы максимум. Чтоб не переработать, не перевозбудиться, не всплыть среди ночи в ледящем саване.

И как только все проходило: щелкал благотворный рычаг забвения и пофигизма, и я пахал до упора, наслаждаясь жизнью.

...При особенно загробных столах соседи колотили в дверь. Их это нервировало.

Снотворные? Доза не действует, а после двух я не могу назавтра работать. А транквилизаторы меня не брали.

10. *Короткие и еще короче!*

Студентом, летом, я ездил с девушкой на пляж в Солнечное. Это не был роман. Приятельство без намеков, но возможность иных отношений взаимно подразумевалась: купальники, плескание, «пикник на траве».

И написал я между последним экзаменом и отъездом в стройотряд большой рассказ: знакомство, ухаживание, краткие биографии, стремительное сближение в процессе пляжного дня, несходство характеров, охлаждение, расставание.

И вытащил я этот рассказ — блокнотные листочки, неформат, водянистая ерунда, фальшивый настрой самого раздражает. Сентиментальная назидательность.

Двадцать страниц (в переводе на нормальный формат), между прочим.

Но какая-то верная основа, твердое зерно, была в этой странной смеси сантимента, фальши и вызванной этим сочетанием раздражительности!

Я стал вышвыривать все наносное. Ха. Со скелета слетела шляпа. За ней одежда, волосы, шкура и мясо. Оп! Из отмытых костей извлекся звонкий стук.

Осталась одна страница. Перечень простеньких действий пары на пляже. Ноу коммент. Осталась бесспорная правда.

А-а-а? И вот тогда я стал осторожно-осторожно подбирать на аптекарских весах нужное слово в каждой короткой фразе. Я имплантировал слова в текст, как пинцетом вводят крошечную деталь в горлышко бутылки, собирая внутри парусник.

Мало выкинуть все, что можно выкинуть. От каждого действия, настроения и мысли должно быть по фразе. И короткие эти фразы составлены таким соседством, чтоб в зазорах между ними был виден весь пейзаж происходящего романа.

«Они взяли за руки». *«Они не взяли за руки».* Если текст длинный и подробный — это просто констатация действия, буквальная, мелочная. Если текст очень краткий, где каждая фраза — о следующем этапе, то — к тексту как бы приставлена сильно увеличивающая каждое слово лупа: и каждое слово прокручивается в замедленном режиме. Крупный план! Слово как знак процесса, как вывеска завода за этими воротами.

«Он поднялся.

— Если не хочешь — не надо, — сказала она».

Ни слова о недовольстве, о выражении лиц, об ее заискивании влюбленности: он тяготится, она старается дотянуть отношения до киношного трафарета счастья:

«Зайдя на шаг в воду, она побежала вдоль берега. Она бежала, смеясь и оглядываясь.

— Догоняй! — крикнула она.

Он затрусил следом.

Вода была холодная. Женщина плавала плохо.

Они вернулись быстро».

Короткое перечисление фактов прямыми словами. Ее действие и поведение отвечает схеме: ласковая вода, лазурные волны, загорелая кожа, и вообще играющие дельфины. Его чувства и мысли отвечают неприятной ему картине: и смех неуместный, чему смеяться, и фигура не привлекает его, и никак она его не возбуждает и не вдохновляет. Но. Но:

Как только ты называешь ощущение, ты ограничиваешь рамки его для читателя: своей конкретикой. Дай

почувствовать, не называя! Просто холодная вода, просто плохо плавающая подруга, просто вернулись быстро. Нет чувства взаимного, и перспективы нет, и счастья не предвидится! Из разных они корзины.

Это очень просто выглядит.

Это очень непросто сделать.

Это весьма мало кто способен оценить. Нормальный читатель, скользя по фразе незатрудненно, слышит ее на разговорном уровне.

В рассказе «Идиллия» одна страница. Это не эскиз и не зарисовка. Это повесть, закодированная в короткой жесткой прозе. Их разный социальный статус, и разный уровень образования, ее ночные слезы и отброшенная гордость, зависимость и надежды, и его хмуровая туповатая мужественность, и бывалость, и избалованность бабами, и некоторый комплекс неполноценности по поводу своего более низкого уровня образования и престижа, и ее желание держаться изо всех сил и делать желаемое действительным.

Это — стиль.

Достоинство и значимость стиля определяются отнюдь не тем, насколько красиво и эффектно звучит слово. Достоинство и класс стиля определяются тем, насколько слово нагружено смыслом — интеллектуальным, информационным, эмоциональным, насколько оно передает читателю картину и звучание, настроение и его причины, вкус жизни и движения души.

Самоценное звучание слова как стиль — есть лишь первый класс в школе мастерства. Высший класс — когда обычные слова при рассмотрении не могут быть заменены никакими другими, рождая эмоции и мысли в читателе как бы не важно какими именно выражениями. Когда фраза доведена до идеала, уже неулучшаема — а этот идеал не бросается в глаза, не отвлекает внимания на свою форму: но слова шлифованы до монолита без зазоров, и в этой простой конструкции каждый камень на единственном месте.

Это проковка руды до полного удаления шлаков.

Обогащение урана. Сбивание и формовка пачки масла из ведра молока. И только наивный псевдоэстет потребует от масла вкуса варенья.

И, пожалуй, лучше этой работы нет.

11. Точное слово

Начав работать всерьез, я в скором времени существовал в том пространстве, где всё видение и слышание мира и языка диктуют единственно точное слово на предназначенные ему роль и место. Диктовка и диктат категоричны и повелительны, но часто малоразборчивы и доносятся не сразу.

Я пришел к этому через слух и стремление к совершенству, а не через теорию. «Исповедовать теорию единственно верного слова» было для меня не убеждением, а практической надобностью достичь желаемого: адекватности текста написанного — тому идеальному, который существует в тебе, вне тебя, сквозь тебя: еще не оформленная в слова аморфная и волнующая мелодичная масса. То есть:

Позыв эмоции и напряжение мысли ты должен перевести на язык слов так, чтобы при чтении текста с листа в тебе возникли те же позыв эмоции и напряжение мысли.

Текст — это зеркало, преломляющее пойманный луч мысли и чувства и отражающее этот луч читателю без искажений и потерь.

(Можно понять, что чем незатейливей и мельче писатель, тем неразжеванной, грубоватей по структуре, размытей по краям без тонкостей, посылается им луч — нет четкого светового фокуса, нет точного прицела, и в пределах мутноватого пятна неважны отклонения луча от оси: банальность и приблизительность сойдут.)

И вот, добиваясь адекватной передачи хоть позы, хоть ощущения, хоть цвета, любой детали действия или аспекта картины, иногда мучишься несказанно. Словно тасуешь карты одну колоду за другой, репетируя фокус и роняя их

из неловких пальцев. Не сходится пасьянс, не вылетает из трещащего веера очко в два туза, не встает просечка в очередь сдачи. И ноет слева в груди устало и тяжело.

Я научился откладывать рассказ, если слово не идет. Ну — заклинило. Гнать дальше не имеет смысла — сбита точная интонация. Вернемся через месяц. Или полгода. И брал другой.

В «Чужих бедах», одна из ирреальных сцен, герой выпускает из пистолета обойму в своего директора школы. «Бледнея, Георгий Михайлович рванул трофейный вальтер, рукой направил в коричневый перхотный пиджак». Какой рукой направил? Правой, ага, раз не левша. Вот на эту чертову руку я потратил качественный рабочий день.

Два листа моей конторской книги — в столбиках, колонках и узорах перебора.

<i>Твердой</i>	<i>милосердной</i>	<i>злой</i>
<i>верной</i>	<i>немилосердной</i>	<i>доброй</i>
<i>недрогнувшей</i>	<i>праведной</i>	<i>неверной</i>
<i>привычной</i>	<i>неправедной</i>	<i>сильной</i>
<i>уверенной</i>	<i>беспощадной</i>	<i>слабой</i>
<i>тренированной</i>	<i>мстительной</i>	<i>гибкой</i>
	<i>карающей</i>	<i>окаменевшей</i>
		<i>железной</i>

отяжелевшей, затекшей, невесомой.

Лудишь уже по ассоциациям любую фигню, может хоть от обратного наскочишь рикошетом на верное?

Ну??! Человек умеет стрелять, фронтовик, привычный, он прав, — какой рукой??!

<i>Длинной</i>	<i>простертой</i>	<i>мозолистой</i>
<i>короткой</i>	<i>мускулистой</i>	<i>стремительной</i>
<i>прямой</i>	<i>набитой</i>	<i>убежденной (э? а?)</i>
<i>кривой</i>	<i>тяжелой</i>	<i>медленной</i>
<i>согнутой</i>	<i>легкой</i>	<i>быстрой</i>
<i>вытянутой</i>	<i>тогнутой</i>	<i>справедливой</i>
		<i>праведной</i>

Итог был: *взвешенной*. Кто стрелял из пистолета — поймет точность. Как соизмеряет рука вес пистолета с нужным мускульным усилием, и направлением в цель, и удержанием на линии прицела. В этом слове и точность, и привычность, и спокойная решимость, и вес пистолета в руке, и то, что предварительные действия и движения руки, предшествующие выстрелу, уже проделаны.

...Там на самом деле было куда больше кустов и рядов слов, все приводить смысла нет. Я мелко писал, и проговаривал не записывая тоже.

Вот так. Щелк! — встало на место. Легкость и блаженство. Что за окном, что на часах? На фиг! Пошли на улицу, все на сегодня.

О! стоп! кстати! У меня там лежит в черновике рассказ «Цветы для Патрика», в чистовом варианте это будет «Травой поросло». Последняя фраза главной, сюжетной части хорошо будет так: «*Придя домой, я упал и заснул*». Именно! Все! «*Упал и заснул*». Точно! Отлично. Не надо подробностей, не надо оправдывать выражение и подводить к глаголу вспомогательные слова, «*словно упал*», «*упал в постель*», «*заснул мертвым сном*» и прочая ерунда. Резкий мазок ключевым словом — экспрессивно, выразительно, приятно для глаза и слуха.

И бродишь потом по ночному Ленинграду до изнеможения, чтоб как-то привести себя в готовое ко сну состояние. Придя домой, я упал и заснул.

12. Май и сентябрь

Над серо-серебряными жестяными крышами небо сделалось ярким. И большую форточку в большом окне (стена восемьдесят сантиметров кирпича) я не закрывал круглые сутки.

Батарея под окном была раскалена. В мае кочегарка выжигала оставшееся топливо, и в комнате было тридцать. Я выходил мокрый на весенний ветер, сморкаясь и сипя.

Я написал за год четырнадцать рассказов. Сто двадцать страниц. Я сложил их стопочкой на столе. Толщина стопки была поразительной. Я нежился зрелищем, взлетевший дух реял на крепких крыльях: вот сколько! Дело действительно идет.

Сезон кончился 9 Мая. С утра я ехал в гости. Там был телевизор, и в десять — под первый звон курантов к параду — пропускала первая рюмка.

Потом я загорал на Петропавловке — первый раз в этом году. А вечером была уже большая поддача. Воздух пах летними каникулами. Голова была удовлетворенно усталой. Тело требовало действия, а дух — приключений.

Уже четыре подборки-папки с рассказами получили по три-пять отказов, но пока плевать, нормально, энергия пробоя копится.

Я сваливал в пампасы. Вид печатного слова был мерзок и чужд. Друзья втискивались на отвальную, и радовались соседи, что весь год я живу анахоретом. Однажды в поезд меня просто вложили.

* * *

К первому октября кружился желтый лист, сквозной воздух пах студеной водой и железом трамвайных рельс, и тоска северного угасания давно сменилась счастьем начала сезона. Это твой город, и твои друзья, и твой дом, твоя свобода и любимое дело жизни.

Я пил и раскручивался неделю, медленно настраиваясь к работе, как будто где-то внутри начинала подавать звук скрипка в оркестровой яме.

И садился однажды днем, после расслабленной прогулки и неопределенных размышлений, за стол. Было большим удовольствием фиксировать, как появлению тепла в кистях рук отзывается шампанское покалывание прохладно-свежего подъема в груди.

И оказывалось, что я, блаженно предвкушающий над чистым листом и рукописью сбоку, ни черта не вижу чего ж там исправлять, и так нормально и хорошо, и во-

обще я не могу написать ни фразы!.. Но я уже знал, что через пару часов это начнет проходить, а недели через две исчезнет вовсе.

Баллада о продукции III Рейха

Весь первый сезон я перепечатывал рукописи на, стало быть, одолженной машинке. Я брал ее на месяц в октябре и отдал насовсем в мае.

С работ двести пятьдесят на машинку я отложил жестко. Поехал в комиссионку на улице Некрасова и наладил контакт с продавцом. Купить-«достать» новую машинку было сложно: дефицит. Все по благу, и неизвестно когда поступит новая партия. А в комиссионке можно было и сразу, и принести могут в любой миг, и дешевле намного, если старая.

«Москва» стоила двести двадцать, «Юнион де люкс» двести пятьдесят, «Эрика» — двести семьдесят. Это новые. Которых не было.

Продавец позвонил буквально через неделю, и соседка постучала в стенку и позвала меня к телефону.

На полках магазина стояли огромные конторские электромашинки и пара раздолбанных «Ундервудов».

— Если вас это устроит, — без уверенности сказал продавец и выставил на прилавок футляр с ободранными углами. Замок шелкнул, и я шелкнул.

Я полюбил ее с первого взгляда. Это была прошлых лет «Олимпия» — черная, лаковая, ладная, компактный металл. Лишь стертая спереди краска под клавишей интервала говорила о рабочем стаже.

Я заправил лист и потарахтел — свободный, но плотный ход, без этой пластмассовой и жестяной расхлябанности и люфта. И шрифт не выношен, и нигде не западает и не заедает.

— Беру, — сказал я, хотя понял это сразу. — Сколько?

Она стоила всего сто сорок. Я сэкономил минимум шестьдесят рублей — вниз от двухсот, меньше которых подходящая машинка стоять не могла.

— Сколько я вам должен? — чуть тише и чуть подавшись на прилавок, спросил я.

Продавец, молодой пацан лет двадцати четырех-пяти, с долей неловкой вины пожал плечами:

— Ну, за такую, я даже не знаю, мне самому неудобно. — Он подразумевал, что машинка старая, вышедшая из обихода, как бы он неликвид предложил мне на просмотр, и деликатная совесть не позволяет брать сверху. Я предварительно говорил, что четвертак с меня за подходящую портативную: отложить и позвонить. Но «Олимпию», «Колибри» и «Ремингтон» не называл.

Он показал откровенную удовлетворенность десяткой сверху, и я повез машинку домой. Она была почищена и смазана.

Обследование под настольной лампой выявило марку изготовителя:

«Народные Предприятия Роберта Лея.

Лейпциг русский шрифт для восточных территорий 1942».

III Рейх делал хорошие механизмы. Это была сталь, подклеенная для звукоизоляции сукном. Тонкая рама сталистого чугуна. Предельной простоты и надежности лентопротяжный и регулировочный узлы. Автомат шмайссер. Ее можно было выбросить с четвертого этажа на асфальт, поднять и печатать дальше.

Модель «Олимпия Элита».

У нее обнаружился только один дефект: клавиша возврата каретки на один знак — через семь раз на восьмой возвращала назад на два знака, и ты рефлексивно лудил букву на уже запечатанную раньше. Это в одной шестеренке был сломан край зубчика. Потом я по большему усилию на клавишу и более звучному стуку каретки механически определял двойной возврат и тут же пускал каретку на знак обратно.

Я купил для нее веретенное масло, жесткую кисточку, пузырек ацетона, вату и постриг зубную щетку: смазывать, мыть и чистить шрифт. Пара крайних букв были у нее расположены непривычно. Я начал печатать на ней с одной страницы в час! Через месяц две, к концу сезона

четыре, через пару лет шесть. Быстрее не научился — когда пишешь так медленно, к чему суета?

Это был почти член семьи. Домочадец. Домашнее животное.

Тридцать лет я печатал на ней все, что вообще выходило готового из моих писаний. За тридцать лет у нее однажды сломался рычажок литеры «и», и еще раз просела каретка. Одна неполадка в пятнадцать лет.

Черновики я писал и правил от руки, и тогда представлял машинку на широченный подоконник — прямо за левый локоть.

Памятка. Технические условия

Отношение редакций к оформлению представляемых рукописей напоминало требования развращенного властью командирского денщика к ротному повару в каноне «Швейка»: «Ты что это вздумал мне селезенку накласть? Знаешь ведь, что я ее не жру!»

Рукопись представлялась напечатанной на машинке со стандартным шрифтом через два интервала. А то были еще машинки с «портативным» шрифтом, чуток мельче и убористей. Такой шрифт не принимался. И если интервал чуть меньше — это тоже не принималось.

На белой бумаге формата 210 на 297 мм (формулы «А4» тогда не употреблялись). Ее еще было не достать.

28–30 строк на странице, по 58–62 знака в строке. Поля: слева — 4 см, сверху и снизу — не менее 2,5 см, справа — не менее 1 см.

Допускается не более двух исправлений на страницу.

А вот самое гнусное, самое подлое требование этих зажавшихся сук: редакция рассматривает только первые экземпляры. Вторые уже нельзя. Нельзя из-под копирки! В чем подлость? А в том, что любая множительная техника была не просто строжайше запрещена для доступа граждан. И даже не просто запрещена — о ней в семидесятые граждане еще не слышали вообще. А первые

экземпляры редакции сплошь и рядом теряли! Или не считали нужным возвращать! Так и указывали: «Рукописи не возвращаются». И тебе надо было печатать все по новой! раз не было денег на машинистку! А это — сначала 10 коп. за страницу, и очень быстро — 12 и 15, и вот уже 20 коп. за страницу! Два рубля за десятистраничный рассказ! Восемь рублей за подборку в папке! Двадцать пять рублей за три рассылки в месяц!!! А я наладил свой конвейер пропускания рассказов через все редакции, как зенитчик высаживает бесконечной очередью двухсотпатронную ленту в черное небо, чтоб хоть одним трассером зацепить скользящий силуэт самолета. На восемнадцать рублей я сам счастливо месяц жить буду!

Так была еще у них эта подлая манера: вернут рукопись — а на первой странице чернильный штемпель регистрации. А еще красным несмываемым — пометки по тексту! Не выбросить — так хоть изгадить.

Вторые экземпляры бывали четки и читались не хуже первых. А нельзя! Неуважение к редакции! А первые где?! У других, которые для тебя авторитетнее?..

13. Бумага

Хорошая бумага — была для представляемой рукописи тем же, чем марка автомобиля для автомобилиста или покроя костюма для артиста. Она подтверждала либо могла отрицать профессиональный статус автора. Она была одежкой, по которой встречали неизвестного либо еще несостоявшегося автора.

Во-первых, она должна была светиться белизной. Во-вторых, быть плотной и гладкой. В-третьих, нетолстой и упругой. Этим требованиям соответствовала только финская бумага. То есть в других странах — любая, но в СССР хорошая бумага для печатных машинок была только финская. И достать ее было негде.

Члены Союза писателей имели право дважды в год покупать у себя в Литфонде по пачке 500 листов. Не чле-

ны не имели права совать свое свиное рыло в писательский калашный ряд.

И такова бывает наивность увлеченных ослов, что насчет бумаги я, отсидевший практики в «Неве», видевший горы красиво и профессионально оформленных рукописей, — а сообразил только на второй сезон.

У меня была знакомая. И она работала бухгалтером в «Ленгазе». И она однажды принесла мне в подарок здоровенную пачку, обернутую в газеты. Стопа была двойного формата. И еще год я аккуратнейшим образом, бритвой по линейке, целясь в прищур, резал ее надвое. Она шла только на чистовые первые экземпляры для редакций. Неровный обрез листа сигнализировал бы редактору о самопале самодеятельного графомана без доступа в писательский круг.

Еще почти пачку украл для меня приятель в плановом отделе Лентрансавто. Пачку я купил у аспиранта из НИИ Галлургии за пять рублей.

Как только редактор отворачивался, я норовил украсть немного хорошей бумаги. Я приходил на свой факультет и просил понемножку у машинисток. Я мечтал вступить в корыстно-прелюбодейскую связь с секретаршей высокопоставленного директора и шантажировать ее для расплаты бумагой. Много лет на лист хорошей бумаги я делал стойку, как легавый на вальдшнепа.

...Много лет спустя, в 1992 году, читая лекции по русской литературе в университете Оденсе, я спер с этой родины Андерсона две пачки датской бумаги! Они лежали прямо в коробках возле ксероксов в коридорах!!! Так мог ли я удержаться?..

14. *Как провожают вездеходы*

И оказалось, что моя покупная (и та редко бывала) бумага «Потребительская» была неуставного размера: 212 на 287 мм вместо 210 на 297. И глаз редактора это сразу видел. Она выделялась из порядочных рукописей. И цвет был

желтоват, и толщина толстовата; и плотность рыхловата. А вот писать на ней черновики, от руки черными чернилами, было хорошо. Приятно. Она хорошо держала чернила, впитывала ровно без расплывания, и перо шло легко.

И печатал я неправильно. Оставлял слишком маленькие поля слева, сверху и снизу, а справа вообще не оставлял. Что придавало рукописи неумелый дилетантский вид. От нее хотелось избавиться сразу. Она не внушала доверия своим видом.

И вот я вставлял в машинку новую ленту. Их надо было покупать по 10—20—30, когда налетишь, тоже редкость. А хватало ленты, для четкой красивой печати, страниц на сорок, редко больше. Потом бледно выходило, тонко, не респектабельно.

И чистил шрифт стриженной зубной щеткой, и промывал ваткой с ацетоном.

И запролял бумагу: первый лист финский, второй через копирку потребительский — для себя.

Тра-та-та, тра-та-та, — шлеп! мать! опечатка. Вынимаешь лист из машинки и тонко-тонко, ювелирная подделка документа, новым безопасным лезвием срезаешь и подчищаешь площадочку бумаги от опечатки. Дырку не сделать!! Подтираешь грубой красной резинкой для чернил, после — белой для карандаша. Под конец ногтем указательного пальца полируешь зачищенное место для гладкости и плотности. Вставляешь лист и с оружейной точностью прицеливаешься, чтоб буква шлепнула точно в прежнее место: чтоб глаз редакторский барственный видел рукопись ровную, разгонистую, профессиональную.

Тра-та-та — шлеп! аaaa!!! мать твою!!! опять опечатка...

Перепечатывая свои рассказы повторно для рассылов, я мог перепечатать за день страниц 25. 30 было пределом. Классная машинистка могла сделать 10 в час и даже 12, но не весь день. Нормой в то время было для них на работе страниц 20 в день, не больше моих на круг-то. У меня после тридцати в день в глазах зеленело и тошнота качала.

Рукописи уходили, как ночные бомбардировщики

в далекий рейд, как подлодки в дальние боевые квадраты. Они уходили и не возвращались, и не всегда извещали о себе похоронками из редакций.

И я садился перепечатывать снова. Некоторые рассказы я перепечатывал раз по тридцать. Я помнил их наизусть. Я наизусть помнил расположение слов в строке и строк на странице, и лудил наизусть, как остервеневший дятел, как Анка-пулеметчица, как соло пианиста в безумном джазе, как отбойный молоток стахановца в экстазе. У меня были мокрые подмышки и спина, раз в час я глотал холодный чай и затыгивался беломором. После такого дня я был туп, как свая после ударов в темя, и вывески магазинов расплывались в глазах.

И мне говорили:

— У вас очень хорошо напечатаны рукописи. Рука хорошей машинистки. Кто вам печатает?

Ну, потому что нормальные писатели отдавали свои каракули или получитаемые правки нормальным машинисткам, так было принято!

Сначала я значительно отмалчивался или отвечал размыто: «Ну, есть один канал». Потом плюнул и говорил:

— Если еще Марк Твен и Джек Лондон печатали сами — что я, в девятнадцатом веке живу?

Это звучало как-то высокомерно и вызывало больше неприязни, нежели уважения. Ага — сейчас я вам нищету свою выкачу. Боже, какое счастье, если б это можно было отдавать машинистке и не знать всех этих бесконечных мытарств!

...Через пару лет знакомая привезла мне из поездки за границу маленький, но драгоценнейший презент: пузырек мазилки и пачечку «Трип-Текса». Из пузырька ты вывинчивал пробочку, внутри она продолжалась крохотной синтетической кисточкой, погруженной в белую эмульсию. Отжав внутри горлышка белую каплю, легчайшим касанием мини-кисточки ты замазывал опечатку — и через полминуты белое пятнышко затвердевало! И ты печатал нужное прямо поверху, и на финской бумаге это было практически незаметно!

А «Трип-Текс» представлял из себя пачечку бумажек размером с трамвайный билет. Подобно горчичникам, с одной стороны они были покрыты сухой белой тонкой эмульсией же. Ты вставлял такой листик в машинку между заправленным листом и лентой под удар литеры, и по опечатке печатал через этот листик, придерживая его двумя пальцами за краешек, те же неправильные буквы еще раз. И белый плотный порошок с листика вбивался ударом буквы точно в контуры этой напечатанной уже буквы. И она на листе переставала быть видной! Сухая белая краска повторным ударом через листик влипаала в черную краску от ленты. Я был в восторге, поэтому так подробно. Не ясно? Ты подсовывал листик под ленту машинки и через него повторно печатал по опечатке те же буквы, теперь белым по черному. Белая в цвет бумаги краска ложилась точно поверх черных линий букв, и опечатка исчезала. Можно печатать по этому месту теперь правильно. Сразу, без пауз!!! Вот я и был потрясен прогрессом. Я берег листики, плотно пристраивая один выбитый контур к другому на прямоугольничке, где выбитые буквы просвечивали прозрачным.

62 знака строка. 29 строк страница. 1800 знаков страница, включая пробелы. 23 страницы авторский лист, 40000 знаков.

15. *Две халтуры*

Никакой литературно-журнально-публицистической поденщиной я не зарабатывал ни единой копейки. Это была — фальшь, продажа себя, размен на пятаки, снижение планки, замусоривание слуха, порча руки. Презренье!

Зарабатывай деньги как все — а пиши максимально хорошо то, что надо! Паши летом — пиши зимой. Это не кредо — это правильное понимание.

Представления «литературных и околотитературных людей» о том, что зарабатывать на жизнь им подобает только писанием все равно чего, меня удивляли в брезгливом смысле. У тебя не печатают прозу, нет гонораров,

надо зарабатывать, — это я понимаю. Но мысль в голову не приходит инженеру бывшему вернуться к инженерству, писателю из врачей вернуться к работе врача, а учителю пойти в школу. Не говоря о ночных сторожах и прочем. Нет! Мысль в голове угнездилась одна: я писатель, или околорисователь, и должен искать писательские приработки. А приработки сии мерзки, хотя обольстительно жирны наверху.

Идеал — урвать сценарий для документальной или научно-популярной короткометражки. До тысячи рублей за десять страниц хрени для десятиминутного ролика. Или штуки полторы и более за двадцать-тридцать страниц тридцатиминутки-трехчастевки. День въезжаешь в материал, три дня пишешь, неделю пьешь с кем надо, месяц изображаешь работающего. Это — элитный заработок.

А низовой — это кланчить в редакциях рецензии. У них там ежемесячная сумма выделена на платное рецензирование рукописей сторонними рецензентами. В приличествующих рамках редакторы из разных изданий рецензировали крест-накрест портфели друг друга и выписывали друг другу гонорары. Трешка за лист, в смысле за 24 страницы рецензируемой рукописи. Роман в 480 стр. — 20 авт. листов — 60 руб. за «внутреннюю» рецензию (которая не для печати, а сведения автора и редакции). А роман можно листнуть по диагонали, и наколотить пять страниц общих фраз насчет «желаем успехов, а вот и недостатки». 60 рэ за вечер!! А членам Союза писателей платили с листа не треху, а пятерку, — столярник за вечер! Месячная зарплата молодого специалиста! А маститым, ребята, могли начислить и по десятке за лист. Правда, это истощало бюджетный ресурс журнала и прочие сосали чернильницу.

А еще можно было по знакомству получить заказ на плановый очерк в журнал о какой-то фигне, и срубить за 20 страниц советской слововязи рубчиков 250. С набитой рукой — неделя, с набитой мордой — два дня; хотя были трудяги, которые кряхтели месяц-полтора и всем жаловались на труд, значительно так жаловались.

Газетная статья за 25 руб. — это уже горький хлеб пролетария художественного слова. Не чуждались, но кривились!.. Я бы на эти деньги месяц благоденствовал! Но я кривился до того и вместо того!

Еще внештатно редактировали книги в издательствах. Там сбился свой плотный круг: чужие тут не ходят.

А еще — это для главных, для привилегированных — можно получать деньги за участие в разных жюри, сидение в разных комиссиях, обозначение твоей фамилии в разных редколлегиях, где ты никогда не бывал. Свадебным генералам от литературы платили за брэнд, за использование фамилии в списке; и полковники лезли туда же. Хорошо платили!

И была суперхалтура, переходящая в литературную удачу дерьмоеда. Получить заказ от завода-фабрики-городка-райкома написать роман или книгу-очерк. Идеал: два года зарплаты на какой-то у них условной ставке, потом — готовой книге издание гарантировано, а тебе гонорар и продвижение в сторону Союза писателей. Сто сорок в месяц, штук пять в расчет, и почти уже член Союза! О, за эту удачу вырезали друг другу селезенку!

Так жил литературный люд. Так чего с ним было общаться?

По дружбе и секрету приоткрыли мне раз шанс. Свердловск, два года, жилье-зарплата, роман-история про завод. Швейка я помнил. «Так мы им в этот жбанчик помочились!»

...И лишь один раз, в смысле два раза по одной, я пал и упал. Это было исключение и исключение-бис. Интересно мне стало! До сих пор оправдываюсь, вы чувствуете?

* * * Экзерсис первый

Это были военные мемуары, и нестандартные. А реальная история Войны в деталях и подробностях всегда меня интересовала.

Реальные детали и подробности наличествовали в двух местах. В рукописях до литообработки и редактуры. И в комнате редакции военных мемуаров, что была подразделением историко-партийной редакции Лениздата. Там мемуаристы выдавали порой такое, что сбежавшиеся сотрудники час слушали с открытыми ртами.

Вот и меня раз по дружбе позвали разинуть рот. Дорога — четверть часа пешком от меня, с Желябова на Фонтанку. А позвал редактор, друг Алька Стрижак, наглый умница и суровый оболъститель. Он пахал больше всех в редакции, и мечтал приспособить меня к делу.

Это был сборник «Инженерные войска города-фронта». И Алька с беспощадными комплиментами прожженного журналиста и бессердечного корабельного старшины (еще недавно) всучил мне сотню страниц на литообработку, мол, никто кроме меня с моим чувством слова и военными познаниями.

Я сглотнул крючок из любопытства. Я никогда не занимался этим делом. Доморощенный мемуар надо переписывать полностью. Въезжая в специфику эпохи, места, ситуации. Если в свежинку — это интересное упражнение для профессионала!

Дома я разложил листки по дивану, и стал читать; и не оторвался, пока не прочитал все. Там бойцы умирали от дистрофии и разведка ползала ночью на нейтралку за мерзлыми капустными листьями. Там трупы обливали водой и получали ледяной бруствер. Там заваривали в днище аварийные люки танков: «машину не покидать вплоть до полного ее уничтожения». Много всего.

Черт. Я переписывал все это, и слезы иногда были близко.

И я «утапливал» непроходимые по жесткости детали, стараясь, чтоб разумный читатель мог все понять из намеков, из косвенных упоминаний, из следствий, из фраз героев, не имеющих силы факта или одобрения. За мной рубанком и скрепером пройдет редактор и завредакцией, так лучше я сам выглажу под глаз страшный текст.

Чужое неуклюжее я пропускал через себя, сохраняя

фактуру и дух в переводе на литературный язык. Вообще это саморастрата. Но один раз — в охотку. Второй — никогда!

Ты сразу влезает в чужую шкуру, как в поданный костюм. Ты сразу переходишь на чужой профессиональный язык — другим здесь говорить не позволено. Ты вживаешься не только в героев — но и в их автора! Ты имитируешь не свой стиль, эта работа сродни мистификации. Это очень полезная практика. Но второй раз — никогда!

В одном из очерков воспоминатель, как водится, осветил вначале свой трудовой, партийный, боевой, ну а заодно уж и семейный путь. Это нормально для пенсионера — военного мемуариста. Но у этого путь был и правда крут — рабочий пацан-сирота сбежал в революцию, и через Гражданскую, через голод, учебу, дальние стройки и войны дошел до тихой хрущобы на окраине Ленинграда.

Вот из этого потом я и написал «Лодочку».

* * * Экзерсис второй

А к другой книге я написал предисловие, и писал его долго. Это была история 1-го отдельного полка ДБА — дальнебомбардировочной авиации, она же вскоре АДД — авиация дальнего действия. За войну в нем менялись люди, машины, структура, задачи, но подчинение оставалось то же: личный любимец Сталина Голованов командовал полком на начало войны и был маршалом авиации на ее конец.

Автор, Николай Григорьевич Богданов, ждал меня в редакции. Некрупный, неброский, негромкий, с широким сгладившимся шрамом через все лицо. Скромности нехарактерной, не сказавший в книге ни одного слова о себе.

Я пил с ним до вечера в скромной гостинице, пока раскрутил. Он начал войну 22 июня 41 над границей, и закончил 30 апреля 45 над Берлином. Капитаном и командиром эскадрильи начал — майором и командиром полка кончил. Рост небольшой. Восемь боевых орденов,

156 боевых вылетов, дважды сбит, горел в воздухе, месяц выходил к своим из немецкого тыла, ранен, контужен. 9000 часов безаварийного налета, 3500000 километров. После войны — заместитель Гризодубовой в Летно-испытательном центре, перед дембелем — руководил сооружением аэродромов подскока в Арктике, по маршрутам наших атомных бомберов через купол в США. Не Заслуженный летчик, не Герой, не генерал, не персональный пенсионер. Я выдавил из опьяневшего правду: в 42-м он выходил из немецкого тыла, сбитый, 28 суток. Черное клеймо в личном деле: находился на оккупированной территории. Вот причина комплекса и не сложившейся карьеры.

...Через пять лет я написал «Балладу о бомбере». Там это подробно рассказано. И узнав черт-те сколько интересного, предисловие я наколотил от души. И подписал: «Генерал-адмирал авиации Запудырин-Штормб». Потом исправили на реального генерала, так было принято.

А денег я получил сто тридцать рублей за город-фронт и семьдесят за авиацию, но поскольку Седьмое Ноября еще не наступило, восьмого они все равно кончились. Это историческая традиция. После окончания летних полевых работ и до снега народ гуляет. Лебеду варят уже весной.

16. *Время и труд на единицу текста: самый медленный*

Я стал писать длинный (до 20 страниц) рассказ с жестким романтико-экспрессионизмом. Первая его четверть походила на сжатый в экспрессионистскую штриховку «Как закалялась сталь». Десятилетний мальчишка-рассыльный, злой жадный хозяин компании, бедная окраина, хулиганы друзья... Война (Империалистическая), дезертиры, революционеры-подпольщики, забастовки, подпольный кружок, мелкие поручения, аресты старших друзей. Революция, вольница, анархизм. Красный и бе-

лый террор, мятеж белочехов, самарское правительство на Волге. Красная Армия, прибавил себе лет, грамотен, с революционным стажем. Польский поход, взятие Крыма. Молодой коммунист, красный университет, книги, хлеб с кипятком. И так чуть не по всем вехам эпохи: инженер, партсекретарь, Финская война, Отечественная, боец, политрук, начальник политотдела, ранен, награды. Мир, преподаватель в институте, диссертация. Семья, жена, дети, внуки. Старость, пенсия, одиночество, болезни, другое время. Но — смысл его жизни воплотился во всем существующем вокруг. Он даже не Герой нашего времени — это наше время есть плод, продукт, следствие его прошедшей жизни.

И ведь это было правдой! Такие люди были, и они верили, и отдавали жизнь за счастье страны, и некоторые оставались живы до старости и росли вместе с мощью и процветанием державы.

Душевная получилась повесть. Достаточно простая, без формальной оригинальности. Три недели работы на черновик. 140 страниц! — шесть листов!

День я отдохнул, погулял, выпил воскресные триста. И сел переписывать и сокращать. Жестко! Кратко! Только костяк и железный звон времени!

...Поздней я узнал, что многие «профессионалы» признаются без стеснения, что сокращать собственный текст — это претит душе и вообще бред неразумный. Тебе платят за объем. Объем уже есть. Ты не просто трапишь время зря, но еще и своим же трудом, в свое же время, сокращаешь свой же заработок! Мог ли я не презирать в массе своей «писателей», «коллег по цеху», старших и более преуспевших?..

Я увлекся. Я отжимал текст насухо. Я проковывал страницы и главы до несжимаемой металлической основы. Я смотрел, до какой вообще степени можно сократить текст, сохранив в нем все главное. И еще придать ему колокольный резонанс аллегории, символа всей жизни нашей!..

Я преуспел.

Повесть сокращалась, как... шагреновая кожа?.. меч, откованный до иглы и пшика? Я работал над сокращением в чистовик три недели! Три — разгон, и еще три — сокращение. Полтора месяца!

И я получил одну страницу с четвертью!!!...

Но зато я получил то, что надо. Вот это было кое-что. Такого раньше не было.

Я откинулся на спинку стула, закурил, сплюнул, и сказал в пространство над столом, мрачно торжествуя результат:

— Вот так-то, блядь!

Шесть недель! Одна страница с четвертью! Так это страница!

«Хочется самому себе набить морду за такую работу», — писал Флобер, жалуясь на медлительность движения «Мадам Бовари». Пс-ст. По сравнению со мной он пер, как конь в стипльчезе.

Думаю, что я поставил мировой рекорд по количеству времени и труда на единицу текста. Шесть недель на страницу с четвертью! Работая каждый день до упора, на совесть и до боли, и более ничем не занимаясь.

Рассказ называется «Лодочка».

17. *Время и труд на единицу текста: самый быстрый*

Иногда, сядя за стол в излюбленное и лучшее время — четыре часа, начало зимних сумерек в Ленинграде — я вдруг начинал писать не то, что было сейчас в работе, а ловил совершенно неожиданный порыв, нелепое и никчемное, зато отчетливо и ярко осязаемое стремление. И гнал болванку в высоком темпе, на накате, еле рука поспевала. По принципу: играть пока играетя.

(И никогда я не употреблял высокопарных и замысленных восторженными и фальшивыми дилетантами слов типа: «вдохновение», «талант», «одержимость», «прозрение» и т.п. хреновина.)

Удачнее всего: если зимой часа в три пообедаешь в домашней кухне близ Конюшенной площади, за аркой проходников к капелле, встай, на рубль: солянка, мясо, пирожное. Чай будет дома. И, с купленным через десять шагов в булочной батон, оттопыривающим внутренний карман, со свежей пачкой беломора, медленно бредешь триста метров сквозь узкий сквер посреди улицы: снег, грязь, темные стены, машины, голые деревья вдоль в ряд: еще день, но сейчас он начнет переходить в рабочий вечер. В этот час выходят из джунглей на холмы и воют волки, и смотрит на синюю звезду вбирающий смысл мира Маугли.

Если с приближением этого часа я чувствовал знакомый наплыв, и был рубль, я там обедал, потому что после этого не надо варить супчик дома, есть с хлебом и перебивать настрой. А благостно бредешь, осторожно настраивая душу, как пробуешь внатяг струны на колках, и приходишь готовым. Только чай вскипятить — и за стол; не зажигая света, ловя внутри себя сумеречный ветер.

...Вот так я зимой ни с того ни с сего стал колотить — впервые прямо на машинку, а не от руки — невесть с чего слепившийся рассказ. Забавно он возник:

Шел я как-то по Садовой, вдоль арок Гостиного двора. И обогнал меня трамвай. И на перекрестке Перинной линии контактная дуга под проводом заискрила. Пучки искр, синих и бело-фиолетовых, посыпались и гасли. Звук был интересный. Я стал думать, как его назвать словами — звук, с которым сыпались искры, вонзаясь в воздух бенгальскими букетиками с провода и опадая серыми рассеивающимися нитями. С липким шорохом! Липкий шорох — вот что это за звук!

Отличный звук. Только приспособить его не к чему. Зазря пропадает. Нигде у меня в рассказах ничто не искрило и не собиралось.

...И вот заискрила некая машина — вроде установки ученого в кино «Иван Васильевич меняет профессию». Но скромнее и реалистичнее — больше голого серого металла и проводов, конденсаторов и трансформаторов, и меньше

стекла и дурацких колб с бульканьем. Эта машина стояла у чудака-ученого дома, и в ней была узкая стоячая кабинка типа рентгеновской. И соседский мальчик зашел в кабинку, вылез, чего-то задел, куда-то легкомысленно ткнул. И вдруг с липким шорохом посыпались искры, и из кабинки — ну вроде масенькой тормозной площадки товарняка — вылез еще мальчик: его копия...

Хоп! Машинка, лист, глоток, затяжка, — пошел!!!

Я с ходу вlepил название: «Семь я». С ходу дал мальчику имя: Леня. От него легко образовывать разные формы для его двойников, разных по характеру: Ленька, Ленечка, Леонид, Леха. Да. Пятью двойниками я и ограничился. Один получал пятерки в школе, другой бил хулиганов, третий играл в футбол круглые сутки, четвертый ухаживал за девочкой, пятый руководил и предусматривал.

Дел у них нашлось невпроворот, неожиданные ситуации сыпались из рога изобилия, и все стали беспрерывно острить. Я не успевал записывать за шустрыми и болтливыми пацанами!

За нормальные четыре рабочих часа я исправно выстрелил шестнадцать страниц! — так милые мальчики и не собирались завершать свои приключения! М-да — а тратить на них еще и завтрашний день представлялось жалко. На ерунду-то. Уж лучше в один присест, а там пусть лежит: посмотрим когда-нибудь.

Тарахтенье замедлилось. Стали прорезаться детали тонкой отделки, прояснились звук и цвет, расслоились на противоречивые позывы подростковые характеры. Темп спал до двух страниц в час — но беспрерывных.

Мои гены гарантировали их беды! Они решали проблемы с деньгами и жратвой, переносили завистливые нападки, подчиняли девочку своей воле и красоте души, и лечились от спортивных травм, когда не тот двойник изумлял зрителей неумелостью. Я пил чай, докуривал пачку и придерживал съезжающую крышу.

Рассвело!!

Я сел за стол в четыре дня, и встал в два часа следующего дня. Я провел за машинкой двадцать два часа без

перерывов. Не считая поставить-снять на кухне чайник (вода на донышке, чтоб мигом!) и посетить туалет. Я наколотил сорок семь страниц в один присест.

.....

Больше я детских повестей не писал. И эту не переписывал — так и осталась. И когда через день, придя в себя, прочитал — оказалось, что это приемлемо, а местами даже не без щегольства!

И опытов таких я больше не ставил. Но как разовый опыт — это было интересно. Дьявол! Я убедился, что могу — быстро и помногу — писать то, что недоделки считают литературой. Время спустя — это напечатали с похвалами (?.. да).

Результат остался такой: и первое выскочившее из тебя слово может быть литературой. Нет! Не литературой!!! Но — читаться.

18. *Дворец Таза*

Два а. Гааз. Доктор Гааз сделал много добра в старинном Петербурге. И осталась больница его имени. Эстляндец он был или голландец?.. Холоден и прекрасен Ленинград.

И был построен советский ДК: бетон, стекло и серые углы.

Теперь пара слов о соцреализме семидесятых. Вас не сильно, но неотрывно душат серой пыльной подушкой. А на эту подушку надета бязевая наволочка, и на ней радостными красками изображены картины счастья и труда.

Наволочка приклеилась к подушке, и даже правдивые картинки на ней не меняли удушающей сути. Вот почему любой советский авангард был глотком воздуха: свободы, протеста, непохожести. Кайф и достоинство!

Поклонник модерна — означало: я не стадо, я не быдло, я не хожу строем и не верю вашей лжи, я уважаю свое мнение и свой выбор, ваша тотальная власть мне от-

вратна, свобода прекрасна, да здравствует свобода духа, и формы, и содержания, новизны, и отрицания косного официоза.

Итак, зимой во Дворце Газа состоялась выставка «молодых ленинградских художников». Ну, и правда не старых.

Очередь была метров на двести и шириной со штурмовую колонну. Милиция мерзла и блела вдоль трубчатых барьеров. До вечера.

Я выставил пикету красную корку «Министерство культуры РСФСР», зажатую из Казанского, и сурово дублировал надпись голосом. Брат раскрыл свое удостоверение врача-эвакуатора «скорой помощи» и механически гудел: «По вызову!» Мы протерлись внутрь с оскорбленными проверкой лицами.

Энергетика свободы и независимости исходила от картин. Стеб являл себя формой эстетической самостоятельности и неподчиненности. Оазис, праздник, выбитый внутри клетки протуберанец!

Дикие линии, безумные краски, искаженные фигуры, — и почему-то возникало желание ржать в согласии. Наш мир был проломлен и разломлен, серая кожа сдрана кусками с яркого подлинного нутра, перекошенного уродливыми нагрузками внешней жизни.

О господи. Это был час истины. Зрение и душа приходили в согласие, и рот разъезжался в расслабленной и дурашливой улыбке. Через час художники взяли за руки и цепью пошли на зрителей, моля и извиняясь: час на каждый впуск, другие не успеют.

Возник рыжий Федоровский, кореш-однокурсник с философского, будущий знаменитый берлинский галерейщик, своя компания, сказал пару слов ребятам, и нас пустили за цепь на второй час. Мы ходили: вздыхали, лыбились, толкали в бок и делали жесты.

Вне уровня рассуждений: возникало отчетливое чувство единомышленников по вопросу, что настоящее искусство — вне конформизма, вне жизненных удобств и денег, вне генеральной линии официальных авторитетов. Свежесть, энергия, непохожесть, протест, концентрат

смысла! Живопись — она всегда чуток впереди литературы шагала. Глуп и пьян художник, да нутром мудр, ноздрей ветер чувствует.

...Прошло несколько лет, и сгорел в своей мастерской Женя Есауленко.

...Прошло пятнадцать лет, и мы рано утром пили аперитив на авеню Де ля Мотт-Пике в майском Париже с Макаренко.

...Прошло четверть века, и на петербургском телевидении я подарил «Легенды Невского проспекта» Шемякину. Их там снимали, а он прилетел зимой из США: в черной сатиновой униформе типа зековской, в утрированно высоких хромовых сапогах и бараньем тулупе — худенький, шершавый, напряженно-незащищенный.

19. Семинар Стругацкого

α

Печатать меня никто не собирался, но совет я в редакции «Невы» получил.

— А попробуйте, Миша, пойти в семинар Бориса Стругацкого. При Союзе писателей существует такой семинар молодых фантастов, и вот он его руководитель.

Я постарался придать лицу сдержанное выражение. Фантастов?

— Нет, никто вас, разумеется, не собирается ничему учить. Там просто молодые ребята... молодые писатели вроде вас собираются, обсуждают свои вещи. Нет, вы не фантаст, разумеется...

Если я и спросил чего, так только взглядом и помимо воли.

— Понимаете, они регулярно издают свои коллективные сборники, потом какие-то сборники фантастики в Москве их печатают, и под эту марку можно пару рассказов в год публиковать.

Это был очень серьезный аргумент. Пара рассказов в год. Свои сборники.

β

Борису Стругацкому было сорок четыре года, он был живой (внеофициозный) классик и патриарх.

Дубовые двери, мраморные лестницы, ковровые дорожки, хрустальные люстры, за сборчатой кисеей — огромные окна в старинных латунных переплетах. Вот так жили официально утвержденные писатели в СССР. Было что оборонять.

— Стругацкого вы узнаете сразу, он самый большой. Волосы вперед и в очках.

Я узнал. Отбор производился им лично. Я подал «Все уладится». И был благосклонно зачислен. Ёлы-палы. Стругацкий!

γ

Семинар собирался раз в две недели в Белой гостиной. Всего в нем было человек около двадцати, на заседаниях обычно набиралось тринадцать-пятнадцать.

Самому молодому, аспиранту-китаисту Славе Рыбакову, было двадцать пять. Пара самых немолодых были Стругацкому ровесники. Условно-молодой был семинар. Инженеры, научные сотрудники и учителя.

Приходили в семь после работы, рассаживались вокруг огромного круглого стола и в начале рядов этого маленького зала. Стругацкий во главе, староста Фил Суркис рядом, обсуждаемый — поближе. Курение не возбранялось!

Занятие состояло из чтения очередного рассказа и обсуждения. Читал автор либо Стругацкий сам. Обсуждали по очереди. Босс вставлял реплики и подводил итог с литературными и философскими обобщениями. Потом шли вниз пить кофе в буфете-ресторане. Все.

Но обстановка была живая. Авторитет Стругацкого выше всех планок. Неформальное общение единомышленников, воздух. О господи, какая фигня это все. Здесь не было запаха школы чемпионов. Здесь не готовили себя, закусив удила, в профессионалы. Здесь не спрашивали по жесткому счету с себя и других. Любители

с налаженной без литературы жизнью. Они могли писать и могли не писать. Разумеется, учиться было нечему.

— Разумеется, писать никто никого научить не может, — говорил Стругацкий. — Но можно предостеречь начинающего от каких-то общих типовых ошибок. И можно создать людям возможность общаться с подобными себе. Непечатающемуся литератору вдвойне нужен воздух общения, без обратной связи писатель гибнет.

δ

Весь первый сезон шел конкурс рассказа на тему «Человек-сейф». Понимать как угодно. Вовсе дураков не было. Человек и что он в себе хранит.

После первого заседания, в одиннадцатом часу вечера, я шел пешком — по Литейному и Пестеля, мимо Марсова поля и Летнего сада: легкая морось, легкий ветер, легкая желтизна фонарей: легкая осенняя чернота. Я прошел по Желябова мимо своего дома и ходил по городу до двух.

Странноватое напряжение было в бедрах над коленями, в животе и груди, и еще в бицепсах, а голова почти ныла. Я категорически хотел тоже написать рассказ про «человек-сейф». В третьем часу коллизия поймалась:

Человек проживает всю жизнь, и не может употребить то, что в нем имеется. И — человеку можно доверить самое ценное, что у тебя есть: и он сохранит это, даже если у тебя этого уже не будет. Наших душ золотые россыпи остаются без применения, и сокровища не востребованы! И: ты отдаешь человеку лучшее в себе, а его оно только тяготит.

Выспренность героев и вообще высокий штиль рассказу были противопоказаны. Идея и так патетична и пафосна, во избежание фанфарной банальности ее надо погрузить в легкую обыденность. Еще два дня я подыскивал подходящий уровень материала. А да вообще школа и школьники! Философия сквозь смешочки!

За три дня я написал двенадцать страниц черновика и еще за семь — десять страниц чистовика.

«Кнопка». Так я его назвал. Без претензий.

Вложил в папку, написал Стругацкому на конкурс, отвез поздно вечером на метро аж «Звездная» и сунул ему в почтовый ящик.

Конкурс проходил анонимно. Фамилию мог знать только староста или сам Стругацкий. А лучше, спокойней, чтоб никто не знал. Фамилии моей на рукописи и папке не было.

...Оценивались рассказы по тринадцатибальной системе. После прочтения и обсуждения все клали в кулак мелочь — от одной до тринадцати копеек, кто сколько баллов присуждал, — и, сжав кулак, хлопали в центр стола, там разжимая. Кто сколько положил — было не видно: разжатой ладонью тут же подвигал свои накрытые монетки в общую кучку. Потом староста считал деньги, делил на число присутствующих, записывал средний балл, а деньги стребал в мешочек.

«Кнопка» поставил непобитый рекорд семинара. 11,78 из 13 возможных.

До него читалось уже рассказов семь, и было объявлено, что конкурс продлится до десяти. Пока не хватало. В нетерпении, для закрытия счета, вечером дома я мигом наколотил еще один. Машинку одолжил у знакомой, чтоб не сличили по шрифту автора. Это была первая пришедшая в голову фигня, навеянная «Венерой» Дали.

«Натуралист». Художника раскритиковали за модернизм. А он в мастерской снимает одежду, выдвигает из тела ящички, как из сейфа, а там вещи всякие. И пишет с зеркала свой такой автопортрет. Шесть страниц.

Итог подводили в мае. Объявили «Кнопку». Повертели головами. Встал я. Ну так «Натуралисту» объявили четвертое место, и никто не встал. Я сильно стыдился, что два нельзя. В следующем сезоне оказалось, что можно.

Е

Кроме конкурсных обсуждений, были и обычные. Я в свой черед читал «Недорогие удовольствия». Особенно прекрасен был отзыв славного мужика, который

посоветовал сцену воздушного боя написать выразительней: чтоб руки летчика тряслись на рукоятках пулемета, а гильзы с лязгом сыпались в кабину. Сначала я решил, что он издевается. Потом объяснил, что гильзы из самолета сыпаться не могут, а оружие вне кабины.

ζ

Из тех, кто был там при мне. Слава Рыбаков стал одним из лучших российских фантастов. Слава Витман стал Славой Логиновым и тоже известным писателем. Кто-то уехал, кто-то умер, кто-то бросил маяться дурью и литераторствовать. Про Ольгу Ларионову с ее когда-то знаменитым «Леопардом у вершины Килиманджаро» перестало быть слышно. Критик Балабуха пишет статьи.

η

Главное первое. Я узнал, что фантасты СССР № 1 бесспорно и без вариантов Стругацкие — такова табель о рангах внутри корпорации. И это было отратно! Не официально внесенный в классики Иван Ефремов, не Немцов, не Емцев и Парнов. А вот те, кого я, и все мы еще в студентах полагали ого-го, и наслаждались цитированием. Ага. Хоть где-то и в чем-то есть справедливость.

Главное второе. Каждый второй вторник, проклиная отрываемость от работы, в седьмом часу я одевался для выхода и в чисто-бритом формате вылезал в малый литературный свет ленинградского масштаба. Это был пусть самый низовой из возможных, но литературный статус: член семинара при Союзе писателей Бориса Стругацкого (оцените последовательность слов). И я ощущал там свою значимость среди других — и презирал себя за пребывание на этом уровне: не засиживаться!

θ

Годы спустя сердечные доброхоты передали мне отзывы семинарской общественности о наглом новичке: хорошо одет, следит за собой, самоуверен и безапелляционен.

— Разумеется, Веллер в конце концов будет печататься!.. Да, способный, есть у него мастеровитость, техника. Но души, души нет в его рассказах, главного о человеке нет!..

l

За все советские годы — пятнадцать лет! — я ни разу не напечатался в семинарских сборниках и подборках.

Составлялся сборник. Толстый. Для Лениздата. Вставлялись и мои один-два рассказа. Доходило дело до редактирования. Это всегда почему-то происходило летом. И всегда оказывалось, что сборник подан с превышением планового объема! Составитель обзванивал авторов с просьбой сокращений. Авторы рыдали составителю и давили из его организма все жидкости на стену. А я в это время был в пампасах!

Я приезжал осенью, и составитель с чудовищной неловкостью, со слезами раскаяния и смертной виной, умирая от сочувствия к моему горю и убиваемый своим грехом, сообщал, что меня из сборника выкинул идеологический гад и эстетический урод редактор. Под градом моих циничных вопросов он признавался в конце концов, что все дело было в объеме сборника. И переходил в агрессивный натиск:

— А кого было сокращать?! Ларионову? Ее сколько лет не издавали? Усову? У нее сердечный приступ был! Или Стругацких сокращать?!

И возвращался к рыданиям:

— Я уснуть не мог! Ваши рассказы были самые лучшие, сильные в книге!

к

А чего я хотел?

Одного лысенького сухонького пьяноватенького дурачка звали Андрей Внуков. Как-то он пил с председателем секции, тоже лысым и сухоньким, но непьющим Брандисом, и укорял любовно:

— Вы не знаете своих талантов! Нет — вы не знаете своих талантов!

Талант был, значит, я. Внукову дали прочитать рассказы. Это они мне рассказали по очереди.

И вот Внуков читает отрывок из своей новой книги. Она скоро выйдет. Это книга о Хемингуэе. Узнав, о ком, вперся и я в этот литдом, и уселся в первый ряд с видом тонкого ценителя.

Рожа у меня корчится без приказа личности. Внуков читал, а она выражала.

У него там солдаты в восемнадцатом году всю ночь сидят в окопах, напряженно вглядываясь в темноту. Хотя тихо, и ничего не собирается происходить. А канкан в Париже танцуют без белья, без трусов то есть, на сцене варьете. А в редакции американской газеты в 1916 году никто не знает, кто такие «хобо». Хотя только что умер кумир нации Джек Лондон, и про хобо у него есть целая книга «Дорога». Ну, когда предложили обсуждать, я и сказал насчет железнодорожных бродяг, не зная названия которых в это время не мог ни один американский журналист, это как наш бомж. И насчет бреда эротомана про канкан, в мягких выражениях, безусловно. И вообще.

После этого я хотел, чтоб составитель очередного сборника член Союза писателей старый безвредный пьяница Андрей Внуков меня оставил в сборнике, а выкинул кого-то другого. Идиот. А этот кто-то другой чего ему плохого сделал?

λ

Еще благодаря семинару я написал «Транспортировку». Как-то пришли какие-то ребята-рационализаторы и предложили создать что-то нестандартное по мысли насчет связи людей и материи неодушевленной. Какой-то у нас намечался совместный семинар писателей и молодых ученых.

Точно как с «Кнопкой» я проходил полночи по Ленинграду, разогревая подсознание. И открылось, что про технологию делания вещей из людей можно вообще не говорить, а вот главное — что каждый имеет свой вещевой эквивалент.

Началось с того, что одна девушка звала другую «Кастрюля».

Еще началось с того, что на моем тротуаре всегда толкалась толпа покупателей ДЛТ, и я представил, как вдруг не толкают — и это значит, что город безлюдует.

Еще началось с того, что подпирал следующий семинарский вторник, и накануне я сел за машинку и в отчаянье от неготовности стал колотить, как сидят два соавтора и не могут книжку начать, а уже сдавать ее пора.

Это оказалось легко! Они спорили и ругались, а дело двигалось! И герои их книги вперлись в их жизнь, их самих пустили на переделку, в утилизацию, а сами стали решать свои вопросы.

Стругацкий мягко посоветовал убрать слово «контрразведка», а один немолодой и желчный семинарист кричал, что в этом рассказе вообще все пороки! Меня оправдали.

ц

Я проходил в семинар полтора года. В этом был все-таки смысл. Отдушина в легальный статус. Избежать ощущения андеграунда, отверженности, социальной оппозиции. Жить как все.

Наивность меня доканывала. Нет, вы поняли? Я хотел жить как все, а писать не как все.

Интермедия об энергетике

Предыдущая подглава написана плохо. Так, как обычно пишут мемуары. Умеющему видеть — это видно. Неумеющий видеть — просто ощутит спад интереса. Изображение заменено перечислением.

Фокус в чем. Вот ты в бодром, витальном, энергичном состоянии. Уподобим тебя кадке с водой. Кадка закрыта. Поддаем давление! Приоткрываем крантик! И тугая струйка далеко и сильно бьет из крантика, а вдобавок из невесть каких щелочек и дырочек тоже бьют тончайшие колкие струйки, и кропят дробью брызг и радужной

пылью траву. — — Твоя бодрость — это давление, твоя техника — это все дырочки. Устал, вял, утомлен, смылен работой, — и вялые капли стекают наружу.

Давление энергии выбивает из тебя искры и брызги: и заставляет описываемых людей и события шевелиться быстро, говорить выразительно, находить в жизни яркий интерес: начинает печь солнце, и дуть ветер, и различаться цвета новой и изношенной одежды, и выражения глаз, и издевка в голосе, и весь мир вокруг блещет ясно и ярко.

Усталость отупляет. Большинство людей живет в состоянии хронической усталости: быт, работа, семья, заработок. Освободив время для писания, человек садится вроде бы не усталый — по своему разумению, он вполне работоспособен. Но креативное начало, творческий потенциал — это требует энергии повыше. Большинству людей, даже вполне умственного труда, этот уровень накала и напора просто неведом. И вот литературоведы и критики, образованные и умные люди, валяют вялую фигню вместо прозы, на которую вознамерились.

Утомление не даст тебе подняться до собственного уровня техники и куража. Поэтому нельзя писать помногу и подолгу за раз. Вроде ты и не устал, вроде все и можешь — ан выходит не браво.

Один из феноменов работоспособности и энергии в литературе, Джек Лондон, в жажде предела денег и славы довел дневную выработку до четырех тысяч слов в день (в переводе на наш язык — шестнадцать страниц). Оценил, вздохнул: яркость и энергия ушли!.. — и вернулся к той самой классической норме профессионала: четыре страницы в день.

...Ты должен быть абсолютно свеж. Ты должен ловить кайф от процесса работы. Предвкушение каждого следующего мига радует, как подарок в детстве. Только тогда твое подсознание молниеносно блеснет сквозь логичные варианты слов — и интуитивно выдаст сцены и слова, к которым не доберешься просто усердием, знанием и путями грамматики.

Твоя жизнь должна быть заточена на работу.

.....

Зимняя простуда и грипп — дело обычное, в поликлинику я не ходил за бессмысленностью, сидел дома и отпивался какао и чаем.

Градусник мне подарили. Стал температуру мерить. Ну, скоро опустилась до нормальной. Но мне сказали, что спад — это утро, а пик — шесть дня. И вот в шесть я мерю — 37,2. Хоть лопни. Неделями! Вроде здоров, самочувствие отличное, работаю. Мерю — 37,1.

Мысли. Мрачность. Подозрения. Туберкулез. Воспаление чего угодно скрытого. Ага. Курение, недоедание, стрессы, авитаминоз. Второй месяц! Хроническая пневмония?

И вот вдруг — 36,4! А на завтра — опять 37,2.

Я поймал суть. В шесть вечера я всегда работал. Мне становилось тепло в холодной комнате, футболка влажела под мышками. И температура повышалась. На полградуса и больше. Был выходной — и все в норме... Ты работаешь в положительном стрессе!

...Вот с предыдущей подглавой я и поставил забытый эксперимент. Специально писал усталый и без удовольствия. И стало казаться, что и писать особо не о чем!

И если вдруг начинает так казаться — отложи текст и забудь его работать. Спустя время посмотришь из другого состояния — и поразишься богатству возможностей и вариантов.

20. *Конь на один перегон*

Через полтора года после окончания алтайского скотоперегона я, наконец, достал старую папочку с рассказом про коня. Ну, которого друг-человек из любви убил. Перечитал гордый дух орлиным оком творенье мозга своего, и на челе его высоком отразилось матерное слово в свой адрес. С нуля!

И никак мне в дух и строй рассказа не въезжалось. Вот аж нутро дрожит от перегретой готовности, ручку заносишь над листом — и нет верного слова!

Я был уже опытный. Я помучился и начал писать с дальнего и спокойного подъезда к действию. Как герой услышал вообще о скотоперегоне, как ехал, как устраивался. Так на второй день, странице на шестой, дело наладилось!

На чистовик я передирал этот рассказ сразу. По внутреннему ощущению: готов будет. И первые пять страниц я просто отцепил. Начисто. И сделал начало — с шестой. Рубка наотмашь! И это было в стиле рассказа — рубленом, жестком, экспрессивном.

И оснастил начало первой фразой, которая жила у меня давно, как не пристроенная постоянному хозяину собака: «Всех документов у него была справка об освобождении».

Ах, писал я сцену драки коней! Все, что нашел про лошадей у Толстого и Куприна. Книгу и атлас по коневодству в Публичке. Страниц пять исписанных синонимами. — Двадцать строк драки жеребцов.

И я ее видел собственными глазами когда-то! Правда, настоящая была куда короче и неинтересней.

Я понял, что тяну стиль, когда вдруг выскочила фраза: —

«Воздух был желт: тошнило».

Сорок дней. Семнадцать страниц. И ничего описанного не было в реальном перегоне. Придумано. Просто я знал материал — и достоверность получилась бесспорная.

Интермедия об одной детали

Когда я писал короткий рассказ «Сопутствующие условия» (2 стр.), мне понадобилась сцена, где пленный перетирает веревку на связанных за спиной руках. Это в кино часто бывает, и в книжках тоже часто.

Но я же сука. Я зануда. Как сказал обозленный майор на военной кафедре: «У тебя, Веллер, пытливый ум, б...ь!» И гипертрофированное воображение. И я вечно натываюсь на препятствия, никому больше неизвестные.

Ясно видя в окружающем пространстве сырой сарай с земляным полом, и струйку воды в щель крыши, и поддерживающий стропила столб, и привалившегося спиной к столбу сидящего человека со связанными сзади руками, и слыша его хриплое дыхание, и шаги часового за стеной под дождем, и обоня чудесный дух закуренной им махорки, и кислый запах запекшейся крови и пытошного пота пленного, я заглянул ему за спину — посмотреть, как он будет перетирать и расщипывать веревки об кончик торчащего из столба гвоздя.

Батюшки-светы! Руки-то были завязаны так — надежно и без жалости — что хрен перетрешь! Ты одну веревку перетрешь — так она в несколько витков обвита, и уже после того вся вязка узлом перехвачена, да еще раз крест-накрест, чтоб никаким каким руки из вязки не высвободить. Привычное дело. Профессионалы. Вязать человека — отдельная наука. Этому пацанов в гарнизоне сержант из полковой разведки от скуки учил, развлекался.

Так. Я закурил от огорчения. Принес с кухни соседскую бельевую веревку. Скотал одеяло и всунул скатку в рукава пальто. Связал пальту руки за спиной. Стал прослеживать ход веревки в витках. Сбился, потерял. Плюнул, взял бритву и стал перерезать. И смотреть, сколько витков надо перетереть, чтоб смотать все хоть с одной руки. Так. Возможно! Помучиться надо, одним не обойдешься, но жить захочешь — перетрешь. Если время есть. И есть об что тереть, черт возьми!

В соседском ящике в кладовке я нашел самый большой гвоздь. Ага, сейчас. Даже паршивую бельевую веревку хрен об него перетрешь! А уж приличную пеньковую? Скользят плотные волокна по гвоздю, месяц тереть будешь. Проминаются, заглаживаются, затирается бороzdка от этих елозилий. А где я вам в деревенском

сарая возьму торчащий кусок стекла или вбитую неизвестно куда острую железячку? Только гвоздь.

Так. А если поддеть гвоздем несколько волоконец, воткнув острое кончика в веревку? Так. А если между кистей, в середину вязки, и надавить вязкой на гвоздь, чтоб — внатяг? Ага — лезет чуток. Так. А теперь дернуть? Соскочил, зараза! А еще раз! Осторожно! Тыннь! Порвалась прялочка!

Я утер пот, налил чаю и перекурил. Да — это возможно: об гвоздь расщипать веревку за спиной. Да — трудно. На хрен. Его утром расстреляют — вот он пускай и упирается. Я свою часть работы сделал.

Гм, соседская веревка порезана на части, когда разматал — можно выкидывать. Ладно, утром слазаю на чердак, смотаю чужую: положить на место, пока они не встали.

...Вот так учили нас отвечать за деталь, молодежь. Кто учил? Да сам и учил. Слово короля — золотое слово.

21. *Колечко*

За неимением ванной, «Колечко» я придумал в туалете. В два ночи скакать голым по коридору с криком «Эврика!» я не мог себе позволить. Штаны ниже приличного — не античная нагота, и ленинградцы — не греки. Соседи получали повод свезти меня в психушку. Я прокрался к себе, выражая восторг матерным шепотом.

...За пять лет до этого я прочитал статью еще в «Медицинском работнике», как называлась некогда «Медицинская газета». Скорее это был криминально-психологический очерк:

Два студента любили одну студентку. Она любила одного из них. Другой убил соперника — так, что на него не пало подозрение. И утешал девушку, и в конце концов она вышла за него замуж. И у них родилась дочь, а муж стал известным в районе врачом, и все было хорошо. Но в конце концов неким образом (оперативные

приемы следствия не разглашаются) все раскрылось. Муж каялся, жена стекленеет, дочь в атаке. Восемь лет — снисхождение за давностью, ревностью и безупречной жизнью. Отсидел, вышел, жена приняла, а дочь ушла жить отдельно (без подробностей в газете, но с нравоучением насчет невозможности жить с убийцей).

Готовый криминально-психологический роман. Зовите Достоевского. Как умер? Э-э, подражатели нам не нужны!..

Я никак не мог сообразить, что сделать из этого сильного материала. Ну, написать сильную повесть. Ну, сильный роман. Ну, и что в нем будет принципиально нового? Продвиг в литературе — где? Хорошо: скроем тайну убийства и раскроем в конце. Это ново? Консилиум классиков: Гюго, Бальзак, и шпион-гомосек Моэм туда же. Ау, Пристли, сэр Джон Бойнтон! Один раз я этот сюжет даже подарил.

Пять лет я иногда вдруг вспоминал — и начинал крутить сюжет, как кубик Рубика, которого еще не было. Я вводил новые обстоятельства и собирал головоломку. Я сделал их дочь дочерью не его, а убитого им счастливого соперника. Так. Он мог знать это — а мог не знать. Э! В принципе и она могла это знать, а могла и нет!

Он вообще мог не убивать друга. Мог полжизни спустя оговорить себя. Может, жена его до шизофрении довела? А может, он лунатик и не помнит? А-а-а!!! Может, это она убила гада, лишившего ее невинности, а он, наоборот, женился, а когда все раскрылось — взял вину на себя?!

Только начни копать в глубинах человеческой души — и число жизненных вариантов становится бесконечным и переплетенным, как грибница, дающая всходом противотанковую мину. Я втыкал возле мины красный флажок и уходил жить дальше.

Однажды я даже придумал им колечко. Она подарила любимому, убийца-любящий забрал его и спрятал на память, потом жена случайно нашла, все поняла, он сознался и пошел в милицию.

...И в два часа ночи, под журчанье струй из чугунного бачка, с папиросой в зубах и журналом «Вопросы литературы» на коленях, я похолодел от ужасного прозрения:

ничего не было.

Не было любви. Не было ревности. И главное, окончательное, спусковой крючок механизма, кашель для схода лавины:

не было колечка.

В мозгу запустился огненно-голубой волчок. Он выкинул колечко сразу! А найденное — было другим! Похожим! Он просто растерялся под вопросом — и ей стало ясно! А не было колечка — и оно закрутилось, как колесо Фортуны — не было ничего! им всем только казалось! Было убийство, и была дочь, и была жизнь — не своя, построенная на миражах воображенных чувств. Никто не получил ничего, все неправы, всё не так!

Так. Так! Так-так-так!.. Вот один думает, что всё — так. А следующий, тот, про которого он думает, так тот видит все не так! А еще следующий — еще иначе! И так — по кругу, пока не сорвутся обертки с драмы — а в середине пустышка!!!

Я переставил машинку на подоконник, спрятал работаемый рассказ в его папку, положил чистый лист и раскрыл ручку.

С двух до четырех я покрыл семь страниц летящей и черканой вязью. И перевел дух. Похоже, что я дошел только до середины: конец не достигнут, а по ощущению — еще столько же массы до него. Ладно! Теперь я всегда смогу вернуться к накатанной болванке!

Уснув утром и встав к сумеркам, я принял решение этот день отдохнуть, а завтра, в нормальном режиме, вернуться к прерванному вчера чистовику «планового» рассказа. И возвращаясь в полночь домой, почувствовал вчерашнюю дрожь наката и понял, что пошло прежний рассказ на фиг до его череды, а как вчера — догоню до конца «Колечко». Кроме «Колечка», называться он никак не мог.

И я окончил его в ту ночь! Еще восемь страниц слетело из меня за два часа, и я перевел дух.

...Это было в феврале. Следующие два с половиной месяца я делал из черновика рассказ. Страниц стало двадцать шесть. Количество персонажей-произносителей монологов увеличилось с трех ранее замысленных и шести черновых до одиннадцати. У каждого был свой стиль речи, свое мировоззрение и свой, на следующей ступени, на следующем повороте ключа, взгляд на эту драму. И в результате оставалась только память о силе чувств, под которыми не было реальной основы, и с этим открытием они исчезли.

Трудность была теперь: дать чувства через силу слова.

«Нет страха: в глазах черно». Сказано. Поехали. Точка встала Первого Мая.

22. *Порнографические рассказы*

Я вынашивал рассказы, как Джульетта не выносила бы первенца от Ромео. Она не вынесла этой жизни и покончила с собой. Я продолжал жить, не рассчитывая на взаимность и не отступая от намерений. Ни одна сволочь не собиралась печатать меня.

Я рожал свои рассказы с тщанием большим, чем королева производит на свет наследника престола. И редакции отвечали мне отношением, с каким перегулявшую срок пьянчужку встретил бы абортарий.

Я доводил их до зрелости и выхода в свет точнее и тоньше, чем миниатюрист пишет на срезе рисового зерна любовь к великому генсеку. И они проваливались в щели редакционных конвейеров, а об меня вытирали замасленные процессом руки.

Шли месяцы и складывались в годы, и к сотне близились число полученных отказов. И мировоззрение мое оформлялось в нечто продолговатое и четко согласованное, напоминающее венец человеческой мысли — пулемет.

В Ленинграде мои рассказы читали. И говорили бред, либо гадости, либо сочувствовали унижительно, либо по-

учали нелепо. А посланное в далекую и верховную Москву не только не всегда возвращалось, но, по-моему, перестало даже читаться — судя по лексическим блокам микрорецензий-отказов. Общие фразы и пара пожеланий.

Виктор Некрасов уже съехал из Киева в Париж, и в «Окопах Сталинграда» изъяли из библиотек. У меня была его последняя в Союзе книжка — «Чертова семерка». И по-новому перечитал я абзац, где еще из госпиталя посылает он рукопись в очередную редакцию, завязав для контроля тесемки папки особым узлом. И что? — получил свой хитрый узелок обратно: вернули не раскрыв, с ответом насчет успехов.

Они меня даже не читали!!! Я знал уже уничижительное слово «самотек». Редакторов тошнило в переизбытке, очередь на публикацию уже принятого была два года.

Вы будете читать меня, скудоумные твари! Вы будете ждать прихода моих рассказов! И передавать друг другу, и читать друзьям. И выхватывать мои папки из груд почты.

И была зима, и жег мороз, и я шел по Невскому мимо магазина «Сорочки», и не было у меня денег купить даже носовой платок. И рассказ тут же назвался «Бес в ребро». И тут же встал к нему эпитафия — классика, только классика: «— Ой возьму палку! — сказала дама. — Возьми мою! — сказал Уленшпигель». И тут же румяно и похотливо выкрутилась первая фраза: «Ягодицы ее были ошеломительны». И черными буквами в белом январском небе оказалась написана фамилия героя: Грызлов. Что-то от детской сказки про лесных зверей, что-то от грызть табуретку: доходчивая шиза. И я абсолютно не имел понятия, какая будет вторая фраза, и вообще об чем спич. Камертон эротомана дал легкую шизофреническую ноту, и этого было достаточно.

Нужны были деньги!! Я повернул назад, прибежал в Казанский, удачно занял рубль у кореша-мэнээса Сереги Некрасова (знал бы директор Музея Пушкина профессор Некрасов, на что пожертвовал обеденный рубль), наслаждаясь предвкушением процесса купил в ДЛТ пачку бумаги для ручного труда «Снежинка», — и засел за дело.

Какое наслаждение — без мига затруднений выстукивать фигню с сексом и юмором! Изображая из себя графомана и эротомана! Засаживая самые нелепые конструкции в эту самопародию! «— Вы инвалид? — сочувственно спросила она. И стала вглядываться, какого органа у него не хватает». «Но вместо чистого лица взор его привлекла большая упругая грудь. Спереди Наташа оказалась блондинкой».

Я ржал, как сивый мерин, и гоготал, как второгодник над тычинкой и пестиком. Вся угнетенность, раздражение и унижение последних месяцев выбились в адреналин, и адреналин выгорал в неудержимом мужланском хохоте.

Разумеется, «писал» я сразу «начисто». Объем я положил в восемь страниц на рассказ: меньше несерьезно, больше незачем. Рассказ занимал у меня около четырех часов, и вместо усталости после работы оставлял по себе чувство недельного отдыха на море с массовиком-затейником женского пола.

Назавтра до обеда я создал рассказ «Рассказ о гнусном пороке», а после обеда — «Машинистка тоже женщина». Теперь их надо было перепечатать еще два раза.

Бумага «Снежинка» была плотная, голубоватая, с вытисненными большими снежинками сионистской шестиконечности. Под копирку второй экземпляра был абсолютно ясен и читаем. Ничего. Первый экземпляр я везде положу сверху, а клюнут наживку — прочтут и второй, в охотку!

Еще за два дня я перепечатал еще два раза и теперь имел шесть доз по три рассказа. Сверху везде лежал первый экземпляр, а под ним — второй: два первых и один второй или один первый и два вторых. Я придавал большое значение тому, чтоб наверху — первый.

Так. Так. Я купил в ДЛТ два листа оранжевого тонкого тисненого картона для рукоделия и вырезал шесть папок. Купил зеленой тесемки, нарезал, и приклеил зеленые тесемки аккуратными картонными кружочками. Из кладовки притащил соседскую подшивку старых «Огонь-

ков» и вырезал с обложек шесть привлекательных женских лиц. И наклеил на папки.

Ручек у меня всегда было несколько: три дешевеньких заряжены красными, синими и зелеными чернилами, я любил оттенять ими заголовки черновиков и разные надписи. Вот свою фамилию на папках я разрисовал а'ля петушиный хвост четырьмя цветами с виньетками и завитушками.

Потом сбегал в Гостиный и сделал дикую фотографию в фотоавтомате. Я застегнул под горло клетчатую рубашку под пиджак, зачесал волосы назад, слегка надул щеки и закатил глаза как можно выше под лоб. Желтоватая полоска из трех фото вылезла жуткая, и я повторил.

Фото я приложил к авторской справке. Справка была на листе плохой желтой бумаги. Справка уведомляла редакцию, что я инвалид и прошу не отказать в публикации, полезной для морали нашей молодежи. Что работаю на склеивании тары, но люблю слушать литературные радиопередачи. И вот решил тоже написать литературу. Желаю здоровья и успехов в воспитании людей коммунистических взглядов.

Подумав, я обрезал лист со справкой до половины, и скрепкой прикрепил к первому листу рукописи пониже, чтоб справка, однако, не заслоняла наживку первого листа текста, чтоб заголовок и начало сразу бросались в глаза. А справочка для усиления эффекта.

И отправил это в шесть главных редакций СССР. «Новый мир», «Юность», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и «Наш современник». Обратный адрес свой я из предосторожности не указал.

Разумеется, в опусах не было ни одного нецензурного или даже грубого слова. Сегодня это классифицировалось бы как ироническая проза на тему мягкой эротики, ну очень мягкой и вообще лайтс. Но тогда это было черт знает что!

Пока я это перепечатывал, ко мне заглядывали друзья. Рукописей я читать не даю, но уж это не пожалел. Читатели ржали, я пожимал плечами. На мое «фигня» ответи-

ли, что это литература. Когда я отвечал уязвленно, что такую литературу могу гнать километрами без остановок, мне не поверили; а допустив, объявили, что в этом случае — я писатель. Поистине будь проще — и к тебе потянутся люди. Слушайте. Они действительно не верили, что эту фигню с литературной точки зрения я сам оцениваю в ноль!

Короче, через месяц я повторил сеанс. По моему разумению, не отметить мои папки они не могли. И не развязать не могли. И уж тогда не прочесть с глумливым гоготом тоже не могли. И, значит, пусть у них выработается условный положительный рефлекс на мою фамилию.

...И после третьего раза я снова послал им нормальные папки с настоящими рассказами. И мне быстро ответили все шесть редакций! Да — суки: все отказали. Но быстро прочли! И форма отказа была симпатизирующая!

...Я все еще не понимал, в какое время живу. До публикаций в толстых журналах было пятнадцать лет.

.....

Пятнадцать лет спустя тогдашний главный редактор «Дружбы народов» Саша Руденко-Десняк, знакомя меня с миловидной немолодой дамой из прозы, назвал мое таллинское местопребывание, и дама подняла бровки:

— Простите... а вы никогда не жили в Ленинграде? Был человек с такой фамилией, который присылал нам ужасно смешные и неприличные рассказы!..

Пятнадцать лет спустя я пил чай в редакции «Юности», когда вошедшей в дверь вечной девушке сказали: «Знакомся — это Михаил Веллер».

— Вы?! Михаил?! Веллер?! Это правда?!

Девица задохнулась от восторга. Я растаял от скромности и всплыл в воздух, как розовый слон.

— Это вы?! присылали нам?! порнографические рассказы?!

Воздух вышел, розовое слиняло, я осел на стуле, народ заржал.

— Вы не понимаете! У нас был такой рецензент на договоре! Мы его по полгода не видели. Гонорар получит, рукописей наберет, и полгода опять пьет где-то. А тут он является на второй день, машет какой-то дикой папкой и кричит:

— Вы вообще знаете, что вы мне дали?!

Стал читать — так мы всем отделом валялись. Нет, это правда вы, вас можно потрогать?

...Я не оставил себе копий этих опусов — труда перепечатки было жалко, а подложить третьи экземпляры себе на память — да на фиг мне нужны эти рабочие бумажки, которые только и нужны, чтоб продвинуть настоящие публикации. Потом немножко жалел. Весело все ж было.

И прошла четверть века. И оказалось, что в одной редакции они чудом сохранились в архиве (не иначе кто-то оставил почитать). И вдруг они оказались изданы! Забавно.

№ ∞. *Поток сознания*

Они хотели, чтобы я спился, повесился, уехал.

Я не спился, не повесился и не уехал.

Я не заткнулся. Не по зубам был кляп.

Из тех, кто начинал со мной в одно время, не устоял никто. Никто не переполз болото, не пересек полосу препятствий, не хлебнул света и воздуха в конце тоннеля. Выйти на рубеж движения с самого низа и края в семьдесят шестом вязком году — да вы что; затратный спецназ одержимых и глупцов. Будучи готов к самым тяжелым условиям, но честной игры. Трижды негодяй, воскликнул Атос и упал на стул. Силы его были исчерпаны. Вот это и называлось застой.

Уверенность и злость. Больше держаться было не на чем. Терпение, труд, уверенность и злость. Трудность была в том, что для работы требовался покой расслабленной души: благостность и мир требовались, и радостное

приятие жизни. А ты ходил с гвоздем в пятке, и острие прорастало сквозь сердце в мозг. Улыбайся!

Я улыбался и терпел. Я знал, что таков начальный этап. Утром затрубит у ворот всадник на белом коне — и спадут очки у редакторов, откроется их сознание блеску и мудрости, и пружинной походкой, сквозь толпу статистов и трутней войду я в первый ряд литературного чертога. Да, конечно, только этого все они и ждали.

Медленно-медленно проявлялась истина, как лик зверя падали под светской маской. Мартин Иден мог бы до второго пришествия рассылать свои рукописи, разорившись на марках, и результат был бы в ноль. Рукопись из самотека, с моей фамилией, не отвечающая реалистическому стандарту и выходящая за рамки грамматики из шкафа. Я был долбильной машиной, но в долбильнике возникала усталость металла.

Круговой гусеницей тащилось и чавкало время анкет, и не для меня оно чавкало. Разведенность, национальность, безработность, университетскость, беспартийность, плюс порочащие связи и нелояльные высказывания. Это данные для тюрьмы, а не для издательства!

Я отдувался и по двадцатому разу перепечатывал рассказы. Я ходил вечерами на Почтамт и заклеивал свои папки в крафтовые коричневой оберточной бумаги пакеты. Марки стоили дешево, но рабочие дни на перепечатку подверстывались в расход жизни для пробоя.

Есть много приемов в драке. Можно зажать в кулак спичечный коробок и ударить по горлу: при правильном попадании он отлетит и будет долго пытаться вдохнуть. Большой палец суется под горло между ключиц. Замахнувшись ногой для удара, довернись и бей под колени — упадет: добивай. Плюнь в глаза, сыпани песку или табака из кармана, перебрось нож из одной руки в другую, поймай за палец и сломай. Глядя в глаза — бей в голень, кинув в руки кошелек — бей в пах, сцепился — вгони ему ключ в ухо, захватил — всади ручку меж ребер под лопатку. Убей!!! И если ты готов убить — уже наполовину победил.

Сечет песок, не открыть глаз, не видно рядом, повернись спиной, замотай голову, сядь и дай занести тебя со спины барханчиком, дыши осторожно, смотри в щелочки, дыши сквозь тряпку, не слохнешь, разгребай перед лицом, ветер стихнет.

Я дошел до Бийска, когда мы стояли на Блестячих, чернота ночи плотней стены, и вдруг кажется, что вышла Луна, потому что камни светятся, но верх черен, просто зрение обострено и зрачок расширен так, серый камень на черной земле начинает светиться, а руки не видно, при затяжке закрываешь огонек ковшичком двух ладоней, они розовые насквозь, и этот фонарь слепит на пять минут, а потом дождь летит полого, горизонтально, он леденеет на лету, и скот начинает сдуваться по ветру, с круглой площадки на верху горы перетекает к краю, и ты мечешься взад-вперед, срывая глотку и различая серый сгусток барана за пять шагов, за четыре, три, пинаешь в теплый упругий бок под намокшей сверху шерстью и гаркаешь рыдающим матом, а ребята спят в палатке на той стороне озерца за четыреста метров, твое дежурство — ты и ершишься, время останавливается и превращается в бесконечность, на ходу вдруг кренишься из равновесия и головокружение стучает в проколы тошноты, мокрый насквозь, но горячий пот у тела защищает от холодной воды, да плевать бы на воду, и ветер, и холод, и темень, главная мука мученическая — что скот на полной материальной ответственности, и упадет один с обрыва — за ним второй прыгнет, третий, сотый, не перехватишь — все две тысячи уйдут, а хоть бы и сотня, полтора рубля кило живого веса, сорок кило баран, шестьдесят ре, шесть тысяч сотня; штампы в паспорта в конторе, государственные алименты, стопчут ребята сапожками и в озеро скинут, и мечешься в отчаянье, какой пес, одни нервы, и стих дождь, а ты не понимаешь, где верх где низ, падаешь в лужу, встаешь на колени, сигареты и спички на животе у тела, а сигарету из пачки не вытащить — обмерзли пальцы, губами тащишь, спичку с деревянного конца языком из коробка ловишь, и зажимаешь меж оснований пальцев, как язычок кастета,

и чиркаешь и тут же чмокаешь сигаретой в огонек, не чувствуя кожей ожога, а сигарету из губ не вынимаешь — пальцы не сводятся и не чувят, чтоб держать, огонек слепит чище костра перед лицом, а уже плевать — лег скот, тихо стало, и Луна вышла, уффффф, перетерпели.

Да провалитесь вы пропадом с вашими иезуитскими улыбками в ваших безопасных редакциях!

кованый нож за сапогом тяжелый вороненый ствол слева под мышкой железными гвоздями подбиты подошвы воротник поднят челюсти сжаты в дверь ногой в рыло наотмашь треснули крепостные ворота пороховая гарь медь трубы прищур от дыма виселицы на площади треск досок сминаемая жесть ритмичный грохот римских когорт лязгает забрало стена копий сквозь стену щитов удар гарпуна насквозь тушу барабанная дробь по выжженной равнине за метром метр очередь от живота оскал улыбки сталь и победа сдохнуть с честью челюсти на горле дадим им копоты гвардию в огонь! слава — солнце мертвых! своевременно или несколько позже огребай руманешти матросский подарок я вас научу любить жизнь сделать или сдохнуть судьба благосклонна к тем кто твердо знает чего хочет а вот хочу я так сверни рога гадам жизнь на кон да не может быть чтобы эта шваль ничего разберемся

Он научился выносить такие удары: за полдоллара разовых или пять долларов в неделю.

Когда печататься трудно, когда печататься так невыразимо трудно и так долго — не имеет смысла писать не самое лучшее, на что ты способен.

Теплые волны золотое сияние сказочный берег рыцарский замок алая мантия возвращение к принцессе шрамы седины далекий огонь в глазах трон на холме караван сундуков одинокий всадник.

Они думали, что я им ровня. Что я из породы всей этой мелочи пузатой. Что я боюсь сдохнуть и не могу убить. Что я кому-то поверю. Что они меня сгрызут и уговорят, утомят и сотрут. Купят в размен и сольют в отстой.

Они мне рассказывали свой должностной бред закомплексованных и самоуважительных недоделков про то, как надлежит писать мне. Ни одного мига не полагал я литературных бандер-логов равными себе.

23. *Точка-точка запятая*

И писал некогда Бабель о том, что никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как вовремя поставленная точка.

И писал некогда Паустовский о том, как старый газетный редактор не изменил ни одного слова в неряшливом очерке, и обомлел наутро автор: лишь знаки препинания и абзацы изменили текст до неузнаваемого блеска.

Я писал «Возвращение» в первую зиму. И к давней ночи, ушедшей на абзац из двадцати слов — теперь прибавилась еще одна. Я трогал и смаковал, как меняет синтаксис: интонацию, настроение, смысл, темп, акценты. Это сродни экзерсисам режиссера, пробующего поставить пьесу и так, и сяк, и эдак: текст тот же, произнесение разное — и через речь и жест смысл получается разный. Да?

Та же пьеса может дать десятки разных спектаклей.

Тот же текст может дать десятки разных звучаний, смыслов и картин — посредством исключительно синтаксиса.

Итого:

- «— Дьявол дери... Ким!
- Здор-рово! Ким! Бродяга! ух!
- Ну... здравствуй, Ким! старина...
- Кимка! Ах, чтоб те... Кимка, а!
- Салют, Ким. Салют.
- Ки-им?!
- Братцы: Ким!»

Это просто кореш вернулся. Здесь нет еще ни точки с запятой, ни тире. Ни длинного дыхания, которое

к концу начинает задыхаться, дробя фразу. Ни гвоздей, вбиваемых каждым слогом, как отдельным словом и предложением через точку.

Синтаксис и абзац могут больше, чем перечислено грамматикой.

24. Долги

Денег не было. Но укоренившаяся потребность отдавать долги была. Хотя поверху перекрывала молодость бродяг: давай не считая и бери не мучась.

А злопамятность и память на добро — не то чтобы одного корня, но просто две стороны одной медали. Хорошая память — так уж на все. Избирательность памяти — плод дефективной морали. Но уж когда вытесненное моралью вылезет из своего подсознания, как выросший в крокодила крот из подполья — о: туши свет беги в аптеку!

Неотданные долги, небитые морды и несоблазненные женщины тихо расковыривали мое подсознание! Образовался зуд и стал искать точку чесания: поскольку денег нет, морды исчезли с горизонта, а женщины исправно устроились замуж. А-а-а! Вот и сублимация! Я стал потихоньку обдумывать рассказ про отдачу долгов. Да все точки поворота не проявлялось — чтоб рассказ крутнулся на оси и явил обратную сторону Луны.

У одной однокашницы знакомого в Новосибирске пришибло вывеской с магазина. Ну и? В Ленинграде каждую весну несколько человек пришибает сосульками! Эге... Вода города, испарения города, сгущение атмосферы города собирается из пространства и попаданием в мозг человека пресекает жизнь. Компране ву?

Долги — это твоя укорененность в окружающей жизни, привязанные к другим людям человечества причальные канаты. Раздал — и свободен — отчаливаешь от жизни — и сосулька тебе в темя! Как завершил все намерения — так и конец!

Вывеска и сосулька раздражали бытовухой и конкретикой. И тут я проходил мимо витрины. А! Город перестает тебя видеть! Ты не отражаешься. Ты есть только для себя. Тебя никто в упор не видит! Ты исчезаешь вообще, хотя не ощущаешь этого.

Я начал писать, и через полторы недели нагнал сорок пять страниц черновика, не дойдя и до половины рассказа. А вообще получался прекрасный роман. Зрелый, состоявшийся человек пересматривает всю свою жизнь. И как бы закрывает калитки на всех дорожках, которыми не пошел. Одни калитки уже заржавели, другие покрашены и увиты плющом, за третьими пустырь, а за четвертыми праздник. Он говорит не сказанные слова и делает неделанные дела. И тоска незавершенности стихает в его сердце. И сердце к черту стихает и встает вместе с ушедшей тоской.

Куда мне роман. Не нужен мне роман. Кусь-кусь гурман, вот и пир аскета.

Ключ поймался в зимнем парке вечером — сложился фразой: «березы гасли в пепельном небе». И это «гасли в пепельном» сквозь подпространство незафиксированных ассоциаций соединились — папироса, гасить, заплевать, затяжка, окурок, выбросить, щуриться, цыкнуть струйкой — с татуировкой на плече мангышлакского зэка из расконвойки: «чем крепче нервы — тем ближе цель». Эта фраза давно у меня лежала — в тепле и смазке, протертая и готовая к первому требованию.

Две фразы связались невидимой стальной струной в тандем и задали тон краткости и ритму.

...И каждый сюжет, каждая глава ненаписанного романа — щелк! — и возникла в зрении как отрывок в страницу или еще меньше. Повесть в миниатюре — через сохранение ключевых черт — кодируется в мини-главку, которая вообще кажется при чтении нормальным кусочком, и ничего не сжатым, а чего еще писать.

Гм. Когда делишь повествование на короткие главы — общая емкость определяется ритмом каждого ко-

роткого кусочка и в сумме вырастает на порядок по сравнению с непрерывным потоком.

Один месяц! — и я поздравил себя с романом в 26 страниц.

И такого оборота мысли тоже ведь раньше не было.

Интерлюдия с куртуазными фантазиями

Твердое мягкое круглое длинное узкое толстое гладкое теплое полное стройное жаркое нежное влажное голое тихое страстное быстрое долгое милое чистое сжатое темное женское девичье ждущее белое и так все сутки непрерывно в любой миг в самое неподходящее время.

Ключиком в стеночку тук-тук-тук-тук, в дверь звончком дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, голоском под форточкой эй-эй-эй-эй; в щель записка всунута: «Не застала тебя дома, позвони мне завтра, Ира Ира Лена, Ира, Ира, Мила, Ира Ира Рита Ира Ира Ляля». Половину ленинградских девушек в те времена звали Ирами. Подписаться таким именем граничило с самоуничижением и издевкой над логическими способностями адресата.

Из всех культурных развлечений было кино и выпить.

Я был с хатой, я был дома, я был один, так одну я вообще не впустил в дверь, она билась всем телом и подавала голос, а я затаился, как Ленин в библиотеке, я ее прихваты знаю, делу время — Потехиной час.

«У него такая самодисциплина!» Меня недавно муза посетила: немного посидела и ушла. Занят я был. Работал я! В разогреве был, в деле! сломаешь кайф, прервешь драйв — день насмарку, зря жил.

Не спрашивает медведь, кто спит в его кровати, два часа ночи — а он сидит под настольной лампой и в благолепии слова переставляет. Никто ночью из теремка не убежит. Пгекгасно, батенька, габотается.

«Дописав до точки, Наполеон подходил к алькову, где ждала дама, и овладевал ею, не снимая ботфорт». Вива император!

Сколь тонок древний арабский цинизм: «Женщина — это верблюдница, созданная Аллахом, чтобы перенести на себе мужчину через пустыню жизни». Вранье: зеленый луг и полудикий сад.

25. Звезда

«Серп и молот» и «Звезда»
пропускают поезда:
если поезд не пройдет —
то «петух» с ума сойдет.

Серп и молот не пропускали, опетухить себя я не позволял, и загнанный в запасный тупик бронепоезд доводил до сумасшествия в жажде крушить шлагбаумы и вокзалы. Детские стишки закрутились во мне — перед вывеской. Пожалуйте к «Звезде». Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо, Света. Второй толстый журнал в Ленинграде: больше нет, а под лежащую «Неву» моя вода никак не текла, и водка не текла, а задрать на нее заднюю лапку означало не пить больше из этого колодца, хотя лучше бы забить его телами сотрудников.

Улица Моховая, вывеска под стеклом, широкая петербургская лестница. Самая элитная в Ленинграде, закрытая для непосвященных, — «Литературная студия» при журнале «Звезда». Кто сейчас помнит лозунг газеты (девиз, слоган) европейских анархо-синдикалистов рубежа XX века? «Динамиту, господа, динамиту!»

Меня посвятили. Хорошо что не в секту скопцов.

Первый рекомендатель был Юра Гальперин. Познакомила общая знакомая. Юра жил в приличной двадцатиметровой комнате. Три стены были оклеены фотографиями, у четвертой стояла полированная стенка, инкрустированная мрачным солженицынским портретом. В углу стояла тахта-аэродром, а на тахте сидела худенькая красавица Маринка Старых, гражданская подруга и актриса ТЮЗа. Машинка стояла на откидной крышке стеночного секретера,

письменного стола не было. Ну-ну. Юра зарабатывал на жизнь рецензиями. «Иногда две недели проживу в Доме творчества в Комарове — несколько рассказиков привезу». Рассказиков. В «доме творчества» он. Я спрятал глубже презрение и ненависть к хорошему парню.

Вскоре Юра сменит длинную богемную прическу на лейтенантскую стрижку вроде моей, и купит недорогой серый костюм хорошего стиля «районный фюрер» вроде моего, а потом женится на швейцарке и съедет в Швейцарию, и жена будет посылать Маринке одежду в подарок, а через пятнадцать лет швейцарский русский писатель Гальперин получит в Париже премию Пушкина за роман, названия которого я не сумел узнать.

Второй рекомедатель был Игорь Куберский. На пару лет впереди меня он прошел филфак в «звездной команде», родимый «Скороход», и сейчас стоял крепко: член КПСС, член Союза журналистов, сотрудник городской газеты и автор уже принятой издательством книги. На тот момент — это сияло преуспеванием.

Студией руководил завпрозой «Звезды» Смолян, пока вскоре не умер. Седой бородатый гном с черными горящими глазами и широкими шерстистыми запястьями. Он гудел, зыркал и шморгал.

Раз в две недели, как водится, садились за длинный стол в комнате неизвестного назначения. Рыл десять. Вечер, люстра, панели темного дуба, Смолян во главе.

Нота Бене!! Одобренное заседанием студии произведение полуавтоматически печаталось отделом прозы в «Звезде»! Тут и в дизентерийном бараке промеж озабоченных сядешь.

Обсуждаемый выставлялся. Это у них называлось «пить чай» и «принести к чаю». Закусывали от его щедрот, а пили: для Смоляна всегда оказывался недорогой коньячок, для дам сухое, водка не поощрялась как слишком циничная замена чаю. Я всегда садился рядом с Мишей Паниным: только мы компенсировали тягостность вечера, киряя недорогой портвейн. Мише позволялось: он тут работал редактором, был правой рукой и разменял

сороковник. Хороший незатейливый мужик. Потом он стал завпрозой, а потом тоже умер. В «Звезде» не заживались.

Еще работала дама Корнелия: бедная зарплата, кости, климакс, склероз, невроз. Она быстро прочитала мои рассказы и возбудилась до истерики, перейдя от наставлений к обличениям.

Испытуемый, пардон, обсуждаемый читает рассказ и отрывок. По разрешению Смоляна высказываются все — по часовой стрелке. Смолян гладит седую бороду, кашляет и резюмирует. В половине случаев: «Это у нас запланировано в такой-то номер». Допивают, говоря на общелитературные темы.

— Все члены нашей студии — состоявшиеся молодые писатели, имеющие публикации, у многих уже на подходе в издательстве первые книги.

— Строго говоря, это не ЛИТО чтобы учиться писать, нет, конечно. Это именно студия для молодых прозаиков, подтвердивших свой талант. Для того, чтобы, так сказать, дозреть до публикации в нашем журнале, укрепить даже, может быть, свое реноме. Не нужно говорить, что публикация в «Звезде» — это серьезный шаг в биографии молодого автора, это уже знак признания, подтверждение того, что писатель состоялся на настоящем профессиональном уровне.

Хорошему писателю Саше Житинскому было сорок, и он ждал первую книгу. Хорошему мужику и плохому как бы писателю Мише Панину было сорок, и у него приняли в «Лениздате» первую книгу. Остальным тридцать четыре — тридцать семь. Две дамы под сорок и девушка под тридцать.

Критерий «хорошей книги» был синоним «профессиональной» — «проходная»!

— Книга профессионально написана, хорошая, ничего не высовывается.

Если глагол жег, они его поливали всеми жидкостями от спирта до мочи, добиваясь комнатной температуры.

Редакция была абортариумом для текстов.

Заурядности уважали друг друга, зорко глуша высу-
нувшихся над уровнем.

Сановные графоманы слагали мифы о величии друг
друга.

Дома у меня был свинцовый кастет, отлитый еще
в восьмом классе. Слева на затылке — всю жизнь шишка
от такого же. Чем быть калечным — калечь сам. Уро-
дам — уродово место! иначе они выпьют твою воду,
съедят твой хлеб и выдышат твой воздух, заберут твою
женщину и перекроют твою дорогу.

Универсальной оздоровительной процедурой для мо-
лодого писателя полагалось кровопускание. Поцедили
моей кровушки, побрызгали яду, посыпали песочку в ко-
леса. Пусть вам болотные жабы корочки жуют.

М-да, кстати о жевании, а то я забежал вперед
и увлекся.

Итак, был назначен день обсуждения меня. Денег на
«к чаю» я имел ля фигу. Но по такому случаю напряг все
связи — и аж двое дали мне по червонцу! Да на двадцат-
ку я мог снять зал «Метрополя»! С моей-то тренировкой.

Я взял старый пузатый университетский портфель
и соседскую хозяйственную сумку, и отправился состав-
лять банкет. Холодильника не было, закупки производи-
лись непосредственно перед пожиранием.

Сыра — 200 грамм (60 коп.). Колбасы — 200 грамм
(44 коп.). Ветчины — 200 грамм (84 коп.). Паштета — 200
грамм (76 коп.). Пирожков: с мясом — 5 (55 коп.), с ка-
пустой 5 (40 коп.), с луком-яйцом 5 (45 коп.). Батон — 22
коп., черный — 14 коп. Пирожных — 6 (1 р. 32 коп.),
пряников мятных шоколадных — полкило (95 коп.), кон-
фет «Белочка» — 150 грамм (68 коп.), батончиков сое-
вых — 200 грамм (38 коп.). 200 грамм кофе молотого —
90 коп., пачка чая сорта высшего — 48 коп., кило
сахару — 90 коп., два лимона — 20 коп. И килограмм яб-
лок — 1 р. 20 коп. Итого — 11 рублей сорок две копейки
за все! По бутылке белого и красного сухого обошлись
мне в универсальную цену по трехе, и еще я уж докупил
второй батон за 15 коп. 17.57 за весь праздник!

Я помню эти цены всю жизнь. Это были слишком серьезные составляющие моего существования. И слишком долго они были серьезными. А в данном случае — на сэкономленные два с полтиной я доживал с того четверга до понедельника.

Я притаранил яства, и из щелей полезли на запах редакционные старушки. Это были специальные старушки. Делопроизводительницы, корректорши и машинистки. Они не были ветхими. Они были крашеными, дряблупитанными и полукомандными, как старые унтера.

— А паштет у вас из Елисеевского? — веско спросила одна. И пояснила тупо соображающему мне: — Я ем только из Елисеевского.

Паштет я купил в своей домашней кухне у Конюшенной.

— Ну естественно, — сказал я.

Она взяла ломтик нарезаемого мною батона, толсто мазнула на край паштета и чмокнула:

— Из Елисеевского сразу чувствуется!

Собрались. Уселись. Смолян выразился в духе, что за пир задала нам сегодня госпожа Кокнар. Собравшиеся поддержали и начали жрать, выпив первую за обсуждаемого. Я треснул панинского портвейна.

Потом я прочитал «Колечко». Потом стали мычать по кругу. Одна из двух дам, толстая и кавказистая, возбудилась и кричала, что мастерством здесь и не пахнет:

— А вы слушайте, слушайте, что вам говорят!

Клянусь, я не помню ее имени.

— За мои пряники, и я же педераст, — защитительно пробурчал в пространство Панин.

— Даже неловко, что автор угостил нас таким столом, — стал примирять Смолян, — и вот, вынужден выслушивать только критику.

Куберский и Гальперин сказали, что автор просто пока не приблизился к уровню публикаций, но есть и высокие моменты.

Житинский сказал, что элементы формализма можно изжить, а потенциал высокий.

— Да бросьте вы, — сказал Панин, — хороший рассказ, нормально написан. Ну, не можем мы его публиковать, но ругать-то не за что.

Смолян поставил на место Панина. Смолян был беспартийный еврей, а Панин русский коммунист. И Смолян его боялся, но блюл свое реноме.

Они все дожрали, и больше всех жрал я. Вкусно, знаете, далеко не каждый день приходится; за свои деньги можно и не стесняться. Панин принес из кабинета еще бутылку портвейна.

— Хотя обсуждаемый рассказ еще несовершенен, — солидно, встав и опершись кончиками пальцев в стол, завершил Смолян, — но сегодняшнее обсуждение дает все основания надеяться, что Михаил Веллер обязательно будет публиковаться в «Звезде». И мы, без сомнения, прочтем еще много его новых произведений, талантливых и ярких.

— Не бзди, — сказал Панин, — пробьем мы твой рассказ.

Что характерно. Любой обсуждавшийся тратил на стол больше денег, чем я: счет у меня был поставлен. Но выглядели их столы много беднее. Как-то у них все приносилось несбалансированно, чего-то много и дорогого, что-то вовсе отсутствовало. И расположить это по тарелкам и столу они не умели. Не та школа.

А вот о чем были их опусы, которые обсуждались — вспомнить так же невозможно, как забытые книги, в которые те тексты вошли. Хотя обсуждали при мне не всех. Душа поэта вынесла один год, а потом уж слишком меня это стало раздражать. Я ушел, а студия рассосалась сама несколько позже. Ну — несколько позже и Советская власть рассосалась.

...А помню единственно фразу из книги Михаила Панина: «Все танкисты казались капитану на одно лицо, как китайцы». Ему эта фраза очень нравилась.

...Пройдет тринадцать лет, меня давно не будет в Ленинграде, и в ералаше перестроечного периода, в треске развала и конца, заведующий отделом прозы журнала

«Звезда» Михаил Панин опубликует мой рассказ «Хочу в Париж». Мы выпьем и закусим.

26. Хоґмы

Понятия не имел, что это одесское словечко.

Игорь Бабанов был переводчик. С немецкого. Бедный и образованный литератор-поденщик. Обруселый армянин. Худой, смуглый, высокий, изящный, черноглазый, лысоватый, ласковый, умный и добрый. Дома он носил меховую безрукавку и шапочку-сванку: он мерз в Ленинграде. Не служил, он жил с договоров, и в однокомнатной квартире с женой и сыном было скромно.

Мы познакомились в прозе «Невы»: болтаясь по Невскому, я зашел на чай. Красный синтетический ковер кабинета украшали мятые рубли, за рукописями блестели стаканы, теплая компания произвела хоровой вопль. Тональность вопля посвящала в литературные круги. Проклиная жребий, я бросил до кучи свой единственный рубль, стрел с прочими и спустился за вином. Я зашел крайним.

— А я читал у Саши тут ваши рассказы, — сказал Игорь. — Я думал сначала, что вы профессионал.

Он был на десять лет старше, и я промолчал.

— То есть в том смысле, что вы давно печаетесь, — отыграл он в извинение.

Подобающее время спустя мы ужинали на его кухне.

— Дорогой мой, Кафка — это не столько литература, сколько биография, — говорил он, а у меня в голове с трудом проворачивались колесики. Привычные представления перестраивались. Ревизия ужасала, я терялся. На мировые вехи я еще не замахивался. — В Австрии была очень сильная литература первой четверти века. И Кафка — отнюдь не гений среди них. Были писатели лучше. И во всяком случае не хуже. Его болезнь, его еврейство, ранняя смерть, завещание уничтожить рукописи, дифирамбы друзей. Это все мифы!..

Он снимал с полки огромные тома австрийской анто-

логии новеллы, называл имена и излагал сюжеты.

— Дорогой мой, вы делаете огромную ошибку, — сказал он. — Вас уже знают в редакциях. У вас хорошая репутация в кругах ценителей литературы. Талантливый молодой писатель, много работает. Не печатается. У вас на лбу (он показал руками рамку на лбу) проступает большая черная печать: «Пишет, но не печатается!» Это хуже, чем если б вас вообще не знали!

Я удивился. Черт. А как же знакомства... связи?..

— На черта вам литературные связи без публикаций? — со сладкой иронией пел он. — Вы что, на Саше Лурье хотите жениться? Нет? Боюсь, мы с вами для этого недостаточно порочны. Правда, Оксаночка? — он обнимал за бедро жену и заглядывал ей в глаза.

— Нельзя, чтобы вас знали как человека, которого не печатают! — втолковывал он. — Это снимает с людей обязанность даже думать, что вас надо опубликовать, вы понимаете? Они должны знать: вы пришли — вас придется напечатать. Они должны думать об этом!

После второй бутылки он напутствовал меня на лестнице:

— Вам надо срочно напечататься где угодно!

Я прошел по ночному морозцу вдоль Московского проспекта до метро. А потом от Гостиного до Желябова.

Черт. Я не позволял себе даже думать: писать ради публикации. Писать надо только то, что самое лучшее, что истинно, чего не было раньше. А уже потом печатать его.

Но два года, три года!.. Да я и сам знаю, прав он, чего там, нельзя быть непечатаемым...

И назавтра, расслабленно прибредя к сумеркам с рублевого обеда в домашней кухне, я сел за стол и не зажигал свет. Закурил, стараясь не спугнуть в себе оформляющееся состояние, как вываживают осторожно уже тронувшегося наживку карася, тихо ведущего поплавок в осоке.

И стал писать:

«Детские мечты редко сбываются. Хочешь стать дворником, а становишься академиком. Хочешь вставить раньше всех, вдыхать густую прохладу рассвета...»

За день я написал «Хочу быть дворником». Еще за два дня переписал эти две с третью страницы начисто. И сел за следующий: «Идет съемка».

Сюжеты у меня болтались давно. Но я их даже не записывал. Юмор я презирал. Не литература. Низкий жанр. Не искусство.

Ну. Шутить-то я всегда умел. Хохмить не трудно. Тут точное слово не требуется. Ироничный язык — не блеск стиля. Кружева и словесная развязность. Тоже мне умение.

...За месяц я настругал десяток хохм. Именно так я и называл это занятие. И кстати — половина из них мне вполне нравилась. Сказывалась школа. Они были плотными, сколоченными, отжатыми, жесткой конструкции внутри свободных слов. Явно лучше той чуши, что публиковали странички юмора.

Ну что.

«Александра Филипповича, например, — так того вообще угораздило родиться кентавром. Кентаврам еще в античной Греции жилось хлопотно. А сейчас о них почти и вовсе ничего не слышно».

Я что, тупее юмористов?

«Мы сдаем. Мы сдаем кровь и отчеты, взносы и ГТО, рапорты и корабли, экзамены и канализацию, пусковые объекты и жизненные позиции...»

Я разложил десять хохм по трем пачкам и разнес в три редакции. Через месяц и два я поменял папки в редакциях местами. Потом отправил их в московские редакции.

Ни «Зеленый портфель» «Юности», ни «Шестнадцатая полоса» «Литературной газеты», ни один горчичник и ни одна подтирка не собирались их печатать. Юмористы зарабатывали мало, и за попытку пристроиться к прикормленному месту готовы были оплевать и растереть.

* * *

Пройдет двадцать лет, и рассказ «Зануда» я обнаружу анонимным в сборнике «Современный анекдот».

Еще один рассказ я от злобы написал матерным, и это был самый смешной рассказ. Пренебрегая всем, что не пойдет в главное русло, я его не сохранил. Друзья жалели.

За рассказ «Старый мотив» я дал по морде не знаю кому в «Шестнадцатой полосе». Он был полноватый, лет сорока с небольшим, маленькая каштановая бородка и замедленные реакции. Уж больно не глядя в глаза и через плечо он разговаривал. Самотечный автор, чайник, понимаешь ли, прилез со своим конским копытом в их калашный ряд, работать ему мешал, графоман заезжий. А, думаю, все равно мне здесь не печататься, да и хрен ли этот паршивый юмор. И дал ему в ухо.

Он отреагировал интересно:

— Побудьте здесь, — сказал он, — я сейчас вызову милицию. — И вышел.

Ну, пошел и я восвосяи.

...Но эти хохмы в конце концов свою задачу выполнили!

27. Свершилось...

Жевательной резинки в СССР еще не продавалось. Поэтому плюнул я на все слюной. И пошел со своими хохмами по знакомым. Пошел к Аркашке Спичке, однокашнику и корешу по «Скороходу»: он сидел в Доме Прессы на юморе двух городских газет. Пошел к скороходовскому ответсекру Адику Феодосьеву: он уже редактировал «Речник». И в сам «Скороходовский рабочий» пошел. Раздал кому мог.

В мае раздал. В конце сезона. И уехал. Забыл думать.

Потом оказалось — они тоже забыли думать. Лето.

Осенью я вернулся и вспомнил. Нигде ничего.

Стал звонить. А. Конечно. Они тоже вспомнили.

И стал я ждать, стыдясь ничтожности своих ожиданий. Нервы. А потом начал работать, и ждать перестал. Не впервой.

В первый погожий осенний денек. Октябрь уж наступил. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Местами гололедица.

...И в половине десятого утра четыре резких звонка в коммунальную дверь по мою душу. Путаясь в мыслях и спотыкаясь в халате, гремлю крепостным засовом. В запахах мерзлой листвы, уличного бензина и «скорой помощи» заходит брат и швыряет мне на стол газету:

— Минька, это что?

Проснувшись, разворачиваю газету. «Ленинградская правда». Так. Ну? Ага. «Пестрые колонки». Вот. Есть! Есть.

М-да. Только у меня это называлось «Сестрам по серьгам». А здесь озаглавлено «Повесть». Свежо, ударно, оригинально. Сразу привлекает глаз. Чтоб вас всех перевернуло и стукнуло на первом повороте.

Читаю. Да нет, текст мой. Вроде, не переврали. И редактировать было нечего: короткие фразы, невинный смысл, ноль политики и социальности. Для полноты представлений о редакционном процессе — предъявляю:

«Практикант хотел стать писателем: он переписал все по-своему.

Редактор был начинающим писателем: он вычеркнул все «что» и «чтобы» и убрал две главы, а также одного героя, чтобы прояснить психологическую линию.

Завпроект был молодым писателем; он снял концовку, а завязку поместил после кульминации с целью усилить последнюю.

Ответсекр был профессиональным писателем; он снизил эпитеты и повысил акценты.

Замглавного был известным писателем: он заменил название, усилил звучание и поправил направление.

Машинистка не любила писателей (кроме одного, дрянни...); она авторизировала, чтобы не скучать, и сократила, потому что все равно было скучно».

«Дряннь» мне заменили на «славный». А так все оставили.

— Ну? — удовлетворенно спросил я.

— Подпись читай! — презрительно сказал брат.

«В. Михайлов», — прочитал я. Посмаковал. Утираю плевок, а он не утирается. Сука, ну уж Аркашка-то свой, мог бы... сказать... спросить хоть... не делать этого. Я понимаю, он хоть и Спичка, но ни фигу не Иванов, но, мда, твою мать.

Потом я оправдывался, а брат верил. Пить за такую первую публикацию не было ни малейшего желания. Тем паче с утра. В рабочий день.

Понес я ноги на Фонтанку.

— Аркашка, — говорю...

— Ты уже видел свой рассказ? — возбужденно приветствовал он. — Я его вчера в номер поставил.

— А ты взгляни в газеточку.

— А что? — Он придвинул по столу свежую газету и развернул. — Ну?

— Подпись — взгляни?

— Да, — сказал толстый, добрый, веселый и талантливый Аркаша.

— Ну? — сказал худой, злой и невеселый я.

— Понятия не имею, откуда это взялось... — сказал Аркаша, самую капельку розовее, чем раньше. — Сейчас я позвоню, узнаю.

Он стал звонить и не узнал.

— Старик, — сказал он и развел руками.

— Я понимаю, но хоть бы сказал, — не мог сдержаться я.

Он прижал руки к груди:

— Это поставили где-то уже на уровне корректуры, а подписывал номер Славка, его сегодня не будет. Но я выясню! Но ты доволен?

...Вот так в возрасте тридцати лет я впервые опубликовался в печати. Ну — точнее: опубликовал в печати рассказ. А: дебютировал в печати как писатель. Ёж твою двадцать. Праздник. Дожили, сказал попугай.

* * *

Ну что. Через месяц добрый Аркашка опубликовал меня еще и в «Смене». Уже под моей фамилией. И «Речник» с интервалом в месяц шлепнул две хохмы. И «Ско-

роход» три. Так я еще изобразил к датам «Скороходу» пару «рассказов» не юмористических, а даже скорее драматических. Утеряны! Точно помню, что один назывался «Бабушкина медаль». Могу допустить, что второй был «Дедушкин крест» или «Пирожок для внучки». Блокадный город, знаете, колыбель трех революций.

И в сопроводительной справке, прилагаемой к рукописи, я теперь достойно указывал: «Около десяти рассказов опубликовано в периодических изданиях». Аж самому нравилось.

Хрен. Все равно не печатали.

28. Псевдоним

— Миша, — сказал Стругацкий, — а вы не думали о том, чтобы взять себе псевдоним? В сущности, это обычная в литературе вещь, но это просто может облегчить публикации. Светлова или Каверина, как вы знаете, это ничуть не роняет. Подумайте! Я думаю, вы меня правильно понимаете. Мой к вам добрый совет — подумать — вызван только искренним желанием, как вы понимаете, чтоб ваша литературная судьба стала немного легче. В наше время это может иметь значение, уверяю вас.

Он оперся подбородком в сгиб открытой ладони, прищуренные глаза за очками щурились обычной богатой гаммой: лукавство, печаль, опыт, мудрость, доброта — и неистребимое любопытство естествоиспытателя: ну, каково ты отреагируешь? Есть отзвон, метать ли бисер?

Обычное дело. Мне предлагали это часто. По-свойски, из дружбы. Мы свои, ты все понимаешь. Некоренные фамилии не приветствовались. Их без того звучало в печати до черта. Процент и засилье наводили на. Лимит превышен, норма выбрана, прочие — от винта.

Норма не нормировалась, но полагалось чутя. Евреи чутяли тоньше, и в оберегании собственного места отпихивали подобные фамилии — а чтоб самих не заподозрили. При этом плакали тебе о своем сочувствии. Русские

были лучше: если понравилось — предоставляли тебе больше шансов. Нравилось редко, и выходило так на так.

Я мог бы взять псевдоним в Германии, в Англии, в Америке, — где фамилией Веллер никого не удивишь. В Союзе семидесятых — это означало не взять псевдоним, а официально отречься от фамилии. Помесь червя с шакалом может вызвать только брезгливость.

29. *Ночь, дождь и колонна на площади*

На третьем году счет отказов перевалил за сотню. Иногда меня стало вдруг пробивать. Укол! вспышка! черное! безвоздушная пустота. Соотношение сил и препятствий пронзало безнадежностью. Я опускал лоб на свою черную, потерто-лаковую, прохладную машинку, и так сидел с закрытыми глазами. Знание было прежним. И вера была прежней. И папки с готовыми рассказами вместо надежд, и стопа бумаги сплошь в рожденных отборных словах под конец сезона. Но кураж вдруг исчезал, и это было как порог самоубийства.

Это было нечасто. Раз в месяц или в два. Я научился с этим бороться. Это просто, если есть деньги, но тогда легко спиться. Деньги, достаточные для выпивки, губили не дошедших до своего пункта художников. У меня никогда не было денег на водку у ночного таксиста. Это десять рублей. Когда они были — пузырь шел с веселой компанией, заначить НЗ невозможно.

В шкафу стоял пузырек с цветочным одеколоном. «Гвоздика» или «Кармен». Я обвыкся к этому в скотогонах: нам было запрещено продавать спиртное, чтоб в перепое не растеряли скот и не порезали друг друга, и продавщицы сельмагов в редких горных деревнях, боясь доноса и репрессий, продавали нам одеколон. А в нем семьдесят градусов.

Я выливал его в отдельную шербатую чашку (смыть запах одеколona из посуды нельзя, а отжигать долго) и запивал водой. Если было чем — зажевывал, лучше —

круто соля. Закуривал. Отпускало. И шел гулять в ночь.

Я выходил на Невский, где горел после часу лишь каждый шестой фонарь. По набережной канала доходил до Певческого моста. И входил на Дворцовую.

В первый сезон, на грани отчаянья, слова не приходили, я не мог как хотел, вера расплзалась дырявым ситом, я ходил здесь ночью. Осень, и моросило, но пальто и шляпа не промокали, и туфли не промокали, и три часа, пустой город. Я помню время: семь минут четвертого.

В четвертом часу случается ночью странная потусторонняя легкость в сознании. Не трудны труды, не важны потери, не долго время и не страшна вечность. И я понял мозгом костей, что нет плохого и страшного в сдохнуть нищим под забором, но делать свое без оглядки на нужность жизни и успеха. Прими худшее как естественный и достойный жребий. И на пути к нему делай все для победы. О черт. Все сдохнем. Какое счастье делать свое, не отклоняясь даже гибелью мира.

Процесс становится самоценным. И тогда ты весь направлен в точку успеха. Ты все равно делаешь свое — и раньше или позже линия твоего успеха в собственном измерении — должна совпасть с линией касаемой тебя жизни.

Я запомнил это состояние. Его уже довольно трудно забыть. Только не следует злоупотреблять такими сеансами психотерапии на повторях места и времени в душе и пространстве. Я вылезал ночью на площадь считанные разы — когда прижимало.

Это великое прозрение. Ты понимаешь, что победа — это каждый шаг к цели, а не конечное ее достижение. А сделать каждый следующий шаг хрен кто тебе помешает.

Ты размазываешь Победу по сроку и труду жизни, как пленку масла по всему хлебу. И вкушаешь ее с каждой крошкой своего существования. Только не своди взгляда и живи правильно.

Иди по путям сердца твоего — и тебя поведет Его рука.

Есть точка — на Земле и в Вечности — где ты всегда победитель.

30. Конференция. Молодых. Дарований. №. 2.

Один год в 25, в 40 и в 60 — это три разные единицы измерения времени, ребята. И была осень, и была весна, — год первый. И был год второй, и год третий, и уже шестой год тянулся и отщелкивал с той давней зимы, когда в порыве дерзновенных надежд и нетерпеливой горячки кружил я через ночной метельный Ленинград, вознесенный в силах моей первой Конференцией (молодых, стало быть, писателей).

И не лег чертой поперек жизни минувший невесомо рубеж разменянного тридцатника. Легок и разгонист накат молодости, и все мое было при мне. И счастливые дни летели под праздничной гирляндой воздушных шариков, но необъяснимой хичкоковской угрозой все ощущаемее веяло от этого полета, и мрачным свинцом напитывался шар, как ядро, и проступал чеканеный черным артиллерийский смысл: «Последний довод королей».

Я еще не знал об осьмушке своей рабочей немецкой крови, и руки ниже локтей вдруг делались отдельными, как рычаги.

α

«Работа с молодыми» была отдельной сферой деятельности Союза писателей СССР. Их (их? их?! их... нас!!! нас...) собирали по провинциям даже на районные, а выше — на областные Конференции молодых писателей. А полпути к Луне — региональные Конференции. А уж причастность горнему миру — Всесоюзная Конференция молодых писателей. Колонный зал, Москва, Кремль, фотохроника.

Их произведения отбирали для коллективных сборников, и часто через два-три года действительно издавали; злословлю, могли издать через полтора года. А могли и никогда не издать. Короче — это был допуск в предбанник. Первый кордон литературного фэйс-контроля.

Помните, помните великого казахского акына Джамбула Джабаева:

Мы росли совсем не так.
Нас держали как собак.

Конференция могла дать молодому автору рекомендацию на публикацию — для предъявления в указанный журнал или издательство. Ими можно было подтереться, но тенью признания в послужном списке оставалось: «Рекомендован к печати Конференцией молодых писателей Мухосранска». То есть: дурак, но проверен: мин нет.

Молодых иногда собирали на областные, региональные и Всесоюзные семинары в Дома Творчества. В Домах творчества ели на халяву, пили на свои и возбужденно вступали в непорочашие их связи, которые трудно было назвать интимными в силу их общеобозримости и особенно общеслышимости. Кровати звучали, как ударная установка эротомана.

Молодые были до тридцати, драматурги — до тридцати пяти. Это быстро пресекли: молодые до тридцати пяти, драматурги — до сорока. И реально году к восьмидесятому дело обстояло так: молодые — до сорока, драматурги — до сорока пяти.

Ты старел, оставаясь молодым внутри подвижного ценза. Потом старых молодых сливали в унитаз. Это был поток параллельных парापисателей. Чтоб не мешали в тесной кормушке тем, кто уже сидит там.

Параллельный литературный процесс. Чемпионат юниоров, переходящий в олимпиаду инвалидов.

Эту полосу болотной трясины следовало преодолевать с ходу, на полном газу. Если ты не имел связей и волосатых лап — благословение официозов давало хоть знак редакторам, что ты не графоман.

β

Отбор производился заранее. Семинар Стругацкого был под Секцией научно-фантастической и популярной литературы. Семинар выдвинул на Конференцию молодых писателей Северо-Запада номер хрен ее знает римской цифрой раз в два года — троих членов, если одним из членов считать Наташу Никитайскую. Секция утвердила.

Я был матёр. Но не стар. Тридцать один. Самое то. Зрелая молодость. Одна из звезд семинара. «Около десяти рассказов опубликовано в периодической печати».

Я обжился в Доме Союза писателей, то бишь Ленинградской писательской организации, им. Маяковского на ул. Воинова. Члены жюри, то бишь руководители семинара фантастов и научпоповцев, были те же всем нам близкие члены бюро секции науч. фан. и поп. лит-ры Лен-й пис. орг-и СП СССР. А вы как думали.

γ

Зима на переломе к весне. Снег снаружи, огни внутри, задорные молодые голоса, юные талантливые лица, умудренные литературные мэтры, начало нелегкого пути в большую литературу. Нет ничего прекраснее пулемета в нужный момент.

Ту Конференцию раскручивали. Пресса и шорох. Мы с Наташей Никитайской попали на первую полосу «Смены»: умно смотрим в книгу, она с прической, я с галстуком. Двадцать строк интервью со мной было в следующем номере «Ленинградки», и пять строк поощрительных слов обо мне Стругацкого — в заключающем отчет номере «Вечерки». Да это был почти триумф!

δ

Ну что. Я ходил при параде: в своем сером костюме за 90 р., свекольной рубашке к нему и галстук в цвет рубашки, время такой моды. И новые туфли за 6.50. Клянись, я был элегантней всех.

И я первым брал голос на всех обсуждениях. И говорил как можно умней. Руководством заведовал зав. всей секцией Бразоль, похожий на актера Дэвида Нивена: усы на длинной британской роже. Он был главней нашего науч. фантастического доброго Брандиса, у которого меня выкидывали из всех сборников. Я старался набрать очки и произвести впечатление.

Засаживались в десять утра в небольшой боковой

зальчик. Семинар был двойной, фант. и поп.: шесть руководителей и двадцать участников.

Ну что. Я читал старый «Все уладится». Много хлопали и много хвалили.

— Пока слушаешь — страниц десять, а кончилось — страниц сорок! — Слава Витман.

В рассказе было девятнадцать.

— Это и есть один из признаков настоящей хорошей литературы. — Борис Стругацкий.

Видит бог, я выступил там лучше всех. Блестяще и основательно. Я был собой доволен. Я снял с этого сборища все, что было возможно.

Ага. Сейчас.

Е

Когда я попросил у милого, так дружески и по-доброму покровительствующего мне Брандиса рекомендацию для публикации в «Авроре» и рекомендацию для публикации сборника рассказов в издательстве «Лениздат», бедный Брандис замаялся. В голосе вдруг появились нотки раздражения какой-то моей виной. Не так-то просто и не так-то хорошо и естественно то, чего я прошу. Я омрачил просьбой нашу интеллигентную и добрую дружбу. Короче, выразив это через интонации, хмурость и взгляд мимо, он сообщил, что это все-таки не так просто, и он же не может не посоветоваться со всем руководством.

Шел последний день, подведение итогов, мы с ним курили среди людей в коридоре, он вернулся в комнату, где за закрытыми дверьми руководство составляло реляции и выписывало путевки в жизнь.

Будьте спокойны. Никакой рекомендации мне не дали. Но любили страшно.

Я не мог понять. Эти рекомендации ничего не значили. Редакции и издательства плевали и жали плечами, улыбаясь раздраженно. И они, рекомендации эти, абсолютно ничего не стоили руководству семинара, понимаешь, своим людям, которые полтора года знали меня достаточно. Никого ни к чему не обязывали. А мне давали

хоть крошечный аргументик в разговорах с редакторами. Хоть на микрон поднимали мои официальные возможности.

Неприянь из зависти? Опасения, что вдруг я свалю, а они меня хоть куда-то рекомендовали, а я эмиграцией предал родину? Или национальная неполноценность руководящей троицы фантастов — Стругацкий, Брандис и Браун — не позволяли им впасть в сионизм и рекомендовать Веллера?..

В отдельные краткие моменты жизни я ненавижу фашизм не так сильно, как обычно.

...Больше меня семинар фантастов не интересовал. Посещать его было незачем. Ждать нечего. Любовь была проявлена в полном объеме. Изредка я заходил поболтать вечером от скуки.

ζ

Они еще составили для оглашения на закрытии Конференции список особо отмеченных участников. Если верить словам обсуждения, так они меня отметили по самое не могу. С высокой трибуны меня прозвучало во второй части панегирика: «А также...» Четвертым из четырех, также отмеченных справедливым и объективным руководством семинара.

Мне был тридцать один год. Из всех руководителей семинаров этой конференции писателей было один. Борис Стругацкий. Прочие шли у меня за шелупонь, и у времени прошли по тому же разряду. И вот они спокойно пытались определить мне место во втором ряду. Ну что. Гюльчатая открыла личико. Вырви яйца сучьим детям. Если сможешь. Нормальная жизнь.

η

Так потом произнес слово закрытия ленинградский генерал от литературы — Даниил Гранин. И обгадил все окончательно.

— Поспешность в опубликовании губительно сказывается на молодом писателе, — добро и мудро увещевал

Гранин. — Вам необходимо быть требовательнее к себе. Работать больше, упорнее. Не торопиться нести свои произведения в печать. Слишком быстрый успех пагубен для неокрепшего таланта. Спрашивайте с себя строже!

Ненависть моя была невыразима. Более фальшивых, гнусных и неуместных слов я не мог себе представить. Так звучала подлость советского функционера.

Это говорил Гранин. Умный настолько, что при всех режимах само собой пристраивался к власти, к кормушке, к распределению писательских благ. И умный настолько, что имел при этом репутацию доброго, отзывчивого, порядочного человека. И умный настолько, что в советской литературной табели о рангах проходил на уровне с Марковым, Бондаревым, кадавром Леонидом Леоновым и выразителем интеллигенции Трифоновым.

Брежневская эпоха душила нас. Печататься было невозможно. Генерал Гранин предостерегал голодающих нищих от обжорства. Он был очень богатый и серьезный человек по тем временам: массовые официальные тиражи на всех языках народов СССР и «стран народной демократии».

Я вышел на улицу в злобе и по слякоти пошел в винный. В России нельзя не пить.

* * *

Министерство литературы СССР было гениальным институтом. «Чужие здесь не ходят», — девиз чиновника и чекиста. Я не был борцом — кот, который гуляет сам по себе. И подотдел очистки плакал по мне, как по родному.

ГЛАВА ПЕРЕХОДА

Седлание белого коня.



1.

Скажи мне, кто твой друг, и оба идите на фиг.

— А с кем вы были знакомы из ленинградских писателей?

— А ни с кем я не был знаком из ленинградских писателей.

— Но ведь это ваши коллеги!

— Нищий дворнику не коллега.

Борис Стругацкий был старше меня на пятнадцать лет, и состоял небожителем той части неба, что затянута тучами. Их книги в конце семидесятых выходить перестали, а из журналов печатал исключительно «Знание — сила». Мы не были ровней. Я числился полтора года его семинаристом.

Ребята из студии «Звезды» находились в переходе от членов окололитературного процесса в полноправные члены литературного процесса. Их жизнь была устроена в своей струе, к которой я не имел никакого отношения.

Можно было просиживать вечера в кабаке Союза писателей, пить брудершафты с укорененными и должностными. Посиживать на секциях и входить в компании. Нужны были деньги и пониженный рвотный рефлекс, они отсутствовали.

«Задруживались» с «маститыми» методом оказания услуг. Достать дефицитную книгу и соврать о знакомой продавщице с номинальной ценой. Везти рукописи на перепечатку машинистке. Доставить пачку бумаги из Литфонда. Организовать знакомого хорошего врача, или автослесаря, или сантехника, или билеты в театр, на поезд, самолет. Шестерили! В ответном порядке маститый отвечал на просьбу — рецензией, рекомендацией, отзывом, звонком, введением в круги. Ты снабжался паролем: свой.

Я действительно люблю сладкое, но к лизанию задниц это отношения не имеет.

— А как же литературное общение? Вы нуждались в литературном общении? Неформальном, кроме семинаров? Обсудить вопросы творчества, новые книги, события мировой литературы? Писатель не может ведь жить в вакууме!

— Как только писатель впадает в неформальное литературное общение и начинает обсуждать с коллегами события мировой литературы — он начинает жить в вакууме. Между ним и нормальной жизнью отблескивают стеклом стенки профессионального аквариума. Письменники варятся в собственном соку, и сок смешан из жидкостей их некрасивых тел. Как-то пили мы с девчонками из союзписательского машбюро, и я предложил им представить их клиентуру на пляже в плавках. Так самую юную и хорошенькую Ленку стошнило.

Жить среди идиотов еще не означает благотворительность.

Друзья мои естественным порядком были из одноклассников и ровни.

Грех гордыни я не одобряю, но Ленинградская писательская организация позиционировалась в моем литературном пространстве как инвалидская команда капитана Миронова в Белогорской крепости. И пушкинская ассоциация здесь есть честь.

При любом раскладе я рассматривался как претендент на место в кормушке, славе, издательских емкостях. Эмбрион-конкурент. Давить в зародыше!

Помогали? Заведомым неудачникам и перестаркам. Демонстрируя свою доброту и страхуясь от вытеснения талантами.

Интересные умные разговоры о литературе — горячие, изошренные, с полетом эрудиции до утра — я отговорил еще в университете. Я был чемпион по разговорам об умном. А у нас были толковые головы! Ну так каждому овощу свой фрукт. Детская болезнь левизны в гомосексуализме.

Пустословие мне обрыдло. А единомышленники редки и встречаются не в том лесу, что ленинградские советские писатели.

— Но были же писатели непечатающиеся, работающие в стол. Советская власть давила таланты, но они были, и работали как могли! Неужели среди них вам тоже никто не был интересен?

— Любому интересен клад, и кладоискателями заполнены целые палаты в дурдомах. Я не пересекался с вывихнутыми людьми. Если сразу воспринимал кожей, что на человека нельзя положиться в пампасах, в драке, что он не станет любой ценой тянуть доверенное дело, за которое поручился, — он был противен. Андеграунд — были люди с ущербным мировоззрением. Понимаете: среди них не было Ромео и Джульетт, д'Артаньянов и Робин Гудов, Растиньяков и Гракхов. Был комплекс неполноценности и болезненный снобизм. Большинство людей шло у них за серое быдло, добившиеся успеха — за продажных коммунистических конъюнктурщиков; психика их была ущербна, они были не энергичны, не храбры, не красивы, не чистоплотны. Не образованны и не умны. Второсортные снобы-творцы делали искусство для второсортных снобов-потребителей.

Короче.

На хрен я был никому не нужен, и это взаимно.

Приучен я был с гарнизонов: разговоры отдельно — дело отдельно. Я писал. И отлюбил разговоры о литературе. Пар выходит. А дураки растут густо.

И на площадке моей сделалось пусто.

2. *Волбуев! Вот вам книга.*

Была весна,
цвели дрова и пели лошади.
Медведь из Африки приехал на коньках,
ему понравилась соседская корова,
и он.....!

За три года я полностью стоптал три пары туфель. Семь пар железных башмаков в перспективе не укладывались в дистанцию от сегодня до могилы. Число отказов перешло за полторы сотни.

Рижская молодежка «Советская молодежь» напечатала «Кнопку». В тридцать один год я получил первую публикацию серьезного рассказа — в прибалтийской республиканской газете. Что-то часто стал я ночью опускать лоб на холодный металл машинки.

Весна расцвела, и я произвел ревизию.

Сорок три рассказа. Триста сорок восемь страниц машинописи. Ровная толстая стопа лежала на зеленой бумаге стола весомо и значимо. Всё нажитое. Итог и труд трех лет. Не зря они прожиты!

За месяц я перепечатал их два раза в двух экземплярах. Редакторы уважают свежую рукопись, единообразную, немятую. Мои бывалые экземпляры после возвратов были непрофессиональны.

Неделю, куря и вздыхая, я погружался в воспоминания и перетасовывал рассказы, выкладывая сборник. Никто не возьмет у меня сборник без нескольких приличных публикаций в журналах. Но хоть попробовать-то можно. А что — есть варианты? Что за хрень! Нет такого закона — сначала журналы, и только потом сборник. Да кто где видел такой сборник, как этот?!

Первый экземпляр книги, то есть две папки с первым-вторым экземплярами сборника, я послал в Москву, в «Молодую Гвардию». В принципе, только это издательство могло принять первую книгу самотечного молодого автора.

Второй экземпляр я отнес на Фонтанку в знакомый как-никак «Лениздат».

А третий, сборный из уже побывавших в редакциях рукописей, пусть и на одной машинке печатанных, да на разной бумажечке, я понес в-о! — Ленинградское отделение Издательства «Советский писатель». В принципе, они издавали только членов Союза, но туда присоветовал по дружбе Саша Лурье. Есть знакомый редактор, и вообще есть шанс.

Саша Лурье должен был испытывать особое наслаждение от своего доброго дела. Он знал доподлинно, что шанса нет никакого. Он оказывал помощь и участие, ничем не рискуя — тем временем жизнь автора укорачивалась, а дух утомлялся в бесплодных надеждах.

Добрейшая, седая, интеллигентная и влажноглазая Фрида Германовна Кацис, редактор «Ленсовписа», внимательнейшим образом приняла очередное Сашино протезе (*корректору: средний род прилагательного оставить*). Быстро прочитала, страшно посочувствовала, предложила убрать самые непроходные рассказы. И в ответ на циничные и прямые вопросы в лоб призналась, страдая, что никакая прополка не поможет издать мой сборник. Нет — надо надеяться. Но нет — надежд практически нет.

Отказ «Лениздата» был обставлен честно: с полным равнодушием.

«Молодая Гвардия» имела меня в виду через подзорную трубу.

.....

Ну что? Переговорил я с кем мог и где мог.

Делать что-то надо было.

Уяснил я главное. Будь я хоть родной племянник Первого секретаря Ленинградского обкома КПСС товарища Григория Васильевича Романова. Этих и таких моих рассказов никто в Ленинграде печатать не будет. Нигде. Никогда. Всё.

3. Кто вы такие? Вас здесь не ждут.

Я поехал в Петрозаводск. Остановился у знакомого по Конференции. И прибег к услугам Эдика Алто.

Эдуарду Алто было сорок три. Он заведовал прозой «Севера». «Север» имел статус регионального «толстого» журнала. Но подверстывался во всесоюзную обойму.

Мы познакомились с ним шесть лет назад, в самую первую конференцию. Все мои рассказы я перепускал через него также. Некоторые ему страшно нравились. Я получал назад папки с его длинными теплыми письмами.

Эдик позвонил знакомому в Петрозаводское книжное издательство. Хвалил меня как родного. Я встретил там радужный прием. Хотя меня предупредили о возможных трудностях.

Я достал из портфеля свой сборник, два экземпляра в толстых папках. Их зарегистрировали и мне гарантировали. Ленинградский налет на заезжей фигуре отражался в глазах местных сотрудников блеском злорадствующих трудяг.

...Но был шанс! Ребята были приветливы, а книги там выходили фиговые местных авторов.

...Эдик мне покровительствовал, и отказ пришел быстро. Без всякого мотания нервов.

* * *

Я поехал в Минск. А куда же мне еще ехать?

И вошел со всей непринужденностью в издательство «Юнацтво», что есть «Юность». И спросил русское отделение, редакцию современной прозы. И представился скучному дуремару, молодому, приветливому и с пломбой заводского ограничителя на лбу.

Как это почему к вам? К нам, а не к вам, ну что вы. Я кончал школу в Могилеве. Я занимался в ЛИТО могилевского пединститута. Я впервые опубликовался в газете «Могилевская правда» (врал я). Меня благословил в литературу сам Алексей Пысин, известный поэт (нагло

врал я). Еще в школьные года я печатал стихи в республиканской газете ЦК комсомола Белоруссии «Знамя юности» (я уже почти верил, что говорю правду).

— Вот если бы вы на белорусском писали, — тосковал нестарый дуремар. — У нас не хватает хлопцев, чтоб по-белорусски. В белорусском отделении — там за год спокойно книга выходит. А тут по-русски очередь.

Я понимаю. Я согласен ждать очередь. А куда же мне деваться?

Справочку я сварганил к этому экземпляру — эх! Хоть сейчас на Ленинскую премию — и в гвардию. Откроют, посмотрят — зацепит: проникнутся. Господи, ну неужели не видно, что вам привезли?

...Отказ пришел под благовидным предлогом, что переизбыток рукописей местных авторов. А то кого интересует предлог.

* * *

Фигня. Еще была Рига.

В Риге жил Полоцк. Полоцк — это не город, а фамилия. Это он напечатал меня в рижской молодежи. Он там работал. Мы познакомились все на той же последней Конференции. Так что — была от них польза-то!..

Еще в Риге жил дядя. Дядя был известный хирург, профессор и реальный основатель знаменитого Рижского Института травматологии и ортопедии. У него была, как можно догадаться, нетитульная фамилия, и для карьеры пришлось писать диссертации сначала своему начальнику, а потом себе. Он жил один в трехкомнатном кооперативе и вечером после операционного дня расслаблялся поллитром. Операционных дней было четыре в неделю, а в выходные он расслаблялся с утра, чтоб почувствовать отдых.

— Ты не знаешь этих латышей, — сказал дядя. Он охарактеризовал латышей, и земля не перевернулась.

— Что тебе надо в их издательстве?.. — презрительно сказал дядя. — Они же печатают только своих. Они тут

все фашисты. Если ты фашист — они не напечатают тебя, потому что по партийному билету они коммунисты. А если ты коммунист — они не напечатают тебя, потому что в душе они остаются фашистами.

Я выразил сомнение. Дядя был экстремист. Он отвоевал первые полтора страшных военных года и был демобилизован по инвалидности. Правая рука у него поднималась как раз до уровня вонзить скальпель и выпить рюмку. Этой правой рукой он показывал матерный жест в адрес всех.

— Я еще удивляюсь, почему ты не уехал, — сказал дядя. — Я говорил с твоими родителями, они ничего не понимают. Я думал, может быть ты умнее. Кто тебе даст в Риге спокойно печататься?

Приближалась Олимпиада-80 в Москве. Говорили, что после нее прикроют все возможности выезда. Оказалось, что дядя собрался валить. Советская власть его достала.

— Я специально купил эту квартиру, чтоб им отдать, когда буду уезжать. Гараж купил, машину поменял на новую. Всё заберите! Ничего больше не хочу. Их же интересует захватить. Тогда отпустят.

Он стал диктовать мне какие-то справки. У него уже развивалась мания преследования, он боялся заполнять бумажки собственноручно на случаи воображаемого следствия и суда. Я перебирал его архив. В сорок втором он был старшим лейтенантом и командиром полковой разведки. Красная Звезда, Отечественная Война и три нашивки за ранения.

— Я тут недавно вставлял новый хер какому-то их великому писателю, — сказал дядя. — Что ты так смотришь? Ты не знал, что мы это делаем? Ну да. В прошлом году я чинил хер самому генералу Епишеву. Это начальник Главпура, ты слышал?

Дядя удлинял и выпрямлял ноги. Он придумал способ, еще учась в мединституте, еще не кончилась война. Собственная раненая рука болела, не работала и донимала.

В сорок седьмом он обосновал возможность приживления костного консерванта — фрагмента кости от трупа.

— Где ноги, там и между ними, — сказал дядя. — Я тебе объясню. Берется пластмассовая пластинка. Представь шкурку от банана.

Мы распили литр, и он позвонил в клинику. Заставил вечером перерывать карточки, и ему нашли фамилию знаменитого писателя. Тогда он потребовал телефон.

Мембрана была сильная. Писатель заговорил по-латышски.

— Только по-русски! — рявкнул дядя. И пояснил мне в сторону, не снижая голос: — Я этого не люблю.

Он поставил писателю задачу. После этого я мог уже не беспокоиться о карьере в Риге. Пусть только дядя уедет — меня навестит лесной брат с ломом.

Потом к дяде пришла проститутка, и он попросил меня погулять.

— Она спросила, будешь ли ты тоже, ты слышал? — спросил он, скрывая легкую ревность. — Позвонить, позвать тебе тоже? Ты еще маленький, иди!

...Я пришел в издательство «Лиесма» с похмелья. Знаменитый латышский писатель их проинструктировал. Меня приняли с ледяным радушием. Прочтя приложенную рекомендацию от газеты «Советская молодежь», составленную Полоцком в уклончивых выражениях и подписанную всего лишь заведомо под фамилией главного редактора с палочкой, дама-издатка благожелательно кивнула.

...Ровно через два месяца, с обстоятельной рецензией, мне вернули мое добро в обоих экземплярах.

* * *

Виталий Иванович Бугров заведовал отделом юмора журнала «Урал». «Урал» выходил в Свердловске. В Свердловске было издательство СУКИ. Аббревиатура неформальная, но реальная: оно называлось Средне-Уральское Книжное Издательство. Все пошучивали, но сотрудники иногда злились.

Виталий Иванович любил фантастику. И печатал ее под маркой юмора как мог. А мог мало. Две с половиной странички на рассказик в номер. Но еще там иногда составляли сборники. В которые я-то, разумеется, не попадал.

Виталий Иванович любил командироваться в Ленинград. И дружил с Евгением Павловичем Брандисом. Который любил меня. Но тоже как-то не мог вставить меня в свой сборник. И решил вместо этого вставить меня в чужое издательство. Он был добрый человек.

Брандис позвал меня в гости. В гостях уже сидел Бугров. И Брандис взял у меня из рук две папки со сборником и передал в руки Бугрову. И Бугров, тихо и приятно улыбаясь, сказал, что все знает. Евгений Павлович меня очень любит. А Бугров очень любит его. И его друзей тоже. И отдаст сборник в издательство. И попросит своих друзей там быть внимательнее. И надеется. Хотя не сразу.

Это было серьезно. У меня слезы в горле встали.

Я пришел принарядившись. Я принес три цветика для жены Брандиса. Я надел джинсы. Я надел их в первый раз. Это были вообще мои первые джинсы, не джинсовый я был, из другой корзинки. Это я был вчера у старофиктивной жены чаю пожрать, она после нашего разезда тоже в центре, естественно, жила, а там пара фарцы, как обычно, и они мне продали джинсы в долг до осени, под заработок и ее гарантии: сами предложили.

Со слезами в горле я сел за стол, взял из рук жены Брандиса Нины Павловны чашку чаю и вылил на колени. Если честно — вылил гораздо выше колен, не хочу хвастаться. Вылил, выпучился и зашипел, блюдя правила хорошего тона.

Кипяток мгновенно впитался в новые джинсы. Я сначала пошипел. Потом опомнился и поставил проклятое блюдце с чертовой чашкой на стол. Потом похлопал рукой по бедрам. Мне дали салфетку. Я стеснялся конфуза. Я промокнул салфеткой мокрые горячие джинсы.

И крахмальная полотняная камчатная тугая салфетка стала синей. Я поймал взгляд хозяйки, и только тогда встал. До этого я старался делать вид, что в аристократическом чаепитии ничего не произошло.

Я встал, отодвинув стул. И как бы незаметно пощупал джинсы сзади. И только тогда поглядел на стул.

Это был вполне дорогой гарнитур. Мягкие сиденья стульев затягивали белые чехлы. И вот на этом белом чехле синей джинсовой краской контрастно и плотно отобразилась моя задница.

Ну. Это были голубые линяющие джинсы. И они были нестиранными. Первый смыв краски. И сразу кпятком. И в плотный отжим.

Я поспешно содрал чехол, хотя торопиться было уже некуда. И содрав, увидел, что торопиться точно же было некуда. Там было красивое такое плюшево-бархатное сиденье, такое бледно-бежевое с розовыми яблоневыми цветочками. Так оно по краям было бледно-бежевое с цветочками. А в середине отпечаталась моя синяя задница.

Меня отвели в ванную, дали в руку включенный фен, и я обсушился. Изуродованный стул убрали с глаз. Но из сеанса всеобщей любви исчезла какая-то нотка безмерной искренности.

И как-то сразу стало понятно, что никакие СУКИ меня не напечатают, и, честно говоря, никому это особенно не нужно. Душевная сцена помощи бедствующему молодому писателю была испорчена.

...СУКИ мне ответили в том духе, что тамбовский волк им не земляк.

4. Дорога к Датскому Холму

Илья Муромец и Калевипоэг встречаются на холме, обозревая дали из-под руки.

— Смотришь, где тревога? — солидарно спрашивает Илья Муромец.

— Сдесь, — отвечает Калевипоэг. — Смотрю, где хо-рошо?

— Там хорошо, где нас нет...

— Фот я и смотрю, где вас нет.

В Таллине жила наша скороходовка Алка Зайцева. Она успешно заведовала отделом партийной жизни в «Молодежи Эстонии».

Ее достал Ленинград, а в Ленинграде достал муж. Ев-рей преподавал русскую литературу зэкам в советской тюрьме. Черный символ ситуации искажил его психику. Неврастеник страдал истерией, принимая ее за миссио-нерство гуманитарного ума. Он хотел в Америку, а Алка хотела повеситься. Она развелась, убралась, расслабилась и повысила статус.

Я приехал в гости, предупрежденный о чистоте, изо-билии, покое и западном образе жизни. И навестил с улицы издательство «Ээсти Раамат».

Редактор походил на Владимира Путина эстонского разлива. Светлый, невысокий, негромкий, аккуратный: ничего лишнего. Он принял для прочтения мою руко-пись, и темы разговора иссякли. Приятного человека зва-ли Айн Тоотс.

Впервые в жизни я видел и пил сливки. До этого я думал, что сливки — это литературно-салонное назва-ние молока для кофе и кошек.

Дом Печати меня поразил. Там был не буфет, а бар. Причем на первом этаже, прямо из вестибюля, и пройти мог любой, без пропуска и удостоверения. Средь бела дня — в баре был полумрак, звучала тихая мелодия с маг-нитофона: и наливали коньяк! И тут за стойкой зазвонил телефон — и кого-то из журналистов барменша позвала к трубке!!!

(Милые — в ту эпоху мы видали подобное только в кино про западную жизнь. Это было изящно... стиль-но... хрен знает как процветающе!!) Этот телефон меня добил.

— Тебя сюда возьмут с распростертыми объятия-ми, — заверила Алка. — Ты не представляешь, какие

здесь мудаки, ой, извини. Я сказала про тебя главному, что ты делал в «Скороходе», он тебя уже хочет, пойдем — представлю.

Я не собирался работать в газете, и нигде не собирался. Но на первое время, да и знакомых здесь нет. Мне захотелось полгода показать класс в этом чудесном доме. Кабинеты были на одного-двоих, полированные столы и отдельные телефоны.

Я попробовал сладкий и вязкий 44-градусный ликер «Вана Таллин» и закусил копченой колбасой. Накатил еще пару соточек, и Ленинград приблизился на расстояние вытянутой руки.

Я вернулся в кресло сидячего поезда. Билет стоил шесть рублей — как общий вагон. Обрыдли мне к тому моменту общие вагоны, слишком много я в них накатался за свою жизнь. Поезд ушел в полпятого и вкатился в Ленинград к одиннадцати вечера: да меньше семи часов чтения, курения и дремания!

...Дорогие мои. Через какие-то три недели. Я получил обратно бандероль-пакетище со своими двумя папками. Вполне равнодушно разодрал обертку. Я отупел от проб и обломов, кончалось лето, я никуда не поехал, денег не предвиделось! Я сплывал по течению. Надо разгрузить психику, не думать, плевать, осенью к морозцу заварим еще что-нибудь. ...ТАМ БЫЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ.

Я получил первый в моей жизни положительный отзыв.

Там не отмечались бегло такие достоинства, как, но наряду с этим пока такие недостатки, которые, перечисление и сожаление по поводу, что пошли на фиг. Там не отмечались к сожалению такие недостатки, как, хотя есть и несомненные достоинства, но, пока, не позволяют, будьте здоровы. Нет. Там ровно и спокойно говорилось о достоинствах, среди которых есть несомненные, а есть и редкие, и отмечались удачи и находки, и хотя отдельные недостатки вот здесь и вот такие имеют пока еще место быть, но:

«Предоставленный Вами для ознакомления издательству проект сборника рассказов дает нам все основания надеяться, что в самом ближайшем будущем мы сможем получить от вас яркую, интересную, талантливую книгу.

Желаем Вам новых успехов и ожидаем сотрудничества.

Старший редактор
редакции русской литературы
издательства «Ээсти Раамат»

Айн Тлоотс».

Я был осведомлен о корректной эстонской сдержанности. Нежнее таких фраз может быть только поцелуй и секс на редакторском столе. Это было «Да». И не просто «Да», а сопровождаемое взглядом в глаза и пожиманием руки. И ничего личного!

Сидел я за столом, курил, и все перечитывал и перечитывал.

5. Подъемные

Соседи меня невзлюбили. Я не ходил на работу! Я исчезал на месяцы и полугоды неизвестно куда. Писал неизвестно что. И принимал веселых друзей.

Но главное. Я был беден. И в душе строгих нравов. Поэтому у меня не было тапочек для гостей. В частности, женских тапочек. Поэтому соседи просыпались ночью. Вдоль коридора до туалета раздавался цокот подкованных шпилек или перестук сапожных каблучков, словно там пробегала боевая лошадь, заболевшая луна-тизмом.

Меня посетил участковый и поинтересовался работой. Я был умный и предъявил справки о весенне-летне-осенних работах и заработках. Участковый предупредил о постоянной работе и более чем двухмесячном перерыве в стаже.

В результате я устроил на работу свою трудовую книжку. Она пахала на фабрике музыкальных инструментов имени Луначарского. Я числился там шелкографом аж пятого разряда. Закрашивание кружочков вокруг гитарных дырок и тому подобное.

Реально кружочки наносила семья Хейфецов. Отец и два сына, все семейные. Работа на дому. Плотный шелк натягивается на пяльцы-рамки, покрывается восковым составом, кисточкой с растворителем рисуется этикетка или что там — потом прокатываешь валик с краской, и сквозь протравленный рисунок краска переходит на фанеру или что там музыкальное.

Совмещать много работ при сохранении стопроцентных зарплат закон запрещал. Хейфецы много работали и много зарабатывали. И искали безработных знакомых для фиктивного трудоустройства. О подлоге обычно знал только директор предприятия и главный технолог. Технолог передавал им заказы и принимал готовую продукцию, благо пачка шелка компактна.

А я получал деньги. Дважды в месяц я расписывался в кассе за аванс и получку и отвозил деньги тому, кто их, собственно, и заработал.

...На безумных радостях и в преддверии больших хлопот, я взял из только что полученных ста пятидесяти рублей десятку. На жизнь и праздник. Я просто одолжил ее без спроса. Завтра я отвезу деньги и попрошу на недельку в долг то, что уже взял. Ну не откажет же!

Завтра я позвонил, и меня попросили приехать через два дня. Через общих знакомых я узнал, что там решались проблемы. Они валили всем кланом. Три поколения. Дети, вещи, легализованные дипломы, багаж и деньги, ценности и валюта, и балерина Кировского театра Любка Хейфец.

Через два дня мне было не в жилу, и я перезвонил насчет понедельника. А им было не до меня. А я потратил еще пятерку.

Короче, они так и свалили без этих денег. Я прожил их с нехорошим чувством. Что ж такое. Не привыкли

мы так. Общие знакомые меня успокаивали. Они рассказали про прием наших эмигрантов в Венском аэропорту, бесплатные гостиницы, лагеря под Римом в ожидании американских виз, дареные блоки сигарет и бесплатную малопоношенную одежду от итальянских производителей.

Больше я про Хейфецов ничего не слышал. Книжку мою в отделе кадров уволили. Сто пятьдесят тогдашних рублей реально весили на четыреста пятьдесят долларов 2006 года. Если кто из них это прочтет — с меня пятьсот баксов и кабак.

...На эти деньги я несколько раз ездил в Таллин и обратно, и вообще жил, пока не переехал.

Интермедия. Идет съемка

Старушка за стенкой сбрендила и поменялась. Ей чудилось, что я жарю в комнате мясо, и чад душил ее астму. При упоминании жареного мяса я возбуждался и орал. Интеллигентка нюхала трубу котлетной, выходящую в наш двор. Труба выходила и раньше, но невыносимой чуткости чутья она достигла лишь в восемьдесят.

Тихий люмпен-алкаш в ее комнате позвал меня к телефону. И меня пригласили на встречу поклонники!!!

Их тонваген стоял перед Русским музеем. Московская телегруппа снимала сериал о живописи. Они жили в гостинице и пили по вечерам с ленинградскими друзьями. Друг развернул коньяк, и директор группы Недда Карамова прочла на мятой газете: «Идет съемка».

— О! — сказала Недда и прочла дальше:

«Начинается съемка. Приходит директор картины и принимает валидол. Ждет рабочих, идет на поиски».

— А-а-а!!! — завопила в восторге директор Недда и заставила слушать всех.

Друг оказался немолодым инженером из семинара Стругацкого, и дал им телефон хорошо знакомого автора.

— Мы будем вас поить и носить на руках! — перекрикивала Недда в трубку звон и веселье.

И на завтра они приняли меня в своем тонвагене. Напили коньяком, накормили ветчиной и показали по никогда не виданному мной видеоманитофону японский боевик «Возвращение леди карате». И все это время чудесные и глубоко культурные люди беспрерывно говорили мне справедливые и приятные слова.

Это была моя первая встреча с читателями. И мой первый гонораро-банкет. Если не считать семнадцати рублей мелочью в полиэтиленовом мешочке, который мне вручили как премию в семинаре за «Кнопку»: все голосовательные монетки — победителю. Буфетчица изменилась в лице, когда я за всех расплатился ими внизу.

6. Обмен

— Но вам тогда придется переехать из Ленинграда в Таллин, — мягко и выжидательно сказал Айн Тоотс при первом разговоре.

Ну-ну. Разговор я начал с того, что именно переезжаю в Таллин — работать в «Молодежи Эстонии». Профессионально расти. Приглашен. Старая дружба двух редакций, скороходовская гвардия. Айн видел эту игру насквозь и понимал условия. Вот и переспросил всерьез.

— Раньше мы еще могли издать автора из России, — пояснил Тоотс. — В виде исключения. Но в последние годы руководство решило эту практику прекратить. Тут вам немного не повезло, если вы хотели по-прежнему жить в Ленинграде.

А то я не знал. Много вас понабежит таких из Ленинградов и Москов на наше маленькое издательство. А оно для того, чтобы издавать нас.

Ага. Место есть, но ложиться надо завтра. Жить тут. Для этого надо — где жить и на что жить. Скоро осень, пампасов нынче не было — было устройство книги

и жизни. Нет денег. Значит, надо идти на работу. А для этого нужна прописка. Ну и так далее. Переезд.

Накупил я газет в Таллине и газет в Питере, и зарылся в объявления.

Это отдельная эпопея — квартирный обмен советской эпохи, да еще между двумя городами. Но вот это колыхало удивительно мало. Плевать, абы жить было где. Хором не будет, а исполнение всех желаний впереди. Время — золото.

Я жил у Алки, и в три дня объехал десять мест. Мои восемь метров в Таллине тянули на приличную комнату.

...Я вошел в ту двухэтажную деревяшку — и мне стало хорошо сразу. Здесь дышалось легко — здесь жили люди, любившие дом, и жизнь, и легкие радости. И комнат было целых две! — пусть смежные и небольшие. И окна второго этажа на деревья и кусты. И нормальная ванная! — правда, с дровяной колонкой, но колонка та грелась через ход трубок прямо от кухонной плиты. Это хорошее чувство — тыходишь в свою квартиру, где жить будет хорошо.

...Я поселился рядом с Ленинградом, чуть в стороне. На короткое время. Пока книга выйдет. А там? Всего наперед не просчитаешь. А там — пройдем главный этап. И будет видно.

7. Мне накопили строчки

Мои книги уложились в две картонные коробки. Пальто с шапкой и костюм с рубашкой болтались в чемодане. Машинка в футляре и портфель рукописей.

Я отодрал от стены оленью шкуру, и армада моли вылетела сквозь сетчатую изнанку. Шкаф, стол и стул я раздал по друзьям. Безногую тахту мы вынесли на помойку.

Плед на окне был завязан сыромятным ремешком-тороком от моего скотогонского седла. Я развязал калмыц-

кий узел и сунул ремешок к вещам, а плед расползся в руках.

Комната опять сделалась большая и светлая, как годы назад в первый день.

Я один провел последний вечер.

Когда стемнело, я вынес во двор к мусорным бакам толстую, разрозненную пачку бумаги. Это были мои отказы, и было их двести две штуки. Я положил их на грязную жесть крышки, прикурил и той же спичкой поджег уголок. Я хотел курить и смотреть, как они горят. Но плотно сложенная бумага не горит, я их пожег лист за листом, а потом просто скинул внутрь, в мусор.

Назавтра было воскресенье, и мы пропили отвальную, сидя на полу и подоконнике. Перед первым тостом я сунул палец в стакан и стряхнул по капле через левое и правое плечо и перед собой: духам дома.

«Да, так счастлив, как в этой комнатке, ты уже никогда не будешь», — сказал голос. Я помню, чей это голос, и он сказал это с любовью и тоской.

Ленинград.

«За семь лет все клетки человеческого организма обновляются полностью?» — писал я семь лет назад в «Бермудских островах».

А потом брат и друзья внесли меня в сидячий поезд, и я знал, что вернусь на выходные. Я еще долго возвращался на выходные.

Путевой итог

Мне был тридцать один год. И я создал свою новеллистку.

Не было ни у кого таких рассказов.

Это лучшая короткая проза на русском языке за последние десять лет, сказал я себе. И я отвечал за свои слова.

Никто из тех, кого я читал и кого встречал лично, не знал о короткой прозе столько, сколько я. Никто не вы-

плавил на короткой прозе столько нервов, сколько я. Никто не работал над короткой прозой так много, так долго и тяжело, сколько я. При том, что мне давно не стоило ни малейшего труда писать легко и бесконечно опусы, классом выше или много выше тех, что считались текущей литературой.

И они хотели поставить меня во второй ряд. Поцелуйте себя в зад.

Я уеду в Кушку, и Уэллен, на Диксон, но я буду печататься. Я все равно издам мою книгу.

Меня не интересует писать то, что считаете литературой вы. Все ваши мнения — заемные. Ваши умственные способности заслуживают презрения. Признаком ума вы полагаете повторять то, что принято говорить в среде, правилам которой вы подражаете. Лишенные природой оригинальности сами, вы не воспринимаете ее у других, считая оригинальничанием. Вы быдло, отличающееся от массы поверхностной панорамой образования и уровнем интеллектуальных амбиций.

И это вы, быдло, будете оценивать меня? С какого бы хрена? Ну — выходи: померимся: ты больше знаешь? ты больше умеешь? больше читал? ты больше пережил? ты больше работал? Я справлюсь с твоей работой — а ты с моей справишься? Встанем рядом: ты что, говоришь лучше меня? Сядем рядом: ну-ка, задайте нам опус на равных параметрах — ты напишешь лучше? хочешь — легче? хочешь — смешнее или печальнее? хочешь — быстрее? хочешь — притчу, драму, боевик?

Они не видят, как это написано. Не видят, как это построено на много слоев в глубину. Не слышат звучания слов за видимой обычностью фразы. Не отличают звон бронзы от стука пня.

Я мечу бисер перед свиньями.

Ничего. Чем больше ты делаешь — тем сильнее встречное сопротивление среды. Они все равно ничего не понимают — так в конце концов просто поверят.

Они хотят замолчать меня. Выдавить вон. Поставить ниже собственного уровня. Воткнуть в ряд и классифи-

цировать как заурядность. Рассказывать друг другу, как талантливы они сами и равные им. Ну что ж. Если ты чего-то стоишь — укажи быдлу его место.

Я тачаю шедевры. Они даже плохо понимают, что это такое.

Я имею право считать вас дерьмом. Я это право заработал. И работа моя — не чета вашей.

Теперь мы будем драться в Агре, сказала Лела.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вид с Датского Холма.

1. Укушенный тигром

Единственный человек, который помог мне устоять — эстонец Тээт Каллас. Это он сбросил мне перо с крыла своей удачи. Протянул весло своей лодки. Дал место под своей крышей. Рискнул своим благополучием.

Он был старше меня на пять лет, но в Эстонии этапы и сроки писательской жизни мерились другой линейкой.

Как раз той весной Ленинград и Москва читали «Черную книгу эстонской прозы». Черным был переплет, а проза называлась «современная». Это была живая хрестоматия новеллы, и от формальных изысков корчились наши секретари. В конце концов Москва вынесла вердикт: несоцреалистическое формотворчество есть национальная особенность советской эстонской прозы. И все успокоились. Националам кое-что дозволялось.

Ха. Ха-ха. Было Правление Союза писателей СССР. Реально его возглавлял Второй секретарь СП генерал КГБ Юрий Верченко. И там была Комиссия по литературам народов СССР. Это все, кроме русской. Русская называлась просто советской. Был в Комиссии комитет и по эстонской литературе. И пару лет спустя я лично слышал: как зампреда этого комитета, «консультант-куратор» по эстонской литературе Вера Рубер устроила публичную истерику редактору эстонского жур-

нала — он посмел напечатать стихи без знаков препинания! Этот отход расценивался как политический эпатаж!

Перевод рассказов на русский был очень слабый. Возможно, и оригиналы не слепили блеском неповторимого стиля. Но здесь был дозволен живой изыск. Мы здорово завидовали этой вольнице.

В «Черной книге» я впервые Калласа и прочел.

Он начал писать после армии. В шестидесятые книги выходили быстро. В двадцать семь Каллас был член СП Эстонии, известный талантливый молодой писатель, автор книг и неудержимый пьяница. Обаятельный жизнерадостный алкаш.

Его приглашали на выступления, и девушки слали записки.

Однажды его пригласили в зоопарк. Друзья острили — как экспонат головной клетки для приматов.

Каллас выступил в зоопарке, потом было чаепитие в дирекции, потом открыли коньяк, потом он стал путать, перед каким биологическим видом что следует проносить. Он потребовал у кроликов в вольере подарить ему на память вот эту девушку. Эта девушка подарила ему кролика, и он стал ходить с белым пушистым кроликом под мышкой, пытаясь нащупать у него бюст.

Увидев тигра, он сообразил, что для завоевания женщины необходим подвиг. Он нырнул под барьер, просунул руку в клетку и погладил тигра по морде.

Благим матом заверещал кролик. Каллас хотел сжать кролика и, перепутав руки, сжал тигра. Тигр дернул усами, класнул челюстью и откусил Калласу указательный палец. Брезгливо выплюнул и отошел вглубь, повернувшись задом.

Девушка взвизгнула и упала. Кролик взвизгнул, упал и удрал. Публика взвизгнула и стала толкаться, чтобы посмотреть. Каллас посмотрел на испорченные брюки, на краткий огрызок пальца, надел очки и выругался русским матом. Эстонские ругательства вялы.

Больше Каллас в цирке не выступал. В том смысле, что ему не понравился зоопарк.

Ему нравилось писать и пить. Он делил себя между этими призваниями. Однажды старушка-мать договорилась в издательстве, и получила гонорар за его книгу. На этот гонорар она купила ему трехкомнатную квартиру. В эту квартиру вызывали на дом приемщицу стеклотары. В Эстонии всегда держалась на высоте культура быта.

Однажды он пил в Доме Печати и увидел Алку Зайцеву. Он перебрался за ее столик и, не вступая в знакомство, сделал ей предложение. Предложение было отвергнуто, Каллас не стал вступать в пререкания и повторил.

Он повторял это года полтора и бросил пить, чтобы уменьшить паузы. Непьющий Каллас произвел на Алку впечатление. Она сменила фамилию, переехала к нему и стала вышибать собутыльников не хуже баронского арбалетчика.

Иногда Каллас по старой памяти запивал, Алка звонила мне за подмогой, и я приезжал пить вместе с ними. Надравшись до невменяемости, Каллас шел на подвиги, как запорожец. У него был нос боксера, уши борца и ломанные ребра.

Каллас прочитал мои рассказы и сказал, что не хрен было делать в Ленинграде писателю с эстонской фамилией Веллер. Пока моя старушка не освободила две меняемые комнаты, я буду жить у них, а они на даче.

И тут же напечатал в эстонской литературной газете, что собирается переводить лучших русских писателей Аксенова, Казакова и Веллера. Самое смешное что он в точности исполнил намеченное.

Это было первое упоминание обо мне в печати на серьезном уровне. Каллас взял надо мной покровительство.

2. Туены пера

Первым моим заданием в «Молодежи Эстонии» был очерк о глубоко выдающейся воспитательнице детсада. Я не пожалел пера и озаглавил его «Береги нервы, ма-

лыш!». Второй заголовок посвящался ударной парикмахерской: «Мастера на наши головы». Руководство усомнилось и решилось.

— Вот у тебя свежий ленинградский язык, — грубо польстил ответсекр. — Скажи, это хороший заголовок?

И показал мне статью «Наедине с фрезой». О фрезеровщике. Я не совсем понял и сказал, что лучше «Надвое фрезой». Он не совсем понял и спросил, почему. Я сказал, что это вроде Мцыри с барсом. Он спросил про Мцыри.

Я, наконец, огляделся по сторонам.

Здесь предпочитали писать материалы дома от руки и сдавать в машбюро газеты. Этот непрофессионализм поражал в презрительном смысле.

Условия работы были очень хорошие. Выйти на полосу — трудно: много газетчиков на мало места. Зачем газете журналисты, которых негде печатать? Зарплата советская. Результат: бесконечные кофепития в баре, болтания неизвестно где и иррациональные интриги.

Первые две недели я страдал в труде. Я давно отвык от условного языка газетной бессмыслицы. Проницать правду, препарировать правду и ограничивать ее в слова — газете противопоказано. Перенастройка рефлексов и навыков с писания серьезного на хрень газетную — было непривычно, мучительно и мерзко.

Писатель не может работать левой ногой. Тогда у него разлаживаются весы и хронометр внутри. Касание халтуры губительно. И дело не в языке. Отсутствует чувство сопротивления материала. Ты плывешь в облегченной воде. Прыгаешь при одной шестой лунной тяжести. И забываешь чувство настоящих нагрузок. А без них нет серьезной работы, озарений и их кайфа.

Каждый раз, когда ты опускаешь себе планку — ты уменьшаешь возможность будущих рекордов. Ты выдаешь меньше того, на что способен — и упускаешь сегодня возможность тренироваться в полную силу.

Мое подсознание бунтовало. Втекание в газетный конвейер было противоестественно. Умолчание, приукрашивание и передергивание в газете — как раз спица

в глотку литературе. Связь с Истиной заменяется связью с редактором.

Короче. Единожды солгав — ты ослабляешь тот нерв, подстегивание которого затачивает нюх на шедевры. Потому что шедевр — это точный сколок глубинной и одновременно панорамной истины. А стиль уже потом.

...Но дымить сигаретой над чашкой кофе в баре, пообедав горячим шведским бутербродом размером с книгу, и быть причастным к этим журналистским телефонным разговорам через стойку, и деловито перекидываться фразами о ЦК, командировках, гонорарах и подписании номера все-таки нравилось.

3. Финские диверсанты

Эстония постоянно находилась в зоне враждебного идеологического воздействия. Это накладывало дополнительную нагрузку на Партию и удручало до депрессии КГБ. Государственную границу и сознание граждан ограждал здесь не железный занавес, а какие-то решетчатые жалюзи. Эстония бесконтрольно и поголовно смотрела финское телевидение.

Финны в Хельсинки вещали и злорадно транслировали для себя. Но волны с вышки шли во все стороны, даже если стороны их об этом не просили. Семьдесят километров через Финский залив закодированная информация преодолевала за 7/30000 секунды, и сквозь антенны и декодеры отравляла советских граждан.

Официального запрета слушать и смотреть зарубежное радио и телевидение в СССР не было! Вы что, международные соглашения, цивилизованный мир, то-се. Радио — то просто глушили глушилками, покрыв сетью контридеологических ретрансляторов все обитаемые районы страны. А когда поставили телевизионную глушилку в Таллине, пропало изображение и звук в Хельсинки.

Финны пришли в негромкую финскую ярость и попросили объяснений. КГБ вырубил глушилку и натяну-

ло на антенну конструкторскую группу. МИД Эстонии переслал справку, что на эстонском телевидении пробило кабель и замкнуло на корпус генератор.

Через отпущенный заказчиком промежуток времени конструкторы дали КГБ новую глушилку с узконаправленным лучом. Луч направился в Хельсинки и вырубил финнам телевидение. Финны наябедничали в ООН, что Союз нарушает Хельсинкские соглашения, ограничивает права человека и препятствует свободе распространения информации, так они и это терпели, но теперь подверглись акту информационной агрессии и оказались под советским контролем и без собственного телевидения.

КГБ убрало глушилку, конструкторам показало кузькину мать, а финнов порадовало газетными снимками пьяных сотрудников финского консульства. Всех бухих финнов замели в два таллинских выпрезвителя и направили укоризну в финский МИД. А научный журнал дал статью, что скоро локальное и узконаправленное воздействие на волны определенной длины и частоты станет доступным ученым Эстонии, и явится их новым вкладом в радиофизику.

Радиофизики русско-еврейской национальности работали на скипидаре.

Тогда грянул скандал. И Москва протянула свою старшую братскую руку и вмазала дурному комитету по причинному месту.

Потому что тихие ядовитые финны раздобыли невесть где советский перспективный план. Но плану тому Таллин делался из полумиллионного города миллионным. А соотношение эстонского и русского населения в нем становилось из 1:1 в 1:3. Это решало демографическую проблему и способствовало идеологической стабильности. И позволяло наращивать экономическую базу, для чего и весь сыр-бор. Срок реализации — 20 лет. Уже сложившаяся тенденция — получи, фашист, гранату. И вот финики это в своих газетах шлепнули. И мир растиражировал.

Факир был пьян, и опыт не удался. Радиофизическую спецлабораторию срочно расформировали. Доложили наверх о мерах по исправлению. И перестали гнобить телемехаников, за 40 рублей ставивших приставки для финского звука. И тогда эти приставки начали предлагать прямо ателье за те же деньги. А изображение само бралось.

И мы смотрели классику мирового кино. И слушали рок-звезд и классический джаз. И принимали трансляцию с ведущих мировых сцен, от Ла Скала до Бродвея. И неукоснительно слушали вредоносные новости Си-Эн-Эн и Би-Би-Си.

У меня никогда не было телевизора. И не потому, что не на что купить. Но здесь имело смысл!

Здесь шел «Гамлет» с Полом Сколфилдом и с Лоуренсом Оливье, шли Беккет и Ионеско, крутили «Мост Ватерлоо» и «Доктора Стрейнджлава», танцевали Джинджер и Фред, дирижировал в записи Герберт фон Караян и пел живьем Лучано Паваротти. О черт! Да нам и не снилось.

...В предновогодний вечер я дежурил в газете, когда финское телевидение дало репортаж о введении наших танков в Афганистан. Оторопев, мы смотрели то, чего в Союзе еще никто не знал и видеть не полагалось.

4. Русская земля за шеломянем еси

Сдавал я некогда зачет по литературе народов СССР, и знал я достаточно фамилии Тамсааре и Смуула. Но знакомство началось сейчас.

Дрожащий от негласной информации Дом Печати мгновенно выдал, что исходная фамилия Смуула — Шмуль, и корень ведет к островному кабатчику. Это был, как можно догадаться, русско-еврейский источник.

В источнике эстонском струя журчала флегматичнее и основательнее.

— Мы маленький народ, поэтому нас мало знают.

А ведь «Весна» Оскара Лутса ничем не хуже «Тома Сойера».

Я открыл золотые россыпи, но «Том Сойер» оказался заметно лучше.

Пошел характернейший процесс. Я пропитывался мнениями об эстонской культуре в эстонской культурной среде. Друзья Калласа были музыканты и переводчики, а уж писатели и журналисты — так не носители, а творцы языковой культуры.

Потом я читал упомянутые и рекомендованные книги, въезжая в шедевры. И неукоснительно проезжал мимо, иногда просто в кочке застревал. Эстонцы видели свою литературу не теми глазами что я. Эта земля была их родиной, и эта культура была им родной: их воздух, их вода и хлеб.

Повозил журавль клювом по тарелке с манной кашей. Потыкала лиса морду в узкое горлышко кувшина. Что за пир задала нам сегодня госпожа Кокнар.

Русские газетчики в ответ на мои недоумения хмыкали. Так хмыкают носители высшей культуры.

— Ты что, всерьез относишься к этой чуши?

Русская культура «куратов» решительно презиралась. Хвалы ей просто входили в условия советской игры. Эстофобия была достаточно характерна. «Мы культурнее, значительнее, главнее и древнее, а они еще тут пытаются вообразить себя главными. Чужна, что ты хочешь». Полагавшие так люди сами по себе были никто, и в русской культуре были типа тундры или усредненной псевдо-интеллигенции.

Озлобленные оккупацией эстонцы в ответ поднимали на щит все, что могло иметь отношение к родной культуре. Летний певческий праздник был просто парадом «Еще Эстка не сгинела!». Любое проявление способностей приветствовалось и поощрялось. Любой, написавший картину, был художником. Любой, написавший книгу — писателем. Количество членов творческих союзов на душу населения было наивысшим в СССР и раз в шесть перекрывало пропорцию в России.

Четко очерченная зоилова мера. «Вот это наше — а вот это мировое». Два масштаба как само собой разумеющееся.

Братцы, подумал я, а разве у нас не то же самое? Вот это — наш русский гений, а вот это — мировой. Как несправедливо, что мир не ценит достаточно многих русских гениев. А вот зато этого и этого нашего гения ценят во всем мире! А некоторых типично наших гениев они там просто не могут понять! То есть: наш паноптикум, пардон, пантеон населен нашими гениями. А мировой — мировыми. Они там тупые, и по тупости плюс всякие исторические причины наших гениев оценить не могут, и лишают сами себя такой культуры! А-а-а!!! Зато несколько наших гениев одновременно и в нашем пантеоне, и в мировом!!! Мы гиганты.

Н-ну? И чем русский подход от эстонского отличается?..

Поистине, стоило переться в Эстонию, чтобы взглянуть на собственную культуру со стороны. Вот так я стал ревизионистом.

...Дорогие. Когда в Англии писал Шекспир, в России «народ безмолвствовал» меж Иоанном Грозным и Годуновым. Когда в Италии писал Данте, мы путано разбирались с татаро-монголами, которые то ли были, то ли что. Когда «там» были поэмы о Сиде и Роланде, Тристан и Изольда, кучи саг и сказаний, горы хроник и повестей, Нибелунги и Фаустусы, у нас есть одинокая наша гордость, «Слово о полку Игореве», на фиг не имеющее значения ни для какой другой культуры.

В 1830 году во Франции — работали: Стендаль, Гюго, Бальзак, Дюма, Мериме, де Виньи и прррррррррррр т.д. Не подобает ли нам известная скромность?

Наша школа имеет наглость сравнивать русскую литературу с «западной». То есть совокупно с: английской, французской, немецкой, итальянской, испанской вместе взятыми, ну а уж норвежская с португальской по мелочи вообще не считается. И уравнивать их по массе в нашем сознании. Приговаривая: возможно, там больше блеска, зато у нас больше души.

Больше чем у кого? У отца Горио? У Оливера Твиста? У Вертера? У Сольвейг?

Я выехал из России. В крошечную, соседнюю, полуасимилированную, но все-таки другую страну. С крошечной, вторичной, но все-таки своей культурой. И через условно-прозрачно-административную границу — взглянул на культуру собственную.

Бревно выпало из глаза.

Я навсегда перестал быть шовинистом.

Честный и справедливый человек все мерит одной мерой. А нечестный и несправедливый не может быть Художником. Маляром, кичменом, развлекателем, подражателем, — не более. Художник проникает Истину, а тут неумным, нечестным и несправедливым делать нечего.

5. *Круги судьбы*

В Тарту я был командирован. Собрав материал, побродил по шуршащей листве и вышел к университету.

Слышал я давно, что дед-то мой кончал именно Дерптский, он же Юрьевский, университет. Я спросил архив, а в архиве показал корку и попросил порыть насчет деда, если это возможно.

— Посидите, пожалуйста, — предложил вежливый тихий молодой человек. Через двадцать минут он принес мне два дела: — Сдесь тва по фамилии Веллер. Вам нужно одно или оба?

Я был потрясен скоростью и простотой. Немцы научили эстонцев содержать архивы.

Дед мой действительно кончил Юрьевский университет, как назывался Тарту Юрьевым в годы его юности. Я перелистывал тоненькие ломкие листки: прошения об освобождении от платы, разрешения на работу санитаром в университетской клинике и матрикулы оценок.

Второе дело было еще интереснее. Его отец, мой прадед, стало быть, кончал тот же университет, но еще

Дерптский. Во времена его студенчества и город назывался по-немецки, и делопроизводство в университете по академической традиции велось на немецком. (Многие ведь не знают, почему Ломоносов боролся с немецким засильем в Академии Наук. Потому что кроме немцев там никого и не было: еще Петр повелел, немцев на вербовали, и из них на ровном месте сформировали Академию по образцу европейских. Русских ученых еще не было за отсутствием русской науки.)

Ну, а при государе императоре Александре III, вскоре после воцарения, произошла русификация много чего в провинциях, город переименовали взад обратно через века в Юрьев, а немецкий язык русской науки по всей империи заменили на родной русский. Так я сумел прочесть дело прадеда за последний курс. Ничего нового — и этот из голодранцев: прошение сельского старосты за сына учительской вдовы.

Юный архивариус, забирая дела, сказал что-то по-эстонски, незаметно вздохнул и перевел в комплиментарной тональности, оттененной акцентом:

— Вы эстонский интеллигент в четвертом поколении, этто очень приятно.

...Через пятнадцать лет у меня обнаружится в Москве семиюродная тетка, и она съедет в Германию, и от нечего делать на пенсионном пособии начнет собирать родословную фамилии, некогда ветвистой, как рыбацья сеть на оленьих рогах. Немцы известные мастаки по сохранению архивов, мы уже сказали.

И в это же время мой неуживчивый дядька пересечет мир еще раз и обоснуется в Бремене, в своей последней хирургической клинике. И я его навещу под занавес XX века.

И давший фамилию предок наш обнаружится в матрикулах цеха кожевников вольного штадта Бремена, в XVII веке. Типично ремесленная фамилия: «Weller» — это «волногон», деталь для разглаживания и раскатывания кож в кожевенном станке; соответствие русскому «Кожемякин».

Тут задумаешься о влиянии генов на обыкновение долбить свое методично и аккуратно до определенного предела, а после его перехода в нестерпимое состояние — орать как бешеный унтер и строить по росту с приказом заткнуться.

6. *Тонкая красная герта*

Странно. Еще в восемнадцать лет я полагал, что правильнее и счастливее всего жить так:

До тридцати лет шляться по миру, пробовать все работы и менять всё, что можно менять в жизни, хлебая приключений; а в тридцать осесть в тихом городе и писать. Это в советских условиях было весьма трудно. Интуитивно я знал, что так и проживу.

Я не прилагал к тому никаких специальных усилий. Я делал что хотел и перся куда тянуло. И будь возможным издать книгу в Ленинграде — я и поныне жил бы в моем городе. И однако.

В тридцать один год я сел в Таллине. Правда, я не думал, что это затянется надолго. Издаться! А там — велики четыре стороны света.

Старушка моя с внучкой перетянулась наконец к дочери в Ленинград. И я вселился.

Комнатки были облупленные и ободранные. Но мне остались стул, стол, кровать и диван. Все старое, хилое, хлам без стоимости, но чистенький.

Можно жить. И окна на восток. Утро, солнце, сторона Ленинграда.

«Таллин» в переводе — «Таа линн» — «датский город» означает. Он же «Датский холм». Викинги его основали.

Потратив ночь, я натаскал со стройки кирпичей и купил у жэковского печника ведро глины. Развалил в комнате печь и стал строить камин. Раньше я не строил каминов, но хитрого тут нет. Еще в детстве мы складывали из кирпичей печурки и жгли в них щепки, тряпки в смазке и артиллерийский порох.

Здесь был телефон, и я заказал телефонистке Ленинград.

За три дня я соорудил отличный очаг. Дрова остались от старушки в сарае под окном.

Огонь обволок поленья и загудел. Хотелось жить и писать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дадим им кофоти!

записки бронбойщика



Видел — молчи. Слышал — молчи. Знаешь — молчи. Есть такой закон дороги. Привычка жизни тертых людей. Он еще в скитаниях Гиляровского описан.

Я тогда еще не знал, что люди, которые много могут на словах, не очень хороши в деле. А делают что надо и идут до конца те, кто мало любит говорить. Сказал Ситка Чарли.

Если ты ввязался в драку, смысл имеет только одно — выиграть. Все остальное — дерьмо. Сказал полковник Ричард Кантуэлл.

По их внешности и манерам невозможно было определить их роль в обществе и судьбу. Первый силач был пяти футов ростом, самый меткий стрелок был одноглаз, самый отчаянный громила имел ангельское лицо, а самый страшный с виду разбойник не обидел за жизнь и мухи. Брет Гарт понимал в счастье ревушего стана.

Из всех достоинств форварда Всеволод Бобров обладал главным: умением забивать голы: — подпись под фото в биографии.

Мастер единоборств всегда расслаблен. Только так весь взрыв выжжется в удар. Твердо, упруго и эффектно ходят пустышки-изображатели, имитаторы-киноактеры.

Посмотри на лица реальных суперменов, прошедших ад и делавших невозможное. Ты не увидишь квадратных подбородков, каменных скул и беспощадных глаз. Люди как люди. Любой из них мог обратить в панику всех киногероев Голливуда.

Быть, а не казаться. Римляне понимали толк в победе.

Твердое ломается, мягкое непобедимо. Мудр и вечен Восток.

Вот и я говорю, что устройство бронебойной пули (снаряда) нехитро и эффективно. Он сделан из мягкого податливого железа. И при столкновении с бронебойной преградой это железо сплюскивается в лепешку. Но внутри него был остrokонечный твердого закала сердечник из молибденовой стали. И теперь железная лепешка вокруг наконечника не дает ему скользнуть в сторону, срикошетить, отскочить. И бронебойному стержню ничего не остается, как вложить всю энергию нацеленного удара в проход сквозь броню, ковка раскаленную молотом вплюснутого железного шлепка.

Твердый и острый стержень упрятан в мягкий пластичный корпус.

Я прочитал это в детстве в большой и недетской книге «Танк».

Уже майором и врачом отец любил по старой памяти гонять по полигону сорокашеститонный ИС-2. Потом их заменили на пятьдесят четверки.

1. *Песнь разбитого корыта*

Еще сразу по приезде я сдал Айну Тоотсу готовый сборник. Разумеется. Перетасовал состав, сменил название. Это все не важно, в рабочем порядке разберемся (говорил он).

И пытался я ненавязчиво прознать, кому же он рукопись-то на рецензию отдаст? В Ленинграде пустить такое дело на самотек никому и в голову не приходило. Рецензию надо «организовать». Чтоб попало к кому надо, и отозвались как надо. Проинформировать, настроить, попросить, убедить, повлиять.

Меня предупредили: в Эстонии все иначе. Мы этого не любим. Попытки могут только испортить дело. Реакция возможна только негативная. Сиди на попе ровно.

Я удивился в приятном смысле. Но с недоверием. Мельком клялся, что мне и в голову не придет что-то пы-

таться предпринять. Но из любопытства: кому, все-таки, отдадите? «Влиятельному человеку, в его положительном отзыве я не сомневаюсь». Айн Тоотс, цвайн Тоотс, драй Тоотс. Не продавливался. Ну — вам видней, я вам верю. Этика! Чего ему меня обманывать, накалывать?

А когда? Я думаю, через месяц. Я вам позвоню.

Через полтора месяца он не позвонил. Позвонил я. И услышал мягкое: принятая правилами норма — два месяца плюс одна неделя на каждый авторский лист объема. Так что закон позволяет — месяцев пять спокойно. Но мы такого зверства вам, конечно, не предлагаем: потерпите пару неделек, хорошо?

Я перезвонил через три недельки, и Айн любезнейше попросил еще небольшую отсрочку. В ответ я решил злобно, что меня на эстонскую выдержку не возьмешь и мельтешить не заставишь. И выкинул срок из головы как можно дальше.

Делать было нечего, я все дни проводил в газете, и тут главный редактор стал прятать от меня глаза, а потом и все тело. Он избегал встреч настолько тщательно, что вскоре его перестал видеть кто бы то ни было. Он уехал в Москву и поступил в Высшую партийную школу.

И хрен бы с ним. Но он так и не оформил меня на постоянную работу. Я шлялся в качестве вольного стрелка, внештатника, и жил на гонорары. С отвычки от денег — отлично жил. Через пару месяцев меня оформили временно на ставку ушедшей в декрет машинистки. Сотрудники не были вынуждены печатать сами — там в машбюро еще три околачивались.

Донесся запах из ЦК сквозь журналистские щели: мои анкетные данные не вызвали восторга. Банкомет объявил перебор. В русской прессе эстонской столицы трудились: Цион, Малкиэль, Тух, Фридлянд, Левин, Рогинский, Скульский, Аграновский, Сандрацкий, Опенгейм, Штейн и Железняков Давид Абрамович. Укрепление национальных кадров Гукасяном и Кекелидзе не утешало идеологический отдел ЦК.

Новым главным пришла райкомовское инструктор,

похожая на Педро из романа Беляева «Человек, потерявший свое лицо»: вместо носа лицо центровалось туфлей, и на планерках туфля шевелила кончиком. А замом бегал миниатюрный комсомолец по кличке «мыш» без мягкого знака. Я много о себе мнил и не был обсахарен любовью руководства. Я ковал гвозди в номер и вообще знал лишнее и не прислушивался к советам. Подчиненный ни в чем не должен превосходить начальника.

Время тянулось, как сопля беспризорника.

Машинистка не имела никакой ответственности за будущее советской Эстонии. Она поехала с компанией в баню и родила в семь месяцев. При этом известии я от неожиданности назвал младенца недоноском. Разговор был в присутствии редактрисы. Когда я узнал, что она родилась семимесячной и с родовой травмой, я понял свою перспективу.

За отсутствием мужа и молока машинистка сдала своего кролика на попечение родителей и приходящей медсестры и отгородилась от материнских забот бессмысленной газетной трескотней. Редактриса радостно зашевелила своей туфлей и поздравила меня с выполнением интернационального долга: расчет в кассе.

И слава богу. Подошел срок издательской рецензии — по срокам даже морских черепах. На книжный аванс я без проблем доживу до лета. Я выпил за счастье свободы и позвонил эстонскому стрелку Айну Тоотсу.

— Вы можете приехать, — разрешил Тоотс. — Если хотите.

— Но рецензия уже есть?

— Да, вот недавно. Приезжайте.

Было в его приглашении что-то от вороньего эха.

Он вынул из шкафа две мои папки. Я взглянул вопросительно.

— Рецензия здесь, — подвинул он.

Я развязал папку и прочитал рецензию. В ней было шесть страниц. Нормально. Читаю. Еще читаю...

Отлуп полный. Полный отлуп!! Нормальный отказ...

Смотрю на идиота Тоотса. И он на меня смотрит.

— Вы проявляли нетерпение, — говорит он. — Поэтому я дал вам это прочитать. Я думал сначала решить вопрос... как мы думали...

— Так что же вы! Ведь я! Ведь все! — вырвалось у меня.

— Для нас это совершенно неожиданно, — покаялся он. — Мы были уверены, что будет иначе. Бээкман вполне объективный человек, обычно он доброжелателен...

Только тогда я прочел подпись. Конец всему. Владимир Бээкман. Заслуженный писатель Эстонии. Председатель Союза писателей.

— Ну что. Вербка за счет издательства, — сказал я.

2. Зимовка оккупанта

На Новый Год собрались из Ленинграда друзья. Мы жарили шашлыки в камине, варили пунш и гуляли по заснеженному лесу и замерзшему взморью. Потом уехали друзья и кончились деньги.

Одновременно кончились старушкины дрова, газ в баллоне и перегорела плитка. Меня деморализовало.

Я сделал «трактор». Два безопасных лезвия, три спички, две нитки. Лезвия складывают плоскость к плоскости, проложив спичкой между ними. И так же вдоль продольной оси — по спичке снаружи. Кончики спичек связывают ниткой. Теперь две проволочки — приматывают по одной к торцу лезвия с противоположных сторон. На концы проволочек можно примотать иголки и воткнуть их в любой провод, чтоб касались металла проводника. А можно, в гражданских условиях, примотать штырьки от штепселя и втыкать в розетку. А можно прямо проволочки совать в розетку.

Этим кипятивником я кипятил чай в чашке и варил супчик пакетиковый в старушкином алюминиевом ковшике. По ночам я крал ящики за магазинами и ломал на топливо. Ящики были не всегда. В холода я наваливал на кровать все имущество и вползал в нору, надев шапку на оставшуюся снаружи голову.

В наследство от деда мне достались шесть хрустальных бокалов. Я понес уцелевшие два в антиквариат, и они оказались стеклом.

Давно была продана трехтомная «История западноевропейской живописи» Мутера и «История русской живописи» Бенуа.

И давно был продан серебряный старый подстаканник с серебряной английской клейменной ложечкой. Это — с рабочего стола.

Вот тогда я возненавидел мир лютой ненавистью.

Вот тогда, макая газетный квач в бутылку черных чернил для авторучки, я вывел по драным обоям через всю стену:

Д а д и м и м к о п о т и ! ! !

И поставил дату. Для памяти.

3. Весна дебютанта

Весной станет теплее, и воевать будет легче, сказал Ривера.

Настал день, и мне позвонили из журнала «Ноорус» («Юность») и попросили фотографию и краткие данные. А?! Мы публикуем в этом номере ваш рассказ «Уход Чижикова» в переводе на эстонский Тээта Калласа. Чижикова? А. Ага. Это, значит, «Все уладится».

Я побежал в Дом Печати и назанимал рублей двадцать под гонорар в следующем месяце. А-а-а!!

Пробегая в коридоре мимо монтера, я спер у него отвертку, дома развинтил мертвую старушкину плитку, соединил перегоревший контакт и поставил на плитку чайник нормальным образом. А-а-а!!

Когда стемнело, я нагло спер из привезенных соседских дров две охапки. Я сидел у пылающего камина, пил водку, ел батон с сыром и колбасой, пил крепкий сладкий чай и курил беломор. Все можете сдохнуть!

И тут зазвонил телефон — прерывистым междугородним вызовом. Это был — с мягким слабым армянским

акцентом — Карен Симонян из Еревана. Главный редактор журнала «Литературная Армения». Они только что напечатали «Все уладится». Он узнал телефон у своего друга Брандиса: по какому адресу прислать гонорар?

Это была судьба. Я помыл на кухне граненый стакан. Налил стакан водки с мениском и положил сверху бутерброд с докторской колбасой, чтоб замók кружок на доньшке. Чокнулся с обещанием на стене, стоя выпил залпом и съел бутерброд. Судьбу надо уважать. Пренебрежение обижает Фортуны.

Гонораров было: двести рублей здесь и сто сорок оттуда. Это было серьезно!! —

4. *Вторая зачетная*

— Вы так не убивайтесь. Ничего не кончено. Ничего страшного, — утешал Айн Тоотс. — Выждите время, и через полгода-год можете подать в издательство другой сборник.

Я вылупил глаза. Откуда другой?

— Ну, в другом составе, — пояснил Тоотс. — Тот же самый мы уже не можем рассматривать.

Я ждал срока, как в концлагере ждут канонаду с востока.

Тээту Калласу я изложил издательские дела сдержанно. Каллас пришел в возбуждение.

— Какой Бээкман, оказывается, двуличный! — он крутил головой. — А мы недавно виделись на собрании, и я сказал несколько слов о тебе, и он так хорошо о тебе отозвался!.. — он негодовал.

Он стал писать письмо главному редактору издательства «Ээсти Раамат» Акселю Тамму. Он назавтра переписал, поправил и дополнил. Он убеждал и ходатайствовал, ручаясь и предрекая.

Через неделю он пошел к Тамму лично и усилил все в устной форме. Он нашел предлог позвонить Бээкману, с которым был в неравных весовых категориях. Блеснул талантом и патриотизмом и ввернул слова обо мне. Бээкман тему не поддержал.

Он отловил Бээкмана на собрании комиссии прозы.

— Слушай, не можем мы тут принимать сомнительных и талантливых ребят из России, — сказал Бээкман. — У нас маленькая республика, маленький Союз, маленькое издательство. Дела налажены для себя. Им только дай почувять — и повалят валом, в Москве от них спасу всем нет. Захлестнут! Ты что, разве можно.

— Но что же ему делать, его никто в Ленинграде не печатает! — разорвался Каллас.

— Пусть едет в Сибирь, — посоветовал Бээкман. Сам он вырос с семьей в Сибири: НКВД сослало.

— Кому он нужен в Сибири с фамилией Веллер! Он там жил.

— А кому он нужен в Эстонии, чтоб писать по-русски?

Первый фужер коньяку Каллас выпил прямо тут буквально из рукава. Продолжение в Союзе писателей знали слишком хорошо. Бээкман обещал нейтралитет.

...И настала ближняя граница срока, и я для вида якобы перелопатил сборник, и Тоотс его принял как сотоварищ и заединщик.

— Теперь мы примем меры заранее, — гарантировал он.

Я позвонил через два месяца. Они отослали книгу на рецензию в Госкомиздат СССР. Мне стал плохо.

— Зато в случае положительного ответа никто уже не посмеет нам ничего сказать, — привел хорошее Тоотс.

Я думаю, заповедь «не убий» верна не во всех случаях.

Оказалось, соломоново решение предложил Аксель Тамм как мудрый начальник издательства. Если Москва зарубит — кончен бал, гасите свечи: мы ни при чем. Если Москва — вдруг! — разрешит, то что бы потом этот Веллер ни выкинул, что бы про книгу его ни сказали — вот: Москва сама санкционировала.

Впервые в жизни я почувствовал себя в тупике.

Хана в том, что они загнали в Россию те самые рассказы, которые я из России увез, потому что там они пройти не могли. Да еще под моей фамилией. Да еще без малейших связей. Госкомиздат был органом бдительным и мракобесным. Моритури салютант!

— Это я неудачно зашел, — в помрачении процитировал я.

— Ну тут уж, вы понимаете, влиять на сроки мы бессильны, — развел руками Тоотс.

Выкинут?! Наверняка! Ни хрена!!! Сменим всем рассказам названия и через год подадим по новой. И приложим максимум отзывов, надо напрячься. И уже озаботимся окучиванием местного рецензента заранее.

5. Я вас науку любить жизнь!

Весь день я быстрым шагом ходил по улицам. Я думал и таранил впередистоящее время. Я пришел домой в час ночи, и я уже знал, что у меня рак. Рак горла.

В голове был воздушный черный ужас. В груди был холодный черный ужас. А вокруг было безнадежное отчаянье резко окончившейся жизни.

Оказалось, что смысл имело только одно — жить. Но это была слишком сложная мысль.

И это все?.. — спрашивал я себя, оглядывая свою хибару. — И больше ничего не будет? И я не увижу мир, и у меня не будет семьи, и я не обниму своих детей? О Господи!..

Горло — чувствовалось. Оно не то чтобы болело, оно слегка увеличилось и затрудненно чуть стучало, чуть шелкало глухо при глотании.

Я молился и причитал. Я не соображал ничего.

Собравшись с духом, я схватил гантели и эспандер. Надо было любым путем выжить, собрать в кулак всю волю и все здоровье. После часовой разминки я — в четыре утра! — полез в ледяной душ.

С рассветом я побежал в лес на пробежку. Я дышал как можно глубже и реже. Четыре шага — полный вдох, четыре шага — полный выдох. Я должен был победить. С усталостью бег успокаивал. Пока бежал и напрягался ритмично и без конца — было легче.

И тогда я узнал, что рак в боку. Слева в подреберье.

Там стало чуть стучать и глухо, осязательно, если прислушаться, шелкать при движении. Будто нижнее ребро задевало соседнее. Так и чувствовалось: задевает, цепляет и шелкает.

Я перешел на быстрый шаг и пришагал домой черный.

Надо было садиться на диету, очищать и оздоравливать организм, голодать. Я попил чаю без сахара и пошел ходить по улицам, пока не откроются магазины. Сидеть на месте было непереносимо.

В карманное зеркальце я поймал солнце и посмотрел себе горло. Там было отчетливое белесое пятно размером с ноготь. Я окаменел. Все было правдой.

В девять утра я купил мясной фарш, яблок и кефира. (Газ давно горел от трехрублевого баллона), я сварил фарш без соли и выкинул, а бульонпил чайными чашечками. Иногда я пил обезжиренный кефир. Яблоко, очистив, толоч в миске, размешивал кипяченой водой и пил жиденький сок-пюре. В перерывах между регулярными приемами пищи я непрерывно и быстро ходил, шагал, маршировал, мерил ногами пространство.

За несколько дней штаны стали свободными. Дырки на старом офицерском ремне показали, что я сошел до габаритов первого курса: килограмм шестьдесят пять. Это было явно полезно для здоровья.

В день вылетали две пачки беломора. Я курил, шагал, думал, думал, курил, шагал.

— Погоди. Ты что, болен? — спросил встречный знакомый по Дому Печати.

— С чего ты взял? А что, что-то заметно? — Мне резко поплохело.

— Да у тебя глаза совершенно больные.

— Это как?

— Да как-то запавшие, какие-то красные, вокруг черное, тревожные. У тебя что-то случилось?

Но заговаривать о моей беде было ни с кем невозможно. Был барьер, моя беда была глубоко моей бедой, касаться ее никто не мог. От касания могло быть хуже, и много хуже. Так была еще надежда, что все может обой-

тись. А если произносить вслух при ком-нибудь, то это уже всё становится подтвержденной реальностью. Приговором.

И был вечер, и я устал, и плевать на все, и подышать так с музыкой, и я взял бутылку, и не брал меня кайф, и добавил, и прихода не было, но проступило железо в скелете, и я сказал:

«Да ты что, вообще охренел!!! Что ты взял, с чего ты взял, какое что откуда???! Что за бред, ведь этого не может быть!!! А если и может??? Так все равно всем подышать! Так уйти человеком! Что за хамская паника, что за дерганья???!»

Я допил литр и вышел в ночь. Это была овердоза с диеты.

«Чего ты разнюнился, подонок? Что, страшно?! А ты как думал — это не для тебя?! Это не минует никого! Никого, будь спокоен! Что, себя жалко?! А ты вспомни тех ребят, которые погибли под пулями, в девятнадцать лет! Тех, кого сжигали на кострах! Кто умирал на плахе! Расстрелянных у стен! Задохнувшихся в газовых камерах! Они что, были не такими, как ты? Или не хотели жить?! Или не были моложе тебя?! Что, любил кино про героев, а сам чуть что — наклал в штаны?!»

Я рубил круги вокруг квартала и вбивал гвозди в сознание. Потом дома я сел за машинку и в одно дыхание отколотил пятнадцать страниц жесткого монолога. Вот такая получилась психотерапия.

В проблесках я сознавал, что ничем не болен, и это психоз. Но одновременно знал, что болен, и это знание ужасало. Мысль пройти обследование и либо успокоиться, либо срочно начать лечиться, отвергалась изначально: слишком жутко было подтвердить свое знание со стороны. Тут сразу делалось понятно, что мое знание — не совсем знание. А как только мысль о медицине отставляли — тут знание о болезни делалось достоверным.

Слово «рак» лезло в глаза из всех книг.

Я знал, что это называется «канцерофобия». Что это можно рассматривать как форму МДП — маниакально-

депрессивного психоза. Что причина — стресс, нервное истощение и неразрешимый психологический конфликт. Но знать — легче, чем победить и избавиться.

Задоставали меня гады. Не мог я разрешить свой литературный конфликт в рамках страны и государства.

И тогда я впервые сел писать не знаю что. Это был юноша, умирающий от рака. И железный мужик, крепящий его волю и сознание, — врач, но исцеляющий его не медициной, а бойцовским отношением к жизни. Это были две половины моего раздвоенного сознания, треснувшей надвое личности, хрупнувшего пополам характера.

Я написал двести страниц. Я выместил на бумагу все, что меня мучило и убивало. И мне полегчало.

Канцерофобия приступами пытала меня еще много месяцев.

Повесть стала первой частью *«Майора Звягина»*. Первым, кого встряхнул до стука зубов и поставил на ноги железный доктор Звягин, был я сам.

6. Пишите письма

В старом фильме о гонщиках Ив Монтан отвечает журналисту, как он ведет себя на трассе при аварии впереди:

— Я увеличиваю скорость! (Потому что другие сбрасывают, и можно их обгонять.)

Все, что не убивает — закаляет. При получении удара я активизируюсь. Это даже не стоицизм. Стресс ищет способ разрядки, адреналин требует деятельности.

Не теряя времени до следующей подачи книги в издательство, я стал рассылать мои рассказы знаменитым писателям и влиятельным критикам. В папку вкладывал два рассказа, чтоб излишне не затруднять; совсем коротких иногда два-три прилагал к одному большому. Ну хоть одну-две фразы-то положительные они напишут между любых поучений и обличений? Вот я их выдерну и процитирую подряд как выдержки из внутренних отзывов

маститых мэтров. И смонтирую такую сопроводительную справку для следующего варианта своих страданий. Прорвемся!

Я разослал папок тридцать. Из всех светил советской литературы мне ответил один. Виктор Астафьев.

Я писал ему в Вологду, а ответ через три месяца пришел из Красноярска. Переругавшись на старом месте, он переехал.

Я слал ему «Конь на один перегон». И аккуратнейшим образом получил обратно рукопись.

Письмо было от руки, фиолетовыми чернилами на обеих сторонах двойного листа в клеточку. И это было чертовски хорошее письмо. Самому цитировать похвалы себе — плебейство и жлобство. Повторяю:

Самому цитировать похвалы себе — плебейство и жлобство. Скобарская форма саморекламы. Похвальба заурядностей перед стадом своего уровня.

«Конь на один перегон» Астафьеву пришлось в жилу. Хороших и сугубо положительных слов он мне написал. И в заключение:

«Рассказ этот вы покажите в «Наш современник». Советую приложить к нему еще два-три, чтоб вышла подборка. Обратитесь от моего имени к Юрию Ивановичу Селезневу — дескать, Виктор Петрович очень хвалил и рекомендовал приглядеться. Бог даст, состоится публикация».

В конце был лиричный абзац о красивых местах и багульнике над рекой.

В течение дня я радостно переживал и писал благодарный ответ.

Назавтра я позвонил в «Наш современник». Юрий Иванович Селезнев, заместитель главного редактора, на прошлой неделе умер от инфаркта.

Сел я на стул и засмеялся шизофреническим смехом.

...Позднее мне разъяснили, что даже здравствие Селезнева до столетнего юбилея ничего бы не изменило в моей жизни. Они там таких как я не очень любили: секли под корень. Я не проходил тест на анализ крови.

Интермедия с черным ангелом

Белые ночи отвратительны для партизан и невротиков. Ни застрелить, ни заснуть. Мне снилось, что я лежу в кровати без сна, и меня вздергивал телефонный звонок, и я переходил из одной реальности в точную ее копию, только с молчащим телефоном, и пытался разодрать явь и сон, как слипшиеся марки.

Ревел танк на танкодроме, я сидел на месте стрелка-радиста справа от механика-водителя, мне было неожиданно просторно, это оттого, что я же был еще маленький, и пулемет в шаровую установку был вставлен — это было мое пистонное ружье, и поливало оно такими очередями, что срезались фанерные мишени, а я страшно мучился, что кончатся патроны, а ведь я сел, чтобы перестрелять издательство и Госкомиздат. Двигатель в корме взревел оглушительно: я вскинулся — по улице прогремел ночной мотоциклист.

И вдруг в белесых срединочных сумерках запорхало, зашуршало стремительно и судорожно, замелькало черной перепончатой молнией, гигантской бабочкой из адского сна! Кругами по комнате, задевая мое лицо! Почти задевая!

По кругу вдоль стен металась огромная летучая мышь.

Я смахнул с сознания остатки сна, подавил стон и панику, и принялся следить. Закурил и смотрел.

Мышь была не огромная. Нормальная. Но довольно крупная. С полагающимися серо-черными крыльями. Она металась зигзагами в ловушке комнаты. Она влетела в форточку, видимо, за мошкой. А форточка была почти в углу, и она теперь не могла найти выход своим ультразвуковым эхолотом. Описав круг, она неслась вдоль окон: впереди была преграда. А на подлете мимо форточки она начинала отворот на 90°, скругляя угол к следующей стене, и проем форточки попадал в ее мертвую зону. Она была в панике!

В конце концов она выбилась из сил и села, вцепившись в мою белую рубашку, висевшую на гвозде. Я встал

и осторожно взял ее в руку. Она оглядывалась и шипела очень тихо и тонко.

Она была теплая и крошечная. Крылья на ощупь были именно как кожа теплокровного существа, а загривок в мышинной бархатной шерстке. Она косила крошечными бусинками, а в розовом квадратном ротике оскалились четыре клычка тоньше любой иголки.

Но рыльце была свиное, дьявольское! И капля крови выступила на руке от цапанья коготка в углу кожного крыла.

Я выпустил ее в форточку. И ни черта потом не заснул. Нет, никаких символов. Но что-то в этом, знаете. Не полагается летучим мышам влетать в комнаты и там шипеть на хозяев и устраиваться на постой.

Знак ночи. Черная метка биологии.

Я не ощущал любви окружающего пространства ко мне.

7. Проскок

— Вы там хорошо сидите? — спросил Айн по телефону.

Я сел.

— Госкомиздат прислал рецензию на вашу книгу, — ровно сказал Айн. — Ну, что я вам могу сказать...

У меня остановилось сердце. С этим остановившимся сердцем я просипел:

— Ну уж скажите...

Ничего. Я уже знаю, как все организовать в следующий раз. С кем заранее наладить отношения. И на какую тему срочно отшлепать несколько ударных эстонскотематических рассказов.

— В общем ничего плохого. Как мы и ожидали.

— Что значит ничего плохого?

— Рецензия скорее положительная.

— Что значит «скорее»? — слетев с резьбы, раздраженно завопил я. — А медленнее?!

— Ну, я же спросил, хорошо ли вы сидите, — мягко сказал Айн. — Книга рекомендуется к изданию.

— Так, — тупо сказал я. — Понятно.

— Вы рады? — ревниво поинтересовался Айн.

— Пока да, — осторожно ответил я, внутренне страхуясь от любых подвохов.

— Может быть, вам интересно ознакомиться с рецензией?

Проклятый эстонский самурай с его садистской выдержкой! Да, вам может показаться странным, но мне интересно!

— Тогда вы можете приехать в издательство. Вы сейчас не заняты?

Ну не сука ли? Да — именно сейчас я занят, некогда мне читать всякие рецензии из Госкомиздатов!..

Боже мой. Это была лучшая рецензия в моей жизни. Разумная, добрая, внятная, честная. Я перечитал дважды, растягивая в невыразимом счастье.

— А кто такая Екатерина Старикова? — показал я на подпись.

— Понятия не имею, — легко пожал плечами мой Айн Тоотс.

Я боялся насторожить удачу замечанием типа «Не ожидал», или «Это даже странно», или «Я уже был готов к худшему». Но вообще я охренел в хорошем смысле слова. Не все даже положительные эмоции могут адекватно выразиться литературной лексикой.

.....

Через несколько лет, в Москве, я нашел адрес Екатерины Стариковой в справочнике СП. Я вошел в писательский дом у «Аэропорта», как коммунист Василев в заводские ворота (месс-менд!): просунув вперед руки с букетом, конфетом и прочим.

Открыла рослая красотка на грани возраста с домашним выражением лица. Есть женщины, у которых со вкусом прожитые годы ложатся на лицо печатью дружелюбного обаяния.

— Никогда в жизни мне из Госкомиздата не звонили, — вспоминала она за чашкой чая. — Единственный

раз — с вашей книгой. Что там у них случилось? Под рукой никого не было?

Я рассыпался, изливался и признавался...

— Помню, что мне действительно очень понравились рассказы, и я честно написала свое мнение.

Мнение. Честно. Милые мои. Не было таких мнений в те времена на тех дорожках! Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Бриллиант мне выпал в прореху Божьего кармана. В бандитском казино произошел сбой, и против вероятности шарик влетел в мой номер.

Ее муж заваривал чай и тихо улыбался. Маленький, лысенький, глазки умненькие, на лбу шишечка. Это оказался знаменитый Соломон Апт. Это он перевел на русский Томаса Манна.

8. «Рассказы 4000 знаков»

— Когда же можно рассчитывать? — спросил я, как трепетный жених.

Через два года.

Что ж. «Жюль Верн» Брандиса выходил семь лет. В России два года от приема книги до выхода были прекрасным сроком. Планы верстались на пятилетку, а книга маститого задвигала всю очередь.

«Он жил ожиданием». А чем мне было жить?

Работать всерьез в этом подвешенном состоянии было выше человеческих сил. Я сходил с ума и искал занятие. И нашел!

Неделю сильно болело застуженное на таймырской охоте плечо. Два часа за ночь я спал на полу, закинув руку: болеутоляющие не брали. Забрел в Дом Печати, я поспорил на треху, что напишу за сутки рассказ с любыми заданными параметрами и реалиями, но в пределах двадцати страниц. Я чуть не проиграл: печатать приходилось одной правой рукой, левая не работала. Зато отвлекся.

Писать стало чесоткой подсознания. В привычном переборе всех вариантов обнаружилась игра. В библиотеке

ке я просчитал юмористические рассказы в конце толстых журналов. Средний объем их был две с третью машинописных страниц.

Месяц я вложил в дивный тренинг. Я брал любой свой рассказ наугад — именно закрыв глаза! — и за день излагал его на трех-четыре-х страницах в юмористическом ключе. Второй день шел на чистку и шлифовку этой самопародии в объем две страницы с третью ровно. Это глумление. Профессиональный цинизм. Нервная разрядка. И еще это — школа.

Я разослал их повсюду! И меня напечатал добрый Бугров в толстом «Урале» и тонком «Уральском следопыте». Заодно я настругал впрок хохм к 1 Апреля и Новому году для эстонских газет и радио.

9. *Баллада о левой ноге*

Среди друзей Калласа был переводчик с русского, а среди друзей переводчика был работодатель — завхудлитредакцией эстонского радио. Радио вещало весь день, а число писателей в Эстонии ограничено.

— А у тебя нет радиопьес? — позвонил переводчик, и я его мгновенно удовлетворил. Сойдет и сюжетная авантюрная повесть: диалоги актерская пара читает на два голоса, и калькулируем это как радиоспектакль.

Так. Но есть заданные параметры. Все должно удачно разделиться на пять частей по двенадцать страниц. Какое поразительное совпадение! — у меня как раз такая повесть. Вот только я сегодня, через час, уезжаю по важным делам в Ленинград. Но в понедельник вернусь!

Я отключил телефон, чтоб ненароком не схватить трубку, и с подъемом запел: «Работники пера и топора, романтики с большой дороги!». Хулиганить полезно. Свободная охота со снятым ограничителем. Ассоциативные связи вспыхивают радужно, как салют.

Я вспомнил ленинградские мемуары летчика Богданова, и заголовок выстрелился короткой очередью: «Баллада

о бомбере». Первая фраза отскочила сама, звуча в унисон душе: «Человек уже полагает, что привык к любым неожиданностям, а как даст ему жизнь по мозгам — он все удивляется и нервничает». Жанр цыганского гадания не так труден, как некоторые думают. Шлепай мазком в центр листа любую рассуждательную фразу, расслабься, улови ноту, уцепи нить — и гони клубок куда хочешь.

5 дней × 12 стр. = 60 стр. = 250 руб.

Война. Я сбросил груды информации об авиации. Пассивное знание сделалось активным. «Ю-88» как ночной истребитель, левая педаль, планшет и дымовая шапка: а там ожили герои, и ожила война, и все закрутилось само: плюс дозы смеха, слез и красивых фраз.

...Я и сейчас удивляюсь, когда это воспринимают всерьез.

10. *Держи карман шире*

И шли месяцы, и облетал календарь, и не звонил телефон из издательства. Что, когда, как? Принятая вроде рукопись лежала мертво.

Зато деньги текли живо. Рубль оставался. Как обычно — один на всю оставшуюся жизнь.

Кошелек мне подарила бабушка на тринадцатилетие. Хороший, кожаный с латуной. Истерт, а исправен. И вот в магазине его в кармане не оказалось, и рубля внутри, естественно, тоже.

Суеверная мысль утешала, как могла: в нем не держались деньги, да много никогда и не было — уход спутника бедности не означает ли уход самой бедности?

Рубль я занял, а мысль о кошельке развивалась в комфортном направлении: неразменный рубль, кошелек-самобранка, воздаяние за неподкупную бедность. Хороший человек — это не профессия? А если профессия?

Мой коричневый кошелечек с облупленной кнопкой и латунной защелкой внутреннего отделения стал вознагра-

ждать за добрые дела. Чем добрей дело — тем выше плата. И хорошо стало маленькому человеку, его владельцу.

А потом плата стала расти неизвестно за что. А потом она стала пугающе велика! Испуганный человек ощутил удушливую зависимость! И чтоб переломить явно дьявольскую плату — стал специально творить зло! И кошелек платил.

Мои копейки вообще перестали меня интересовать. Я раскручивал золотого тельца, и стонал герой, не в силах сбросить ярмо кумира. Он бросил делать вообще что бы то ни было! Кошелек платил.

И вышвырнул он благодетеля с высоты в омут. И вернулся живой кошелек, и дал ему в морду, и приласкал его жену.

Три месяца. Тридцать страниц.

11. *Встреча на высшем уровне*

Раз в пару месяцев мне заказывали материал из отдела культуры русской газеты: молодежка, вечерка или «большая» — партийная. У них был процент на «авторские» — т.е. не своими сотрудниками написанные.

Оп. Интервью с Эме Бээкман. Ведущая романистка. Жена Владимира Бээкмана. Будешь? Думай. Вот телефон.

Подумал. Позвонил. Договорился.

Бриться и наряжаться я принципиально не стал. Еще не хватало выглядеть прогнувшимся.

И обедать в этот день не стал. Приглашение в дом на четыре: еда будет, чего хлебом набиваться.

Они жили в фешенебельном предместье. Я не нашел адрес. И, званый на четыре, злобно позвонил без двадцати пять, куда они провалились?

В Эстонии подобное возможно, только если звонок из реанимации.

Без пяти пять! Голубые елки за оградой, и мраморный дог между ними. Выходит к калитке хозяин во фрачной (клянусь!) рубашке с бабочкой, и выплывает на крыльцо хо-

зайка в маленьком черном платье от Шанель. И вместо цветка я сморкаюсь в грязный носовой платок: простужен я.

Они держались блестяще. Доброжелательность и простота. Льняная скатерть, серебряный кофейник, немецкие конфеты, финское печенье, американские сигареты: «Прошу вас!»

Закурил и я свой беломор. Кофе был отличный, жрать их заедки я не мог себе позволить, обед явно не предполагался. Желудок скрипел. От злобы я был особенно независим.

Первый вопрос был о борьбе с писательской бессонницей, и он родил подобие любви. Это было сугубо профессиональное интервью. На половину вопросов отвечал муж — Бээкман, и над пропастью первой вышибной рецензии он строил мост цивилизованных отношений. А я подавал стройматериалы в виде реплик и вопросов.

Через какое-то время мне позвонил Каллас и поздравил с тем, что я понравился Бээкману. Я ответил честно, что Бээкманы держались достойно. А вышедшее интервью неделю висело на доске редакции как гвоздь.

Больше меня в Союзе писателей Эстонии не репрессировали.

12. Туру

И стал день! И телефон зазвонил!

И со мной подписали договор на книгу! И выдали аванс! Тридцать процентов без потиражных из договорных десяти листов объема по начальной ставке сто пятьдесят рублей за лист. Четыреста пятьдесят! А за вот так, без пота и пахоты — а получите за ваши рассказы пока.

Пуганая ворона боится не кустов. Пуганая ворона боится мысли о том, что кусты вообще существуют. Суеверие давно поразило меня до корней сознания. Не кажи гоп, пока не ушел целым из прыжкового сектора. Выкидывали книги на любом этапе. Уже набранные рассыпали. Уже напечатанный тираж под нож пускали. И все знали примеры.

По мере приближения к цели нервное напряжение нарастает!!

А мой благодетель, взявший меня с улицы, из самотека, Айн Тоотс, по заключении договора провел со мной беседу о том, каковым надлежит быть рассказу. И я израсходовал на свое молчание еще изрядную долю терпения, отпущенную мне Господом на жизнь.

Сколько редакторов учили меня писать правильно!

...Я начал этот рассказ 31 декабря. Я уже давно работал в этот день до вечера. Мне это нравилось.

Я давно мечтал изложить все, что знаю и понимаю насчет писания короткой прозы. И класть такую тонкую рукопись поверх подборки рассказов. Для редакторов. Чтоб они прочли и прониклись. Что я знаю за короткую прозу. И пишу *«не такие»* рассказы не из серости. А потому что далеко ушагал за учебник.

И вот меня допекло. И я намотал все свои знания и воззрения на центральную фигуру условного рассказа: резонера, наставника и мэтра. А себя изобразил учеником.

И положил потом этот рассказ поверх настоящих, и отправил в московские редакции.

И пришел ответ из «Литературной учебы». Что какой прекрасный рассказ! Какой образ героя, старика-наставника, какой характер! Меня поздравили. Берем для публикации. Остальные рассказы страдают пока прежними недостатками. Скажите: а старик этот — кто?

Сидел я с открытым ртом: смейся и плачь. Вот тебе инструкция-предисловие. Да я его вообще за рассказ не считал. Я думал: они прочтут — и поймут настоящие рассказы...

...Два года — и напечатали! Вместо «Гуру» назвали «Учитель», портвейн и стервеца убрали, и т.п., — но напечатали.

И его многие, кто начинал тогда писать, помнят по этой публикации и поныне: инструкция по прозе, жесткий семинарий и практикум.

«А кто был этот ваш учитель?» Да никого не было!

Но что характерно: в Ленинграде два литератора старшего поколения скромно сознались, что это они меня учили.

13. *Московские гастроли*

На 9 Мая я стал ездить в Москву. И оставался дней на пять. Здесь укоренился в Ясенево университетский друг. На автобусе, метро и троллейбусах я успевал оставить свои рассказы в четырех местах, выпить в пятом на литературные темы и в час ночи впасть обратно на ночлег.

Забегая вперед: я делал это десять лет! Я надевал тщательно берегаемые джинсы, кожаный пиджак от цеха резинширпотреба Бакинского шинного завода, складывал рукописи в пластмассовый «дипломат» и тратил на гастроль не менее семидесяти рублей, включая билеты.

Я шел самотеком с улицы. За меня никто не звонил, и меня никто не знал. Я повторял себе: «У меня нет ничего, кроме качества моей работы».

...Они все кончились вместе с Советской Властью, в которой они так приятно устроились и которую они так благородно поносили.

Я уже не рассчитывал на успех и не огорчился отказами и отлупами. Я долбил на автопилоте и сбивал что-то рефлекторными толчками.

И взяли рассказ в «Юности», и раза четыре ставили в номер! — меня не было весь год, и он выпадал. И классик Сергей Палыч Залыгин взял меня в свой «Новый мир», но он был небожитель, и рассказ отодвинули навсегда вниз в отделе.

Какая все фигня по сравнению со Сталинградом!

Через десять лет! рассказ «Положение во гроб» прямо из «Огонька» переведут сразу на десяток языков: все будет уже иначе.

14. *Рандеву со знаменитостью*

И только в журнале «Знание — сила» завлит Рома Подольный, лысокудрявый гусар-колобок, проникся всякими чувствами к моим текстам и выкладкам. И решил сделать добро, взяв у меня интервью как у звезды семинара фантастов и представителя русской литературы в Эстонии.

Интервью! В журнале! Семисоттысячным тиражом, в СССР! А вот это, ребята, уже ступень!

И уж он меня спросил. И уж я ему ответил. И вылизано все было, свинчено и склепано, как рекордный экземпляр самолета. Мы оба понимали, что к чему.

Интервью долго не лезло, и в конце концов Роме его дали в руки взад обратно, не вдаваясь в причины. Он сокрушался мне в телефон и приезжал в Таллин поддерживать.

Да, я был уеден и взведен. Хрен вам в очи вместо земляничной поляны.

Ну так подавитесь. Я сам возьму у себя интервью. И сам отвечу. И сделаю это лучше вас. И сам напишу как хочу. И сам опубликую. В своем сборнике. Таким тиражом, как получится. Не суть важно. А важно — сделать так, чтоб это жило не день, как газета, и не месяц, как журнал. Нет смысла! Работать надо навсегда. А навсегда — это надолго... Интервью стало шириться за грани жанра.

Это был рассказ о достигнутом успехе. О часе славы и годах одиночества. О горечи изгоя и гордости избранника. О зависти и верности. О том, что есть гений признанный и непризнанный. На второй день работы пропавшее интервью перестало меня интересовать!

Никто не написал бы во взятом у меня интервью:

«Путь на вершину — это восхождение на Голгофу, а не на пьедестал. И чем выше вершина — тем тяжелее крест. Пьедестал памятника сделан из плахи таланта».

Интермедия о доносе

Если бы заглянуть в архивы КГБ. И почитать там увлекательнейшее, батеньки мои, чтиво. Доносы писателей друг на друга. В тридцатые годы, да и в последующие небезлюбопытно. То могла бы получиться потрясающая книга по истории советской литературы. Портреты мастеров слова в интервьюере.

И как вскричали бы негодующе адепты родной словесности о мерзавцах, посмевших замарать имена худож-

ников подлой публикацией! И осуждены общественным мнением были бы, как обычно, не сотворившие зло, но указавшие на сотворивших.

«...К политике КПСС относится критически. Допускает негативные высказывания в адрес высших руководителей государства. Советской идеологии не придерживается.

Ведет асоциальный образ жизни, постоянно нигде не работает. Существует на невыясненные доходы, позволяющие ему поддерживать постоянные контакты с эстонской творческой интеллигенцией и журналистскими кругами. Судя по внешнему виду и привычкам, не бедствует.

Разведен, морально нечистоплотен, склонен к беспорядочным связям.

В литературном творчестве стоит на позициях формализма и модернизма. Эстетические и идеологические установки Союза писателей СССР не разделяет. Советский творческий метод социалистического реализма отрицает в собственном «творчестве» и в публичных высказываниях.

В Ленинграде все «произведения» Веллера Михаила Иосифовича были категорически отвергнуты всеми редакциями, издательствами и соответствующими инстанциями...»

— Но ты можешь мне теперь-то сказать, кто это написал?

— Ну, милый мой. Утечка протухшей и списанной оперативной информации — это одно. А раскрытие агентурной сети — это уже совсем другое. Тут и срока давности нет. Чем мог — я уж тебя развлек. Могу только успокоить: коллеги, коллеги!..

Я узнал о чудной бумажке пятнадцать лет спустя в постсоветском бардаке. Русская секция Эстонского союза писателей была прекрасна вся. Кто из четырех? Один имел причину меня ненавидеть. Другой желтел от зависти. Третий, старый идиот, искренне блюл чистоту

рядов. Четвертый, умная старая сволочь, был осмотрителен и предохранялся от любой конкуренции.

— Пока выдерживали срок, пока по инструкции проверяли, пока писали запросы и получали ответы, — вот книжечка-то твоя годик лишняя и придержалась. Рутинка. А что ж делать.

15. Похвала космополита №1

По времени доносику предшествовала региональная говорильня: «Конференция русских писателей Прибалтики». Рига, Юрмала, Дом творчества, зима, снег, сосны, замерзший залив, отдельные комнаты и водка в баре.

Любой номер любого Дома творчества пронизан вибрацией похоти. Тыходишь: выпить и бабу! Для меня всегда оставалось загадкой, как там творят, и для чего там. Не успел я поставить на пол сумку, как в дверь постучала девушка с золотыми зубами и спросила про Гиви.

Меня вообще взяли для комплекта. Чтоб предъявить руководству из Москвы расцвет русской литературы в Эстонии. Спущенный состав делегации — двадцать рыл: а где взять?

Бессмысленные «семинары» и вечерние пьянки не стоят внимания.

Среди руководителей я встретил Вадима Ковского! — автора книжки «Романтический мир Александра Грина», которую я летом 69 купил на вокзале в Омске на последний рубль и читал до Свердловска. И с ним мы тоже надрались.

Но. Председателем конференции был знаменитый некогда Александр Михайлович Борщаговский. Друг юности Виктора Некрасова. Автор повести «Третий тайм» о матче в оккупированном Киеве между «Динамо» и сборной Люфтваффе. Фильм по нему знала вся страна.

Борщаговский был раньше театральным критиком. А после войны попал под раздачу. Борьба с «безродными космополитами» началась именно с кампании против

группы «идеологически чуждых» театральных критиков. Борщаговского выгнали отовсюду и просто не успели шлепнуть: Хозяин умер. Но. Он был первым по алфавиту, и стал, с легкой руки доверенных журналистов, «коспомолитом № 1». Во как.

Вот он, подводя итоги говорильни в заключительном слове, и повесил в воздухе меж паузы перечислений:

— Веллер, товарищи, может все!

И развил тезис в том направлении, что рассказы поразительно разные, прилагательное «блестящие» и ряд слов в струю. Из бедного родственника в заднем ряду калиф на час стал именинником. Я неосторожно расцвел лицом.

В Таллине русская секция прополола этот маков цвет, как смогла. Мне протянули руку дружбы и окунули в это в самое, «чтоб голова не закружилась от случайного комплимента». Секреты жгут писателей, они профессиональные выдавали на публику: все распри в секции мне с наслаждением пересказывали.

Ну, и как тут было не дать куда надо сигнал о тунеядце?

Интермедия. Писатель и власть

Мне нужно было от Советской власти только одно. Чтоб она провалилась к чертовой матери. Если хочет — пусть будет. Но пусть только оставит меня в покое. Все, что мне надо, я сделаю сам.

Да, я был пионером, юным ленинцем, и однажды чуть не заплакал, когда наш отряд получил за победу в соревнованиях Переходящее Красное знамя. Да, я первым в классе вступил в комсомол, и до третьего курса университета в моей учетной карточке не было места от благодарностей, а после подшили вкладыш и там не было места от выговоров, а потом я завязал. Да: кто не был коммунистом в двадцать — не имел сердца, кто остался коммунистом в тридцать — не имеет мозгов.

Как о высшем счастье я мечтал — маниловски, абстрактно, — о возможности издать книгу за свой счет. Господи, чего же еще? Ты ни перед кем не унижаешься,

не растрачиваешь жизнь на гадские хлопоты и нервоотрепки. Ты достаешь денег — где угодно, сколько сможешь: скопить, заколотить, одолжить, украсть, продать все. И делаешь книгу, какую сам хочешь. В ней не будет нарушен ни один закон, нет! Но никто не смеет заставлять тебя что-то выкинуть, что-то переделать, никто не правит твои фразы. Никто не смеет оставить себя выше тебя — это в издании твоей же книги!!!

А потом раздари свои 500 экземпляров кому хочешь. А сотню-две сдай в продажу. И если твоя книга чего стоит — заметят! оценят! выделят! И будут слова, и тиражи, и предложения: ты предъявил свою работу людям — а дальше Господь и народ Его сами решат.

Я никогда не понимал трагически разумеющегося права писателя жить литературным трудом. Да с чего вы взяли это право, на какой скрижали вы его выскребли? Нет у писателя никаких прав и быть не может, кроме записанных в Конституции прав для граждан.

Ты пишешь для денег и у тебя не получается? Твой риск — твои проблемы. Так зарабатывай другим ремеслом.

Ты пишешь — на литературу, людей, Истину, Бога? Так будь счастлив, если тебе удастся это сказать — и донести свое слово. Апостолы на зарплату не устраиваются.

Истерическое требование творческой интеллигенции содержать ее и оплачивать за счет нормальных работяг (от землекопов до врачей) ее поиски, эксперименты, провалы и «самовыражения» — мерзко как элитарная идеология, включающая право художника на тунеядство.

Литература — не кормушка. Ты служишь литературе? А ты готов для того, чтоб сделать свое в ней — отказаться от всего прочего, предпочесть свое дело любым благам, идти до конца ради утверждения идеала? Если ты готов сделать или сдохнуть — предъяви себя.

Успех успехом. А шедевры шедеврами.

Да: бедствующее настоящее искусство надо поддерживать. Но даже бедствующий настоящий художник не смеет вопить о взятии его на содержание! Ибо громче и жалче всех вопят самодовольные паразиты!

16. Дефлорация молодого автора

И шли месяцы. И шли годы. И я не смел позвонить редактору: когда же?.. Чтоб не вызвать его недовольства, не порушить хрупкие отношения. Чтоб хуже не было. Все равно: если надо он сам позвонит, а нет — так чего зря.

Я думал, как я его убью. Как налью бензина в бутылку, всуну паклевую затычку и с огоньком швырну в его квартиру. Как прикую себя цепью к батарее в издательстве и вышвырну в окно ключ от замка. И даже как сожгу себя под окнами издательства.

И он позвонил!

...Сначала мы неделю торговались: что оставлять, а что выкидывать. Выкинули все, что конкретно критиковалось в старой вышибной рецензии. И «Бермудские острова», которые Бээкман, пробывший в Рио два дня как турист, «уличил в неточностях» (к издевкам моего консультанта-переводчика-бразильскоземельца). И вообще то, что Айну не понравилось.

А потом! А потом! А потом! Айн Тоотс стал править мои фразы. Он работал на совесть, от души, стараясь как лучше. Он налегал на синтаксис, это я еще понять мог. Но он норовил впилить лишний союз, заменить синоним, прибавить частицу. Он менял интонацию.

— О! Вот так бы я написал, если бы я писал! — Клянусь, именно это я от него однажды услышал: он радовался своей работе.

Вы понимаете? Это меня он правил! Да ни одной суке не снилось, как я работал! Чтобы слова и знаки стали на единственно верное место! (Кончилась власть редакторов — и я восстановил все.)

Вот когда я помянул добрым словом университетских лингвистов! Вот когда я прописался в читалке Академии Наук и прорыл все академические грамматики и словари, которых знать не желал когда-то! Профессор Колесов был настоящий интеллигент, и я быстро научился доказывать Айну грамматическую легитимность любого авторского варианта. Русский язык грамматически бескрайне вари-

белен! А казуистика — дело наживное. Да я мог преподавать грамматику иезуитам!

Мы курили, пили кофе, мирились и делали друг другу уступки. Половина по-моему — половина будет по-твоему. Мы хрустели пальцами и со стоном переводили дух.

Два месяца!!! Айн взял эту работу домой вне плана, чтоб редактировать спокойно. Ему очень нравилась моя книга. Он отстаивал ее в издательстве как мог и полагал верным.

— Как вы смотрите, если я передам вас другому редактору! — побледнев, спросил он после очередной ошибки.

В свою очередь побледнел я, и отыграл назад.

...Ну, пока все, — сказал он по окончании.

Я посмотрел непонимающе: ну? В типографию.

— Теперь это будет лежать в издательстве и дожидаться своей очереди, мы все сделали, — удовлетворенно пояснил он.

— Когда? — выговорил я.

— В плане будущего года, — он развел руками. — Но мы с вами все сделали заранее. На всякий случай.

Какой еще «всякий случай»??!?! Добрый психосадист Айн отмолчался.

17. *Голубые города*

Два раза я помню отчетливо: мне снился Нью-Йорк. Я гулял по длинному молу у прибой, вечер был голубой и серый, домов не было вовсе, но было чувство великой свободы и счастья: неужели я увидел Нью-Йорк? Второй раз стояли какие-то высокие постройки, но все было смазано, смутно, а главное — я был в Нью-Йорке, я попал, я увидел!

Хоть бы развалилась эта проклятая империя! Так думали тогда мы все. Не ввали — нисколько. Но желали от души.

Я мечтал: в Ленинграде, аэропорт Пулково, самолет — клянусь, не знаю куда, но — туда, и по трапу поднимаюсь

я — без всякого багажа, с одним дипломатом: и на верхней ступени трапа останавливаюсь, достав из кармана белый платок, встряхиваю его, легкими движениями отряхаю пыль с тубель, опускаю платок падать на бетон и вхожу в дверь самолета. Все!

Видит Бог: я терпеливый парень, но Совок меня достал.

И неживой Брежнев казался бессмертным, как пейзаж.

18. *Линия отсчета*

Тот не писатель, кто не может писать следующую книгу, пока еще не вышла предыдущая. Вот такая приписка была тогда у сов. письменников.

И была зимняя гроза. В ночь с тридцатого на тридцать первое декабря. Я работал. Пьеса называлась «Ничего не происходит»! Там спокойная жизнь семьи взрывалась тайнами и трагедиями, а к концу все оказывалось фуфлом.

Засверкало белым и синим, раскатился грохот и сотряс мою хибару, и ливень хлестнул в стекла. В тепле и сухе, я смотрел бездумно: впечатляло.

Шквал пронесся с моря над лесом, береза стукнула голый плетью в окно, я выключил настольную лампу. Оказывается, я давно уже думал о смысле Бытия, и добрался до места, что жизнь человеческую можно измерять по тому, сколько он переживал всего за период жизни, и насколько сильно. Думать в темноте было лучше, как-то ты подключался к энергии стихии.

Слово «энергия» явилось ключевым. Стремясь инстинктом жизни к максимальным, в смысле суммарного максимума за всю жизнь, ощущениям — человек тем самым стремится к максимальным действиям! Это часто может не совпадать, но в общем, в среднем, — совпадает.

Так-так-так. Энергия — это базовый уровень всего. Тот общий знаменатель Вселенной, к которому в принципе можно привести любые явления. Вроде так?

Стоп. Точно. Человек биологически устроен так, что стремится к максимальным ощущениям. И в истории совершал все большие действия. И это продолжается без ограничителя. Это так? Это так.

Экстраполируем. Что есть Абсолютный Максимум? Уничтожить Вселенную. Или? Или стремиться к этому. А этапы пути? Что можно сделать уже сейчас? Уничтожить все человечество. Или вообще всю жизнь на Земле. Это? Это на линии генерального стремления, генерального движения человечества.

Да!!! Разум, рации — ни при чем! Инстинкт жизни — часть Закона Вселенной! Поэтому умные люди уничтожают свою планету: Закон Вселенной движет ими: делать максимум возможного!

Не смейтесь над банальными романскими оборотами. Они бывают выразительны и точны. Ужас вошел в меня и оледенил до мозга костей. Инстинкт, интуиция, все естество говорили мне — что это правда.

Я не слышал фамилий Оствальда и Майера. Не читал Вернадского и Пригожина. Не знал пять лет назад появившегося в английском слова «синергетика». Противоречил догмам термодинамики в ведомых мне основах.

В ту ночь сформировался стержень моей философии.

ЭНЕРГОЭВОЛЮЦИОНИЗМ создал я сам. Я сделал то, что никто до меня.

Частности и детали отрабатывались еще много лет. Через пятнадцать выйдут «Все о жизни».

...Я изложил основу в двадцатистраничной прозе «Линия отсчета». Ее отверг Айн, и все редакции.

Но еще я теперь понимал, почему мои труды и усилия. «Муки и радости».

19. *«Что такое не везет и как с ним бороться»*

За полгода до типографии тираж книги срезали со стандартных 16 тыс. до 4 тыс.! Мне уже было все равно. Плевать. Пусть хоть одна тысяча выйдет. Потиражные

с гонорара меня не волнуют. На все я скуплю тираж и раздам кому надо.

Майор Звягин уже совершал мысленно свои благодетельные приключения. В день падения тиража он встретил хронического неудачника и сделал из него человека «с весельем и отвагой».

20. *Эхо Москвы*

Месяцы и годы. Месяцы и годы.

И мне рассказали по секрету, что консультант эстонской литературы или как ее там, куратор, короче Вера Рубер при Правлении Союза писателей СССР сказала, что знает о модернистской, не социалистической книжке Веллера в издательстве, и примет меры, чтоб она не вышла.

А прецеденты были, были! Я жил на автопилоте в суевверном страхе сглазить.

21. *Художник*

Месяцы и годы. Месяцы и годы.

И мне снова позвонили! И пригласили! Ваш сборник поступил в производство!!! У вас есть пожелания по художнику для обложки?

И я пожелал своего приятеля Славу Семерикова. С ним оформили договор. И он запил. А недели шли. Я не сошел с ума. Не сошел!

22.

Через четыре года после моего переезда в Таллин вышел мой первый сборник рассказов «Хочу быть дворником». Мне было тридцать пять лет. Прошло десять лет с той первой рабочей зимы, когда я написал его в первом рабочем варианте.

129085, г. Москва,
Звездный б-р, д. 21, стр. 1
Тел. 216-80-29

14 мая 2006 г.

Издательская справка

Михаил Веллер — самый издаваемый в России писатель из числа «некоммерческих» авторов. На сегодняшний день его книги выходили 123 раза в разных переизданиях. Всего, включая стереотипные издания как допечатки тиражей, книги Веллера выдержали более 400 изданий. Их общий тираж 6 000 000 экз.

Национальный бестселлер «Легенды Невского проспекта» превысил тираж 1 млн. экз. Тираж национального бестселлера «Приключения майора Звягина» — 700 тыс. экз. Тираж философского трактата «Все о жизни» достиг с 1998 г. нерасчетного для этого жанра 200 000.

Тематическая и стилистическая разноплановость, в т.ч. элитарность прозы Веллера, публикуемой «толстыми» журналами «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и др., не препятствует ее высоким тиражам. Каждая новая книга Веллера неизменно входит в топ-десятку книжных хит-парадов ведущих периодических изданий.

Начиная с 2002 г. издательский дом «АСТ» издал полное собрание сочинений Михаила Веллера в 9 тт, «Избранные сочинения» в 5 тт, избранные произведения в редакции для подростков и юношества в 4 тт, философские труды в 2 тт, карманную серию в 14 тт, «Избранное» в 4 тт, а также роман-антиутопию «Б. Вавилонская» и политический бестселлер «Великий последний шанс» с сиквелом «К великому шансу» — всего 47 изданий книг в более чем 200 изданиях в общем, суммарным тиражом более 2 000 000 экз.

В настоящее время готовятся к изданию обзоры русской классической и советской литературы, написанные на основе курсов лекций, прочитанных Михаилом Веллером в университетах Милана, Иерусалима и Копенгагена.

Заместитель Генерального директора
по маркетингу и планированию производства


Б. П. Горелик

**ГЛОРИЯ
И
МЕМОРИЯ**

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Он ушел, как уходит последний из могикан — сошел с пустой сцены при пустом зале. Его смерть в Париже почти не вызвала отклика на родине. Несколько изданий, не затрудняя себя некрологами, перепечатали скудный обрывок биографии из «Википедии».

Анатолий Гладилин его звали. Прозвучало имя впервые в 1956 знаковом году. С него началась новая, самая искренняя, раскованная и живая советская, русская то есть литература великой эпохи — наибольшего могущества Советского Союза за всю тысячу лет России. Тогда были первый спутник и Гагарин, мировые гастроли Большого театра и флот в Тихом Океане, революции на Кубе и в Египте, еще поднимали Целину и строили Братскую ГЭС, впервые получали отдельные квартиры в пятиэтажках и, без страха смеясь над властью, гордились страной и верили в коммунизм. Время было такое, сынок.

Помнят лишь, что ему был 21 год, когда катаевская «Юность» напечатала повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», и с этого началась исповедальная проза. Так ее часто называют сейчас, игнорируя «Исповедь» Руссо и «Историю моих бедствий» Абеяра — не имеющих отношения к молодежной прозе, она же городская, ироническая и новая, как именовалась проза шестидесятников.

И была оглушительная слава, и страшная зависть, придирки и неприятности, и Гладилин ушел из Литинститута, и стал заведомом литературы «Московского

комсомольца». И если его Виктор Подгурский, не поступивший в институт и пошедший в рабочие, рефлексирующий неудачник в карьере и личной жизни, приветствовался и поносился как нетипичный для советской литературы герой, то вторую книгу Гладилин так прямо и назвал: «История одного неудачника». Она будет переиздаваться под вторым заголовком: «Бригантина поднимает паруса».

В то самое время страна только узнала о Павле Когане, «Бригантина» звучала как откровение, открывались молодежные кафе «Ассоль» и «Аэлита», и «один неудачник», ершистый московский паренек, поехавший за тысячи километров на сибирские стройки, вот он гонит свой грузовик по Чуйскому тракту и ждет приезда из Москвы любимой девушки — это и есть Герой нашего времени, романтик жизни, ненавидящий романтику слов и готовый к тяжелой пахоте и грубому быту.

Это попадание в цель настолько точно, что через десять лет станет штампом. Потомки и последователи Вовки Андрианова в молодой советской прозе неисчислимы.

Если сначала Гладилин мотался на Алтай — потом он доберется до Колымы и встанет рабочим на золотой прииск. Тогда и появится книга «Песни золотого прииска», за которую ему неслабо нагорит: а не порочь советских тружеников отрицательными чертами.

И как резко выделился из литературного потока «Дым в глаза. Повесть о честолюбии». Вот заурядный рефлексирующий ботаник мечтает о чем-нибудь великом. Ну — так является волшебник, готовый исполнить желание: сделать его кем угодно. И честолюбивый Игорь Серов выбирает мечту-максимум, идеал успеха: он становится... знаменитым футболистом! (Как мельчают люди, вздохнул волшебник...) Но триумф звезды национальной сборной оборачивается привычной тяжелой работой — ему все надоедает... В финале он шкерит рыбу на Дальнем Востоке и обретает некую значимость в своей доле работы.

Если кто-нибудь когда-нибудь захочет понять жизнь

той эпохи и советскую молодежь шестидесятых — тех, чья юность пришлась на 1956—69 годы — ему нужно будет, необходимо будет прочитать книги Анатолия Гладилина. Потому что именно он, как никто другой, выразил настроения и особенности поколения — его наивность, романтизм, веру в коммунизм и труд, преданность своему государству, его жажду обретения счастья в созидании единых со всем народом дел. И чуть позднее — мучительную тщету усилий понять: так в чем же смысл нашей жизни, в чем наше счастье, почему остается недостижимой мечта о нем — почему же все в жизни пошло не так?..

Аксенов писал лучше. Стругацкие мыслили глубже. Эренбург, Солженицын, Симонов звучали громче. Но сущность поколения шестидесятников, сущность этой эпохи через взгляд и язык новой молодежи, через их мысли и чувства, их жизненные стремления и ценности — Анатолий Гладилин выразил полнее, честнее и глубже всех.

Вы понимаете — у молодого Гладилина все всерьез: и комсомол, и народные дружины, и производственные собрания, и патриотизм, и смысл жизни обретается в тяжелой работе, нужной стране. Это все — честно, искренне, от души! Надо же понять и учесть: шестидесятническая молодежь такая и была! И тупое стадо было, и гнилье было, но та волна, которая и двигает историю — сколько-то образованная и энергичная молодежь, студенчество и пахари около романтики — вот такими мы и были.

Гладилин был один из нас. И главнейший его талант — он говорил то, что мы сами хотели сказать, но смутно понимали и не могли, а он вот — умел и смог.

Он писал о ровесниках, и подведением итогов стала «История одной компании». Ему было тридцать — и героям было по тридцать. А на дворе стоял, друзья-товарищи, шестьдесят пятый год...

Шестеро школьников становятся в тридцать лет портретом страны и поколения: начальник литейного

цеха, ученый-геолог, артист, работяга... Они живут интересно и по-разному, работают на совесть, налаживают свои жизни и приносят пользу людям. И только главный герой, мятущийся неудачник в любви и карьере, все ищет смысл жизни, и счастье его остается там — в юности, в друзьях, в смутных надеждах на нечто самое важное для всех. И за иронией языка, за стоицизмом характера — стоит тот же вечный вопрос: хорошо, вот мы любим, мы дружим, мы работаем, но по большому-то счету к чему это все, чего ради, где смысл и в чем счастье нашей жизни?

А уже звучал процесс Даниэля и Синявского, уже сняли Никиту, уже четвертый десяток пошел поколению звездных бунтарей советской литературы, и молодая убежденность в торжество коммунизма рассеивалась в смутную неясность перспектив. Жизнь становилась сытнее, государство лживее, а цели все неопределеннее. (И Солженицын уже писал «Архипелаг ГУЛАГ».)

В памятном 1968, танки в Праге, Политиздат при ЦК КПСС завел книжную серию «Пламенные революционеры». Привлекали таланты: издавали быстро, платили много, позволяли патриотическое вольномыслие. Но список героев утверждался сверху.

И в первой десятке, начало 1970-го, вышло гладилинское «Евангелие от Робеспьера». В то время хорошая рецензия равнялась доносу. Книга осталась почти не замеченной. Брежневский застой уже начался, и автор приблизился к лагерному сроку.

То книга о трагической тщете революции. О том, как все герои и творцы уничтожают друг друга, и кровь льется во имя светлой цели. И к власти приходит торжествующая посредственность, грабящая народ и страну. И новый диктатор твердой рукой наведет порядок, ведя страну к величию и будущей катастрофе. (Иллюстрации Игоря Блиоха стоит вспомнить.) Так неужели ради сегодняшней пошлой сытости лучшие люди нации отдавали свои жизни?.. В чем смысл великой борьбы и былых свершений?..

Наступил крах идеалов поколения. Лариса Шепитько снимала эпохальный фильм «Ты и я» (1971), так и не понятый официозом. А на Западе рушился свой миропорядок, и в том же 1970 вышел на экраны великий «Кромвель», Ричард Харрис получил приз Московского кинофестиваля за главную роль. В чем смысл нашей борьбы, где справедливость, во что теперь верить?..

В 1970 году шестидесятничество отчетливо закончилось, в кои-то веки календарь не соврал. Все главное было ими уже сделано; написано. Впереди была долгая жизнь на спуске с сияющих вершин.

Гладилин не вошел в истеблишмент «Нового мира», внутриредакционная механика была непроста и Твардовский был непрост. «Прогноз на завтра» попал за рубеж и был издан в Западной Германии, эмигрантское издательство «Посев»: это было тяжким обвинением советскому писателю. Я помню дискуссию на полосу «Литературы» зимой 1973: Гладилин сетует на бессмысленную литправку редакторами, а критик Григорий Бровман объясняет, что всех надо редактировать, это улучшает литературу.

И в 1976 году родоначальник советской молодежной прозы Анатолий Гладилин, сын матери-еврейки и муж жены-еврейки, уезжает по израильской визе из закрытого СССР и поселяется во Франции. Он жил легко, молодое счастье успеха остается в человеке навсегда. Но судьба уже кончилась.

...Я так и не привык, что говорил ему «Толя» и «ты», хотя в старости тринадцать лет разницы уже не разница. Я спрашивал, а он рассказывал, и у меня все время перехватывало дыхание: это они очертили пространство нашей юности, которую мы прожили по их следам. Аксенов, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Войнович, Искандер — только что они еще были здесь, с нами: когорта великой эпохи.

Прощание с Гладилиным — это как последняя свечка погасла после спектакля. Когда-то она засветилась первой в начале дивного действия.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО КАЧЕСТВА И ЛИТЕРАТУРНОГО УСПЕХА

*Лекция,
прочитанная на XXVIII Международном Форуме
молодых писателей
18 сентября 2018 в Ульяновске*

Уважаемые коллеги! Молодые дамы и молодые же господа! Как говорил нам, своим семинаристам, сорок лет назад мудрый Борис Стругацкий: «Никто, никого, никогда писать, разумеется, не научит. Да это и невозможно. Но можно предостеречь молодого, начинающего писателя от наиболее типовых, вечно встречающихся ошибок — и тем сберечь ему время. И кроме того молодому, еще непечатающемуся писателю совершенно необходима атмосфера творческого общения — где его поймут и где он сможет с себе подобными разговаривать на своем языке, иначе он закиснет, задохнется без воздуха». Так что я, имея несчастье быть намного старше вас, попробую просто поделиться с вами какими-то соображениями, чем-то из собственного опыта.

Все понимают, что писать надо хорошо. Писатель должен писать хорошо. Разумеется. Но вот что такое хорошо и что такое плохо — здесь возможны разные точки зрения.

Хорошо — это как?

Ну, во-первых — это грамотно. Конечно. Однако заметим, что были классики, которым жены и редакторы расставляли запятые и даже исправляли некоторые ошибки. Кроме Джека Лондона так сразу резко никто в голову не приходит, но он был вполне приличный писатель; и не он один был нетверд в синтаксисе и даже вообще грамматике. Это о чем? О том, что главное — речь должна хорошо звучать в голове и быть передана словами, а уже нюансы в пунктуации на письме — это вопрос школьного обучения, здесь как раз редактор может помочь таланту, не совсем твердому в запятых. Хотя — писать надо самому, конечно.

И здесь заметим: весь синтаксис — это графическая передача интонационного строя речи. Возможности синтаксиса формально весьма ограничены — ну сколько их, знаков препинания? Точка, запятая, точка с запятой, тире, двоеточие, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки, ну еще комбинация восклицательного с вопросительным. О — девять: даже еще один палец незагнутым остался! Однако — еще мы должны прибавить абзац с отступом и пробел между кусками, это важнейшие средства передачи интонации: это серьезные паузы, переходы темы и настроения могут быть. Итого одиннадцать.

А интонаций в речи человеческой множество! Особенно в речи мастера, рассказчика, наблюдательного и умного человека, умеющего оттенить мысль и настроение. И синтаксис — скупой набор графики — должен адекватно передать все это богатство мысли и чувства, выраженное уже не в словах, а в интонации. Это очень трудно. Правила синтаксиса очень условны. Всего объема интонаций и смыслов, которые требуется передать на письме, они охватить не могут.

И тогда — первое: правила надо знать, и знать хорошо, исчерпывающе, надо иметь свое мнение по спорным моментам, которые однозначно не решены Академической грамматикой. И второе: если надо — их надо нарушать, растягивать, взламывать, добиваясь того самого «выверенного аграмматизма».

Проще же всего, разумеется, писать короткими простыми предложениями. Но это лишь один стилистический вариант. Отличие благородной скупой простоты от примитива — это момент тонкий.

На будущее — писать кратко и просто, так чтоб это было хорошо — гораздо сложнее, чем писать затейливо и с красотами, которые сразу всем видны и пленяют неискушенных читателей, даже критиков. Когда и если литератор овладевает стилем «плетения словес», свободным и многословным, — ему остается только поставить ключ в одну тональность, как правило элегически-минорную, и можно наворачивать обороты и слова бесконечно, варьируя их как угодно. Причем — это производит впечатление искусства.

В тексте же простом и обнаженном — каждое слово как голый на плацу. И это слово имеет единственное для себя место во фразе, и сочетается в этой фразе тоже только с одним словом. И только знаток оценит сияние маленького прозрачного бриллианта и отличит его от литой стекляшки.

Ну, на уровне ликбеза всем, конечно, объясняют, что надо избегать слов-паразитов типа «как бы», да и словечка «типа» сегодня, нельзя ставить два «что» в одном предложении, а лучше даже не ставить их дважды в одном абзаце, а еще лучше вообще их не употреблять. «Чтобы», «потому что», «для того, чтобы» и тому подобное — не надо.

А еще надо иметь богатый активный словарь и не повторять одно и то же слово два раза в одном предложении, и даже абзаце; вот Флобер — он и на целой странице старался одно слово дважды не употреблять; Флобера в таких случаях любят ставить в пример.

Гм. Ну и, в общем, этим перечень стилистических рекомендаций и ограничивается. И этого, конечно, очень мало, чтобы усвоить и ощутить, что такое писать хорошо.

Вообще, прежде чем стать писателем, чукча вынужден стать читателем. И понятно, что представление о том, как надо писать хорошо, как подобает писать, что

есть идеал и вершина писания — это закладывается в школе. Начиная, безусловно, с Пушкина.

О стихах мы сейчас не говорим, мы говорим о презренной прозе, жанре приземленном, тяжелом и низком.

Вот «Повести Белкина». По мнению многих, и моему в том числе, гениальная короткая проза. А вот «Дубровский» и «Капитанская дочка». Можно ли писать так, как Пушкин? Ну, имитировать его стиль безусловно можно, люди вон Рафаэля подделывают так, что эксперты в микроскоп с трудом различают. Язык Пушкина все-таки несколько романтичен, и сентиментален, и возвышен бывает... несовременен, в общем. Лексикон, обороты, выражения чувств — порой архаичны, ну несколько старомодны по форме, так сказать. Оно и естественно.

А вот непревзойденный «Герой нашего времени». Блестящий язык, шедевр непревзойденный! Ну, тоже несколько церемонен и старомоден... Но можно же учиться его легкости небывалой, его чистоте, изяществу, тонкому обаянию цинизма Печорина же можно учиться!

Сейчас старик Хоттабыч выдернет волосинку из бороды, порвет, пошепчет — и вы все научились! Как Лермонтов!

Двести Лермонтовых — это же прогресс литературы?!

Но мы не останавливаемся, мы растем над собой дальше — мы у Достоевского, у гиганта всемирного русской литературы, Федора Михайловича, тоже учимся! И чему же мы учимся?.. О-па... Ничего общего с Лермонтовым.

Как бы вы ни старались — хуже Достоевского вы не напишите. Мы сейчас только язык имеем в виду, естественно, только стиль. Какая работа над словом, какое что? Свои поздние великие романы он вообще диктовал, да иногда по пятьдесят страниц за ночь — какая работа над словом, о чем вы!.. Это корявое, спотыкливое, тяжелое многословие с массой повторов и вполне скромным словарным запасом из области разговорной лексики в основном.

Так а почему Достоевский великий писатель? Если писал фигово? Фигово-то фигово — а мысль свою, через десять повторов крученых-корявых, все-таки доносил до читателя с огромной точностью и силой. Идеи имел гениальные, характеры создавал глубочайшие и сложные.

У кого учиться?.. Лесков, Чехов, Бунин — ну совершенно же по-разному писали, а все трое вроде ничего. Нет, мы все понимаем: большой писатель — это всегда яркая индивидуальность в творчестве. Но: формально, по форме то есть, их достоинства противоречат друг другу! То есть: а учиться-то у кого и чему?

Джойс и Бабель — вот полные антагонисты, и мастерство одного и другого находятся просто в разных измерениях.

Хорошо. Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. В.И. Ленин. Нет, это не из «Мира мудрых мыслей», это плакат сбоку сцены во всех гарнизонных клубах и домах культуры. Советской Армии, естественно. Итак — берем идеального начинающего писателя и обогащаем его память всеми литературными богатствами.

Он владеет как суммой приемов классицизмом, романтизмом, сентиментализмом, критическим реализмом, а также модернизмом всех изводов, постмодернизмом, мовизмом уж заодно — ну, и всеми видами контрлитературы от Крученых до Буковски.

А теперь любимся на полные противоположности и впадаем в тупое отчаянье:

Чехов — и О. Генри. Бессюжетность и сюжет, депрессия и ирония. Да Чехов ненавидел О. Генри, уничижительно называл его рассказы «шарнирными», считал фиглярством. При том что сам, увы, сюжеты строить не умел: он пел «прямо по жизни», прямотоком.

Хемингуэй — скупость слов и честность чувств. А вот Гюго — море р-рымантики и высокого штиля.

Ну вот Мериме считал Стендаля бедолагой, который плоховато писал, словом не владел.

А вот Томас Манн — писатель, на мой взгляд, невыразимо скучный и длинный. А вот «Мост короля Луи Святого» Уайлдера — отточенная проза, философский роман на ста страницах.

И что получается? Писать как Достоевский и думать как Хемингуэй — ну не фиг же делать! Один неряшливо, небрежно, плохо писал — другой мысли имел весьма нехитрые, и те в очень ограниченном количестве. Мыслей у Хемингуэя — штуки четыре, и с ними он прожил жизнь: мир жесток и норовит убить, сражаться надо в любых условиях, любовь прекрасна и обречена, мы проиграем, но не сдадимся. Аллес капут. Все.

Так что же значит «писать хорошо», если абсолютная посредственность во всем Чарлз Буковски писал вообще никак, это графоман полный, строго говоря — и вот он считается классиком XX века? Ну, в Америке считается.

И тут мы прежде времени подходим к важнейшему моменту: писать хорошо — и иметь успех, — это часто разные вещи. Совсем разные.

В теории писатель должен владеть сюжетом, хорошо складывать композицию, иметь глубокие и оригинальные мысли, создавать богатые запоминающиеся характеры, и излагать все богатым, гибким, точным, чистым и красивым языком.

Короче — это Шекспир. Начитавшийся Аристотеля. Остальные могут застрелиться.

И тогда получается так. В теории — что значит писать хорошо? Это ты такой грамотный, с таким богатым словарем, с языковым слухом, с умением и строить сюжет, и создавать характеры, и проникать в глубины психологии человеческой, и идеи выдавать оригинальные и мощные. И при этом — у тебя свой стиль, почерк, язык, свое собственное оригинальное лицо.

То есть. Не в том дело, что в наихудшем случае ты выходишь Аксенов или Шукшин. А в том, что ты качественно, по мощи, по сумме аспектов искусства, равен не Толстому, так Булгакову. Вот тогда ты качественно работаешь, тогда ты, значит, пишешь хорошо.

Ай-я-яй! Но тогда и Трифонов не велик писатель, и Катаев ничего такого эдакого не написал. А уж современная западная литература, Америка и Франция прежде всего — это вообще отстой. Уэльбек и Вербер по сравнению с великими классиками французскими, да хоть с Сартром или Ионеско в XX веке — это жалкие ремесленники с мозгами пэтэушников от литературы. Прimitивные переростки. Но Чак Паланик — это вообще урод, весь этот «неопримитивизм» и «буквализм» с «журнализмом» придуман изнывающими от бестемья критиками-либерал-прогрессистами, чтобы придать какое-то значение потоку упаднической примитивной фигни и создать поле для дискуссий и обсуждений.

И тогда выходит. Что в идеале писатель должен уметь все. Владеть всеми стилями и приемами великих. То есть — владеть мастерством на уровне профессионала. Что есть условие для писательства недостаточное, но необходимое. В идеале, конечно. На деле так крайне редко бывает.

Например. Сорокин хорошо имитирует разные стили: классики, архаичный, молодежной прозы 60-х. По какому поводу некоторые критики захлебываются от восторга. В принципе правильно захлебываются: это мало кто умеет. Хотя по-хорошему рассуждая, должен был бы уметь каждый, мнящий себя профессиональным литератором. Ну, я слишком много хочу.

Вот борец вольного стиля. Вот он подходит к уровню мастеров. Он знает с вариациями две сотни приемов, и выполняет их хорошо. Но. В соответствии со своими индивидуальными физическими данными, ростом и сложением, скоростью и реакцией, он имеет пять-шесть любимых. Коронных. Которые у него лучше всего идут. Если он на этот прием ловит соперника — это выигрыш. И вот сюда он уже вкладывает собственные нюансы, у него есть свои особенности в исполнении этих приемов: чуть иначе довернул ногу, чуть больше или меньше сделал скрутку и тому подобное.

Мы о писателях. У каждого лучше всего получается

что-то одно обычно. У одного легкое перышко. У другого чувство юмора от бога. Третий закручивает сногшибательные сюжеты. Четвертый умеет так подмечать и описывать детали, что просто глаза читателю на мир раскрывает. Вот на практике — хорошо бы определить свою сильную сторону, свой любимый уклон, и на него нажимать. Василь Быков видел как никто до него трагические конфликты между людьми, между своими же, вроде, на войне. А у Искандера было прекрасное, легкое, радостное такое чувство юмора — даже когда он писал о Сталине и тому подобном.

Вот Зоценко Михаил Михайлович. Прекрасный был человек. Хотя в общей писательской бригаде тоже прославил большую стройку НКВД — Беломор-Балтийский канал. Писательское дарование имел очень небольшое. Все, что он умел — это писать коротенькие, фельетонно-анекдотического характера рассказы о быдловатых советских мещанах 20-х годов. Эти все рассказы, которых наберется на один средней толщины том, написаны одним языком и скроены по одному лекалу. Но! Некоторые из них очень хороши. Юмор одновременно и светлый, и черный, и циничный. Рассказчик, от лица которого идет речь, придурковат и косноязычен. В результате? Есть такой жанр, и в этом жанре Зоценко — безоговорочный лидер; на втором месте никто, на третьем группа мелочи. А вот писать вещи длинные, сюжетные, психологические и прочее — решительно не умел.

А сам Чехов? «Ионыч» хрестоматийный — это шедевр фантастический. Это ведь полнообъемный роман на пятнадцати страницах. Но «Степь», «Драма на охоте» и прочая «Моя жизнь» — практически нечитаемы. Сюжет строить не умел вообще, в большом объеме терялся и переставал чувствовать размер и соотношение частей: тянул колбасу бесконечную. Но не за это мы любим его! А именно за шедевры.

Я что все пытаюсь выразить. К чему гну. Что сегодня писатель может писать вообще как угодно. Только ему нужно нащупать какой-то свой собственный доворот в ли-

тературе. Вот чтобы его как-то можно было отличать от всех остальных, чтоб чем-то он выделялся, был непохож.

Понимаете, вот в 1960-м году писать сложно, витиевато, узорчато, с украшениями — было стыдно; было дурновкусием, эпигонством и банальщиной. Кумирами поколения и эпохи были Хемингуэй, Ремарк, Экзюпери, Сэлинджер. Простота, честность, прямота, без затей и романтических финтифлюшек.

Прошло полвека. И что же мы видим? Наворотить красот, эпитетов и прочих метафор, построить фразы неожиданным образом, придать шеголеватости стилю через элементы архаики, поэтичности, всевозможные тропы и хронотопы — почитается стилистическим мастерством. Во Франции 1920-х годов они были бы образцом эпигонства и дурновкусия — а у нас ныне канают по мастерам. Быват-с.

Сегодня Бабеля обвинили бы в лапидарности. А вот мадам Лидия Чарская, особенно если бы выдать ее замуж за Бенедиктова, вполне бы процветала.

И вот что я вам скажу. Надо культивировать в себе языковой вкус и языковой слух. А для этого. Не надо и даже нельзя читать плохих книг. А надо читать и перечитывать хорошие, и только хорошие. Перечитывать очень медленно, взяв в привычку смотреть и анализировать: как это сделано, как построено, как составлены слова, каков эффект словосочетаний. Но так — медленно, с точки зрения языка именно — можно перечитывать только шедевры стиля. «Повести Белкина». «Княжну Мэри». «Легкое дыхание».

В нашей традиции — в традиции советского перевода с английского и французского на русский — лучшие переводчики писали по-русски лучше почти всех писателей. Жили мы за железным занавесом, без контактов с границей, языками не владели, доступа к иностранной литературе прямого не имели — и школа блестящего советского перевода создавала для читателей шедевры на русском языке.

«Вся королевская рать» в переводе Виктора Гольше-

ва, Воннегут в переводах Райт-Ковалевой, «Мадам Бовари» в переводе Ромма (только не Любимова!), «Хроника времен Карла IX в переводе Кузмина (только не Любимова, опять же!), «Три товарища» в переводе Афонькина (Шрайбера не надо); Хемингуэй в переводах школы Кашкина, О. Генри и Джек Лондон в переводах старой школы Калашниковой, Топер, Дарузес и других — вот на этих текстах можно и имеет смысл учить себя языку, учиться чувствовать его.

Из советской литературы (так она называлась с 1918 года весь XX век, и когда ее называют русской — это вряд ли правильно, потому что Набоков, Газданов и другие — это русская литература, но другого мира, другого измерения) — из советской литературы довоенной я назвал бы только: Бабель прежде всего и обязательно, Булгаков не в «Мастере», а «Жизнь господина де Мольера», блестящее произведение без единого провиса, а также — «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлилу» Алексея Толстого. «Белеет парус одинокий» Катаева. Вот это может служить образцами языка.

А позднейшая, шестидесятники — это рассказы молодого Аксенова, лучшие рассказы Казакова, их всего несколько наберется, три дюжины лучших рассказов Шукшина. А также Стругацкие главного периода — от «Попытки к бегству» 1962 до «Миллиард лет до конца света», десяток лучших романов (раньше они назывались повестями). Плюс писатель блестящий и малоизвестный ныне — Морис Симашко: «Емшан», «Маздак», «Искупление дабира». Короткая повесть и два романа. Алмазный стиль, мысль как нож. А также — только не смейтесь: «Пером и шпагой» Пикуля и «17 мгновений весны» Семенова. Снобы — а снобы это светская чернь и их подражатели — не желают видеть, как это хорошо и чисто именно написано.

И — лично мой совет — не вздумайте всерьез, как пособие, читать Трифонова, или Тендрякова, или кого там еще из «серьезной епархии». Они серы и занудны. Ну, у нас сейчас не литературный обзор. У нас практическое

занятие: что значит «писать хорошо» и что для этого нужно.

Любовь для этого нужна. Любить это дело надо бесконечно. Тогда будет и терпение, и любопытство, и упорство, и стремиться будет писатель добиться совершенства, идеала. И смыслом работы будет не слава и не деньги, не статус, а достижение совершенства, создание шедевра. Такое дело.

Но. Литературное качество включает в себя не только литературное мастерство, отнюдь. Блестящее владение формой — это еще не все. В том смысле, пардон за банальность, что кроме формы есть еще содержание. И всю эту казуистику насчет того, что содержание и форма едины, вы можете оставить философствующим литературоведам. Потому что тот же Юрий Трифонов с точки зрения формы писал элементарно плохо. А за счет чего же он был читаем и любим? Да за счет материала, содержания.

В глуховые застойные 70-е годы Трифонов писал, с унылой безнадежной интонацией, о том, что жизнь дерьмо, а люди слабы и подлы. А читающая интеллигенция видела и полагала, что это так и есть! И хватала новый роман Трифонова жадно — жажда и встречая подтверждение своим мыслям и чувствам.

Вот это — литературное качество или что? Мог ли бы Трифонов с такой же заунывностью написать роман о героях-космонавтах, открывателях-мореплавателях и тому подобное? Оу нет! Характер дарования — уже определяет, какой материал ему подходит. Тягучие бытовые драмы.

То есть! Характер таланта — сам диктует жанр, который он изберет, и какой материал он возьмет для вещи.

То есть. Важно. Очень важно. Почувствуй себя, ощути свои склонности и симпатии — и пиши о том, к чему тебя больше всего тянет. Грубо говоря — вообще: если тебе попался кислый лимон — делай из него лимонад. Пардон за древнюю пропись бизнеса.

Лучше всего человеку удастся то, к чему он склонен, вот тянет его, душа лежит. Вот мечтаешь о романе-эпосе — пиши роман-эпопею. Напашешься — до полусмер-

ти: это как одному храм строить, да еще по ходу сто раз переделывать сделанное и менять проект. Ничего не бойся. Как сказал великий Чингиз-хан: «Делаешь — не бойся». Еще он сказал в продолжение: «Боишься — не делай». А чего бояться? В худшем случае — провалишься. И что? Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.

Чтобы у тебя получилось хорошо — очень важно, готов ли ты расшибиться в лепешку. Работать до смерти, только бы добиться своего. Поставить на карту все. Вот быть готовым победить или умереть — это уже половина победы. В нашем случае победа — это именно писать хорошо. Чтоб у всех мурашки по спине побежали.

Психологический настрой на наилучший результат любой ценой — это очень важная составная часть творчества. Заверяю вас. Потому что. Бывает — когда работа идет хорошо и легко, весело, слов и ходов с вариантами теснится море, только выбирай и поспевай записывать — писатель счастлив, и кажется, что так будет всегда. Но! И особенно вначале! Когда ни хрена не получается, и фразы уродские, и слова не те, приблизительные какие-то, и впадаешь в растерянность в конце концов, в злобу на себя самого, в тупость и отчаянье впадаешь даже, — вот тогда ты должен знать, что ты будешь не торопясь, спокойно, с перерывами, работать сегодня до упора, и завтра, и послезавтра, и всю неделю, месяц, год, пока не сдохнешь, но свое ты сделаешь как считаешь нужным, ты добьешься — тогда тебе жить и работать гораздо легче и спокойнее.

Возможно, я передавил ту точку зрения, что терпенье и труд все перетрут, что «сделай или сдохни», что каждую страницу нужно писать как единственную и последнюю в жизни, и вообще удел и образ жизни писателя — саможжение. И чтобы уравновесить этот тезис, я от него немедленно отрекаюсь! Не совсем. Но — на пятьдесят процентов.

Бывает иной вариант, просто противоположный, но редок — страшно. Это вдруг! Ночь Руже де Лиля, написавшего «Марсельезу». Века идут — а это гимн Франции.

Это — сумасшедшее вдохновение и сумасшедшая удача, то есть попадание в самый центр, в нервный узел бушующей стихии всеобщих настроений и социальных катаклизмов. Бог сверху поцеловал — и художник через себя выразил суть эпохи. М-да. Все остальное о саперном капитане де Лиле не имеет значения.

Рассчитывать на такое божественное озарение невозможно.

Зато. Если бы де Лиль был человеком серым, необразованным, не начитанным, никогда раньше в жизни не сочинял бы стихов — ни фига бы он и «Марсельезу», разумеется, не написал. Он в принципе был все-таки подготовлен к тому, чтобы выразить себя и эпоху вот в такой форме. Может, там была магнитная буря, или перепады давления, или необыкновенного счастья любовное свидание, или вдруг чей-то плач на фоне грозного заката его потряс — черт его знает, что тут может служить спусковым крючком. Чаше — это чисто внутренний психологический момент. Но! Удача приходит только к тому, кто к ней готов!

И когда человек овладел профессионализмом, и поставил руку, и отточил вкус — вот тогда случаются порой забавнейшие вещи. То есть:

Вот Стивенсон, Роберт Льюис. Дальше вы уже знаете. Погоды были плохие, делать было нечего, и для развлечения мальчика он стал писать пиратский роман. В день писал по главе и читал потом мальчику. За 34 дня он и написал без напряжения этот шедевр, 34 главы. По которому мир его и помнит. Однако — он был поэт, он был блестящий эссеист, он был стилист и эрудит. И это помнят только специалисты-филологи. Но! Без всей этой блестящей школы, блестящей подготовки — никогда бы он с чудесной легкостью, в одно касание пера, не написал бы «Острова сокровищ».

Вот раз за разом Толстой правит «Войну и мир», а Софья Андреевна переписывает. А вот Достоевский в бешеном темпе не поспевает диктовать... язык не поворачивается сказать «начисто», но ведь в общем так

и оставалось... он не поспевает за развертыванием мыслей, за сшибками идей, он гонит шар скороговоркой! Вот Флобер бьется и корпит пять дней над одной страницей, а Хемингуэй все утро над одним абзацем. А вот Чарльз Доджсон, томясь тягой к девочке, сочиняет «Алису в Стране чудес», и мучится отнюдь не работой над текстом — напротив, сочинительство, которое должно развлечь и увлечь девочку, его отрадно развлекает и увлекает.

Леди и джентльмены — нет в нашем деле рецептов. Нет-нет-нет-нет-нет. Но! Если удача придет — надо быть к ней готовым. Но рассчитывать на нее нельзя. Если вдруг тебя подцепит и поперет, и текст будет ложиться как асфальт на новой трассе — это замечательно, только играй пока играется: поспевай записывать и не бросай. Но рассчитывать на это нельзя.

Понимаете — вот ты нашел огромный слиток золота. Но. Во-первых, ты должен был собраться, правильно экипироваться — и проявить силы и умение добраться до этого глухого места. Ты должен научиться тяжелой работе, научиться жить в лесу и в тундре, научиться по приметам определять возможную жилу... Короче, везет только тому, кто сам себя везет.

Удача приходит к тому, кто без нее обошелся бы. Это надо понять. Запомнить.

А еще бывает: человек вообще не писатель, и уже не молод, и решил написать о своей жизни, и как в их работе все происходит с людьми и делами — и вдруг отлично выходит! Вот Марк Галлай: под пятьдесят, заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, инструктор по пилотированию первого отряда космонавтов — и вдруг выпускает книжку документально-мемуарной прозы, но: с иронией и юмором, отличным языком, интереснейшие вещи, такой крутой инсайдер, выражаясь современным языком: как летали и спасали аварийные машины, как ловили птиц в лобовые стекла, как постоянно подначивали друг друга и так далее. Бестселлером стала сразу, Галлай стал знаменит. А вот просто язык хороший, и чувство юмора, и важнейшая способность отличать

главное от неглавного и показывать крупным планом самое интересное и характерное. Вот как он учился писать? Никак. Ему некогда было. Он был вот такой.

Так что практически: в ранце каждого молодого писателя лежит маршальский жезл классика. Он вдруг может вывалиться из ранца прямо тебе в руку. Это один случай на сто тысяч. А вот выслужить его и дорасти до него — это можно.

И очень важная вещь, ребята: вам никто не судья. Судьи, критики, оценщики — это для графоманов. Ты должен сам ставить для себя планку на максимальную высоту. На высоту шедевра, классики, идеальной вещи. И должен сам видеть, чего достиг и на сколько не достал до верха. Только ты сам знаешь исчерпывающе, что ты и как написал — и только ты сам можешь судить свой текст по полной, абсолютной строгости. И тогда все сторонние мнения, снисходительные, похвальные или ругательные, ничего не должны для тебя значить.

В теории качество текста — это литературная образованность, владение литературными приемами, языковой слух, умение создавать характеры, давать детали, делать описания, сочетать части повествования композиционно, чтоб все не разваливалось на куски, скручивать сюжет и нанизывать на него все происходящее. И. Это — ум, талант, трудолюбие и хороший вкус. Как вы уже поняли, все это в одном человеке — почти невозможно. Это некое божественное совершенство. Это не так трудно перечислить. Но практически невозможно все это в одном человеке соединить.

Хотя — в стремлении к совершенству мы достигаем того, чего вообще достичь в состоянии. «Будьте реалистами — добивайтесь невозможного!» — как писали парижские студенты на баррикадах в 1968 году.

А на практике можно быть отвратительным многословным стилистом, как Достоевский. Или не шибко умным лириком-стойком, как Хемингуэй. Или наивным романтиком-развлекателем, как Дюма. Или скупым и честным гиперреалистом, как Шаламов.

Качество текста неотъединимо от материала, задачи, угла зрения. Гениальный рассказ Казакова «Проклятый север» — импрессионизм, ни о чем, нет сюжета, два друга-моряка пьют в отпуске в зимней Ялте. Но в нем столько всего! — долго пересказывать было бы.

На практике — примерно так. Ты подчиняешь главной задаче все: отбор материала, тональность, стиль, композицию, все. И тогда может оказаться, что для сильнейшей книги тебе ничего не нужно, кроме памяти, честности и владения языком на уровне образованного человека. Все! И получается «Воспоминания о войне» Николая Никулина — лучшая на мой взгляд книга о Великой Отечественной.

Ну — совершенный ежик лучше уродливого льва.

...Итак — наша курица снесла совершенное яйцо и стала гордо кудахтать, предъявляя миру свое творение. Она рассчитывает на заслуженный успех. Она будет горько разочарована.

Успех — это трубы, фанфары, белый конь и ковровая дорожка. Сейчас. К тому времени Мольер имел полную возможность убедиться, что слава выглядит совсем не так, как ее себе обычно представляют, а выражается преимущественно в безудержной ругани на всех углах. Цитата.

Страус удивится этой горошине, малиновка презирует за бесцветность, ворона укажет на безответственное отсутствие гнезда. Зато расхвалит лисица, которая при первой возможности сопрет его и съест. Вот такова литературная жизнь.

В теории как? Живи по уставу — завоеешь честь и славу. Если ты написал хорошую книгу — ее заметят критики и читатели, выделят, похвалят, напишут хорошие рецензии, книгу издадут большими тиражами, выдвинут на премию, наградят, переведут, ты станешь заслуженно знаменит и уважаем. Радостно трубя, Козлевич мчит приезжих в Дом крестьянина.

Дамы и господа. Всем нам часто приходится слышать, что в литературе места всем хватит. Увы — вынужден вас разочаровать. Это не так. У киллеров девяностых была

пословица: «В земле всем места хватит». Цинично, но правда. Но литература — это не земля. В нашем сознании, в сознании публики, в читательском сознании — количество писателей ограничено. Вот, условно говоря, емкость американского рынка русских художников — десять человек. Больше просто не востребовано. И чтобы одиннадцатому войти — он должен вытеснить одного из прежних десяти. Ну не безгранично пространство нашего внимания, памяти, времени и кошелька, наконец! Всех не перечитаешь! И на объективном уровне — в литературном мире, а хотите — можно сказать «в литературном рынке» постоянно кипит борьба. Все хотят быть в центре круга. И никто не хочет вылететь с края круга вон, в невостребованность, в незамечаемость.

В литературе нет места всем. В литературе, как и везде, выживают и остаются победители. Победители в борьбе за внимание и любовь читателя и критика, за кошелек покупателя, за бумагу и машинное время типографий. Ну представьте себе, что писатели — все, все люди. И кто читает, кто востребован? Жизнь производит жесткий отбор.

И горе в том, что отбор в литературе не всегда происходит по качеству написанного. А часто — по созданной репутации. По имиджу то есть, а не по сути. Это необходимо понимать и учитывать. Об этом почти никогда честно не говорят.

А как насчет посмертной славы? Как насчет неизвестных гениев? Насчет затравленных талантов? А что делать с торжеством посредственности, которая всегда старается занять все командные высоты — от первого секретаря Союза писателей СССР и министра культуры до распорядителей всевозможных грантов, премий и комитетов? А слепота современников и пошлый вкус толпы?

Талант и успех, как хорошо и давно известно, связаны отнюдь не простой и честной связью. Что куда как естественно. Талант есть мало у кого, а быть знаменитыми и богатыми хотят все. И история, как взволнованный Некрасов, потрясая рукописью «Бедных людей», явился

к Белинскому с восклицанием: «Новый Гоголь явился!» — это та сказка о Золушке, которая как миф на одном конце коромысла уравнивает горестную практику. То есть насчет Некрасова с Достоевским считается это правда. Но рассчитывать на такую правду невозможно.

Вот в семидесятые годы, глухой застой, был удивительный случай. Ташкентская школьница вчерашняя Дина Рубина прислала в знаменитую «Юность» свою первую повесть. Рубину никто не знал. Повесть всем понравилась, и ее быстро напечатали — из самотека. Учтите еще нетитульную национальность автора в те времена: не приветствовалось отнюдь.

Вот — честно, сразу, само! Написала — послала — прочли — понравилось — напечатали. Известность.

Бывает? Бывает. Но почти всегда бывает наоборот. Потому что самотек отпинавали не читая, еврейские фамилии рассматривались как уже препятствие, очереди на публикацию уже принятых вещей были годами, а все живое душилось на корню. Однако. Иногда нужен процентаж новых имен и даже пример национального разнообразия. И милая, простая, чисто написанная и — абсолютно невинная и фильтрующаяся сквозь все ограничения и указания повесть Рубиной вскочила в номер. А это было — уже ого! «Юность»! Знак престижа, огромный тираж, всесоюзная известность сразу.

В те же годы уехали Кузнецов, Бродский, Гладилин, Солженицын, Галич, Довлатов, Аксенов, Некрасов... И не печатали ни Лену Шварц, ни Шаламова, ни много кого еще. И мое поколение в общем давилось, спивалось, кончало с собой, деградировало... Так что кому поп, а кому и в лоб. Ну, конечно, — тоталитаризм, идеология, СССР. И вот однако.

Мы сначала поговорим об общих законах и тенденциях, а потом уже затронем российскую специфику.

Во-первых, новое воспринимается с трудом. Не похожее на привычное — прежде всего вызывает мысль, что это неумело, неправильно, как-то не так. Давно отмечено умными людьми: чтобы новое было воспринято

нормально, не отторгнуто с ходу — оно должно быть по форме в основном традиционно. Вот довести традицию до совершенства — такое воспринимается лучше всего — и критикой, и читателем. Вот писать, как все привыкли, в ту же струю — только чуть-чуть лучше. Это поощряется.

Вспомним, коллеги, что «Руслана и Людмилу» пушкинские критика радостно вознесла — это было в русле мощной традиции, проложенной великим Жуковским. А первые главы «Евгения Онегина» были встречены в основном прохладно и с разочарованием: мы-то надеялись, что талант разовьется, а Пушкин-то наш пишет какой-то примитив бытовой, какая ж это поэзия, эх...

Так что если вы забацали что-то такое эдакое — особенно-то уши для фанфар не развешивайте. Вероятнее всего — приговорят: ищет свою форму, оригинальничанье, ученический экзерсис, модный формализм, странный выпендрож и так далее.

Во-вторых: хороший литературный вкус, чутье, способность самостоятельно различить интересное в потоке рукописей — это встречается довольно редко. Особенно когда у профессиональных читчиков глаз замылен, а личного интереса и азарта отловить новую яркую книгу неизвестного еще автора — нет такого рефлекса. Так что нередки случаи, когда знаменитые книги поначалу долго валялись в издательствах и безуспешно перемещались из одного в другое. Годами бывало.

Кстати о птичках: книга настолько кассовая, какой была в 1993 году «Легенды Невского проспекта», к моему изумлению и непониманию, в течение полутора лет отвергались полусотней издательств — буквально всеми различными, которые тогда были в России. Все в один голос уверяли, что сейчас покупают только американские боевики и фантастику, на русские книги нет спроса вообще, и предлагали сразу договор и аванс за американоподобную халтуру, якобы переводную. И лишь «Вагриус» решил составить сборник из разных рассказов, включив кое-что из «Легенд», не обращая внимания на мои заверения, что эта фигня не пойдет. Она и не пошла, плохо

пришлась и плохо продавалась. И только маленькое, никому не известное питерское издательство «Лань» приняло книгу как есть, без всяких пожеланий и редактур, и тогда она полетела столбиками, стотысячными тиражами то есть, и встала на первое место в рейтингах, критика была бурная и больше хвалебная, и ее тогда читали все. Бывает.

А уж это, заметьте, по форме — обычная ироническая проза, сатирическая, юмористическая, физиологическая, повествовательная, легкая в чтении, ничего такого сложного, неожиданного и трудного. М-да.

Третье: вы напишете хорошую книгу — но ее могут элементарно не понять. Не увидят там сложности и глубин ваших, не заметят мастерства вашего. Ну не въедут! Вот вышел «Герой нашего времени» — и все сплошь его полили. Аж не верится — ослепли, мозги отсохли?.. Была одна восторженная рецензия — Булгарина, и одна в общем положительная — Белинского. Против полутора десятков тупой фигни, начиная с императора Николая I и кончая всеми как либералами, так и державниками.

Был гениальный советский писатель Морис Симашко. Мы о нем уже упоминали. Он ведь и книги издавал, и даже стотысячник у него был, и в московских издательствах тоже, и в «Новом мире» когда-то раз печатался. А — вот не вошел в «обойму», с которой носятся критики. Не «вращался». Жил в Алма-Ате, переводился по миру, национальные кадры ему завидовали. В 90-е уехал в Израиль, в начале 2000-х там умер. Вот и вся слава. А уж он заслужил, он заработал.

Или. Живет сейчас в Петербурге замечательный писатель Александр Покровский. Бывший флотский офицер, подводник, служба на северах, куча автономок. Книги «Расстрелять» и «Расстрелять-2». Остальные не так, хотя и фильмы по ним были; но эти — шедевры! Жесткая короткая и очень короткая проза. Флотская, мужская, жесткая. Юмор непередаваемый, стиль просто блестящий местами, познавательный до дрожи. Хохот неудержимый! Фразы влипают в память. «Комдив повис на своем

скелете, как шинель на вешалке, временно потеряв интерес к продвижению по службе». «Фуражка вращалась на шишке, как сомбреро на колу». «И замполит улетел в люк, выпучив глаза, как ночной лемур». Матерные фразы цитировать не буду. Жизнь подводника без мата не существует, сами понимаете.

Для критики он не существует. «Не вращается». Не делает плавательных движений в литературной жизни. Здоровенный красивый мужик. В гробу он их всех видал. Так конечно.

А четвертое, дорогие друзья, существует зависть. И писательская ревность. Если кто-то пишет лучше тебя, преуспел больше тебя — у собратьев происходит разлитие желчи и в животе поднимается мировая тоска.

Про зависть надо понимать. Человеку свойственно стремление к самоутверждению. Это социальный инстинкт: занять как можно более высокое положение в своей группе и своем социуме. И он имеет два аспекта: позитивный и негативный. Один — это стать значительней и выше всех. А второй — опустить всех ниже себя. Потому что это относительно: меришь себя-то относительно других.

А самая жестокая и беспощадная борьба — внутривидовая. Потому что президенту и олигарху ты явно не конкурент. Но уж промеж собратьев — шалишь! Тут ходьба по трупам — нормальный вид спорта.

Вот пролетарий из пролетариев — это актер. У него нечего продать, кроме себя самого. Он, его фактура, тело, лицо, голос, талант. А конкуренция на хорошие места и роли страшная! Какая там ревность, какие интриги, какое подсиживание друг друга, какие трагедии самолюбий — это ж непосвященным трудно себе представить! Там сожрать конкурента — святое же дело, аж хруст стоит! Как шла по головам великая Сара Бернар! Ну и вообще — вспомним хоть «Театральный роман», там еще все приличия соблюдены в изложении.

Здесь вы, если хотите понять, должны отбросить гуманистические иллюзии, привитые школой и русской

классикой. Вы должны въехать в психологию, в сознание и подсознание, а это весьма мутная среда.

Вот Евтушенко. Слава его в 60-е годы была беспрецедентна, да и потом до конца Советского Союза по инерции. На его вечера попасть было невозможно. Его книги купить было невозможно. Он собирал стадионы! Он объездил с выступлениями весь мир, его принимали мировые знаменитости и дружили с ним, его президент США с госсекретарем принимал лично — никто больше этой чести не удостоился. И. Он многим помог. Тому же Бродскому помог. А под конец жизни он составил огромную, в пяти томах, беспрецедентную, «Антологию русской поэзии». И похоронить себя завещал в Переделкино, рядом с Пастернаком.

И что? И в нынешних изложениях советской послевоенной литературы его почти что нет — ну, присутствует наряду со многими еще. И все это усыпальнице пребывает в тени раскидистого дуба Бродского — Бродский как зонтик над всем пространством советской поэзии раскинулся. Он не сам раскинулся — его раскинули. Я ничего сейчас абсолютно не имею против Бродского! Но он не сам. И все было не так. И Евтушенко — а равно многие еще, которые печатались и были знамениты и даже — страшный грех! — преуспеваючи, они отнюдь не насаждались официально, отнюдь не вменялись партией в обязательный список изданий, не занимали секретарских мест. Их и критиковали жестоко и несправедливо, и зажимали, и жизнь портили, — но все же давали дышать и работать. Но все неудачники, все обойденные, все недобравшие успеха — тихо ненавидели. И при смене власти, после смерти — тусовка стала кусать, а поклонники состарились и поумирали, такое дело.

Особенность русской литературной жизни — сочетание трупоедства и некрофилии. Русской литературной тусовке, критикам и литературоведам вкупе с ориентирующейся на их мнения гуманитарной интеллигенцией, свойствен позорный порок. Простите за некорректную прямоту. Они склонны перепланировать кладбища

и менять памятники на могилах и сами могилы местами. Постфактум они обожают по своему усмотрению и разумению переписывать историю литературы. Причем если одним сооружают мавзолеи, то другие могилы норовят обгадить, дать зарости травой или вовсе выкинуть покойников за ограду. Милейшие люди. С живыми за это сажают. А покойники молчат, а современники уходят в мир иной.

Господа. Два главных события в России в XX веке. Это революция с Гражданской войной и Великая Отечественная. И если попытаться выбрать только одного поэта из XX века России — это будет Владимир Высоцкий. Он первый. Он самый народный, самый любимый. Слава его в стране непревосходима. Ни у кого и близко такой не было и не будет. Но до сих пор — до сих пор! — официальная критика относится к нему не то уже чтобы свысока, но как к чужому. Он вошел в поэзию, в жизнь русского народа — с улицы, из воздуха, с магнитофонов и гитар. Но официальная критика его уничижительно игнорировала при жизни — и старается обращать на него меньше внимания и сейчас. Высоцкий на вершине Олимпа — но этот Олимп любви и культуры народной находится как бы чуть-чуть не в том измерении, не в той системе критериев и ценностей, что Олимп литературный, на вершине которого разместили Бродского.

А главным стихотворением XX века остается «Жди меня» Константина Симонова. Стихотворения более знаменитого и более значимого, более важного и отвечающего чаяниям сердца человеческого, в XX веке на русском языке написано не было. И вот в новой России официальное литературно-критически-тусовочное мнение не может простить Симонову его Сталинские премии, тот фавор, в котором он находился. При том, что. Он с мальчишества был воспитан в советской идеологии, он был честным патриотом, он искренне верил в Советскую Власть и Сталина — это было вполне типично для его поколения, его слоя. Ему было 29 лет, когда кончилась война, и он всю оставшуюся жизнь понимал и чув-

ствовал, что он так и остался там, на войне, тогда он прожил все свое главное.

Успех к нему пришел огромный, и быстро, у него были и блага от правительства, и любовь народа. Зад никому не лизал, патриотизм его стихов был искренний. И в точку попал, и ко двору пришелся. Ну, а потом стали мстить за успех. За востребованность таланта. Поносить и унижать после смерти стали. Хотя его поэзия — вся от «Завещания» Лермонтова, ну и киплинговские мотивы найдутся, что ж плохого. Вот есть и такой вариант.

Солженицына объявили автором великой прозы «Один день Ивана Денисовича». Хотя это проза вполне заурядная, и метод социалистического реализма чистенький, только идеологически под другим углом. А Варлама Шаламова не только не печатали — ну, крут больно, — но и не говорили промеж собой, какой это большой писатель; а ведь он таким был.

Успех Гладилина, Аксенова, Казакова, Балтера — это успех заслуженный и сразу. Но — надо было, чтоб Катаев напечатал тебя в «Юности». Вкус вкусом, ан не каждому удавалось попасть.

Прошло 50 лет — и их практически перестали читать. А продолжают читать, однако, — Стругацких, Пикуля, Семенова. Почему? Критика им отказывает в литературном качестве, и успеха именно критического у них не было и нет.

Да, понятно, что есть успех читательский, он обычно называется унизительно кассовым или коммерческим, но мы на эту лицемерную дешевку не поведемся — читательский есть успех. (Да, читатель бывает разный, это отдельная тема.) И есть у критиков — у высоколобых, условно говоря. В идеале эти два рода успеха должны совпасть. Но это крайне редко.

Дюжина главных и лучших повестей Стругацких хороши на грани гениальности. «Попытка к бегству», « Хищные вещи века », «Трудно быть богом», «Второе нашествие марсиан», «Обитаемый остров», «Миллиард лет до конца света» — это шедевры. Чистого языка, интересного

сюжета и глубины ненавязчивой мысли. Но! Знак скверны для идиотов от тусовки! «Фантастика». А «Гулливер», «Утопия» и «Мастер и Маргарита» им не фантастика. Учтите: критика имеет свои системные маркеры и предрешения. Поэтому она искренне не в состоянии понять, что Стругацкие, скажем, гораздо бóльшая литература, чем Трифонов.

У Пикуля надобно читать и знать две вещи: «Пером и шпагой» и «Реквием каравану РQ-17». Ими он и стал заслуженно знаменит. «Пером и шпагой» — лучший русский исторический роман вообще. Написан отлично! «Реквием» — лучшая книга о флоте в войну (хоть местами и передран ужасно из «Его Величества Корабль “Уллис”» Мак-Лина, но при советской власти мы его не читали.) Клеймо на Пикуле: «халтурщик, черносотенец, коммерческий беллетрист, исторические сплетни перевирал».

Юлиан Семенов — «кэгэбэшник, публицист, коммерсант, капусту косил». При том, что «17 мгновений весны» — написаны очень хорошо, очень; это высокой пробы книга, это идеал жанра, причем уникальный вариант.

Так что избегайте попасть под раздачу, не дайте наклеить на себя ярлык, если хотите именно всестороннего успеха.

И здесь мы сталкиваемся вот с какой печальной и циничной вещью. *Esse quam videri*, говорили римляне. Быть, а не казаться. Но! Дело-то имеют не с вами. А с вашим информационным образом. То есть именно с тем, чем вы кажетесь. Если вы кажетесь кому-то талантливым, умным, образованным и благородным вдобавок — так вы для него такой и есть. Произвели нужное впечатление. А на самом деле ты злой бездарный дурак — но отлично чувствуешь собеседника и говоришь ему те слова, которые нужно, чтоб он стал очень хорошо о тебе думать.

Казаться, а не быть. Вот формула современного успеха. Плевать, что ты есть на самом деле. Главное — что о тебе думают и говорят, каков твой образ в восприятии окружающих. Весьма тошнотворная правда...

Мало быть гениальным писателем! Надо еще и казаться таковым! Чтоб не оплевали, не игнорировали, оценили по достоинству и осыпали розами и золотом.

Вот есть удивительный и показательный пример в русской классике — Фаддей Булгарин. Человек предельно оклеветанный, с предельно грязной репутацией. Доносчик и платный агент, Пушкина травил. А откуда мы это знаем? А нам написали, и мы прочли. У кого? Да уж не у друзей его. У врагов.

А друзья-то у него вообще были? Были. Кто такие? Грибоедов, Рылеев, Кюхельбекер. Вот те раз. Все рано погибли.

И мы начинаем разбираться в биографии Фаддея Булгарина, в его личности и творчестве — и выясняются-то вещи удивительные! Что у него было тяжелейшее детство, что нищего и беззащитного польского мальчика, который по-русски-то плохо еще говорил, командир роты однажды выпорол так, что он месяц пролежал в госпитале. Что Булгарин — боевой офицер, кавалерист, улан, участник многих сражений наполеоновской эпохи, не единожды ранен и награжден; в период мира между Россией и Францией служил в наполеоновской армии командиром уланской роты, награжден орденом Почетного Легиона.

Что он основал первую в России частную газету с политическими новостями, с него современная русская газета началась, там была масса разделов, им основанных. Что он родоначальник русской фантастики, и физиологического очерка, и фельетона. И что он — автор первого — первого! — русского романа, «Иван Выжигин», который читали все читающие люди той России, тираж 10000 экземпляров, что в 10 раз больше пушкинских, и переведен сразу на 8 европейских языков, больше не было с русскими книгами той поры подобных случаев и близко. И одновременно почти с Загоскиным он родоначальник русского исторического романа, его «Дмитрий Самозванец» вышел ну каплю позже «Юрия Милославского» Загоскина и прогремел, и тоже слава и огромные

тиражи. И не было у поляка, сына ссыльного революционера, никаких связей — только собственным умом и талантом, собственной энергией. Классический *selfmade man*.

И с Пушкиным у него до 1830 года, до выхода «Дмитрия Самозванца», прекрасные отношения были, пока тот его в плагиате не обвинил. (Причем то обвинение в плагиате давно стараются даже не поминать, критики оно не выдерживает.)

И не писал он никаких доносов, а составлял иногда обзоры русской культуры и давал рекомендации — как, впрочем, и Пушкину случалось, и прочим. И разбогател он заслуженно собственным трудом. И помогал многим, а ему никто. И «Горе от ума» друг Грибоедов ему доверил, и архив арестованного друга Рылеева он укрыл и сохранил. А доводилось ему самому, напротив, сидеть под арестом по царскому указанию: непочтительно отозвался о книге, понравившейся Николаю. Николай выразил неудовольствие разносной рецензией — так в следующем номере Булгарин напечатал еще большую поливу. Ну, так пришлось наглеца посадить слегка.

Откуда же такая несправедливая, грязная, злобная репутация?!

А слишком значителен и независим он был. Слишком высоко сиял и много значил в русской литературе и издательском деле 1820—40-х годов. Многим помогал — а ему никто. Он был самым читаемым, самым успешным, самым зарабатывающим, самым влиятельным в своей области. Тираж газеты огромен, от рецензий зависят продажи и заработок, зависит репутация книги и автора. Ну — и кто не взрвнует? За что же ему так много всего досталось?!

Поначалу критика Булгарина хвалила, и Пушкин хвалил, и Белинский. Но терпеть чужой превосходящий успех под своим носом трудно.

Зависть и ревность. Ревность и зависть. К тому, кто своей значительностью умаляет и принижает значительность твоего положения и успеха в твоих собственных

глазах. Его успешность делает тебя мельче — а это вызывает активное желание изменить положение. И если ты не можешь стать выше него — необходимо его опустить ниже себя.

Уязвленные завистники всегда объединяются в мнении, что предмет зависти ничего особенного из себя не представляет. Его успех — незаслужен, читатели имеют низкий вкус, да и человек он пустой и скверный. И ждется только повод, чтоб выплеснуть свою ненависть открыто; а если повод не находится — его выдумывают.

Не в силах конкурировать с Булгариным ни в литературном успехе, ни в издательском, его стали поносить — от обычной литературной критики и до черной ругани. И вот тут шляхетская гордость Булгарина, его независимость материальная и во мнениях, вспыльчивость и прямота его характера, не раз отмеченные современниками, — сыграли с ним дурную шутку.

Он полагал, что писатель и благородный человек не должен опускаться до полемик с критиками и клеветниками. Должен быть выше. Такая точка зрения существует, и вы с ней много раз столкнетесь. Но! Он просчитался в одном. В российском общественном мнении весьма силен закон тюрьмы: если ты не снизошел до ответа клеветникам и промолчал — значит, по факту ты признал их правоту и такой ты и есть.

Никогда не оставляйте никакую клевету, никакую ложь, никакую брошенную в вас грязь без ответа! Никто не оценит вашего благородства! Напротив — вас таковым и сочтут, а по мере повторяемости — утвердятся в этом мнении. Вы не будете иметь дела в литературе с аристократами, отдохните от этой иллюзии, — вы будете иметь дело с ревнивыми и лицемерными плебеями.

И вот Булгарин, считая ниже своего достоинства снисходить до разговоров с нечестными критиками и клеветниками, сознавая правоту и прочность своего заслуженного положения в литературном и издательском мире, с высоты своих заслуг и достоинств не отвечая лаю — с тысячекратным повторением этого лая... вместо

реального образа был сформирован информационный образ для сторонних людей — совершенно ложный, грязный, низкий. Что бы ни было повторено десять тысяч раз без опровержений — в представлении людей это станет истинным.

И шло время, старые друзья уходили, а новая публика уже имела его образ как нечто скверное. А потом — что потомки? Они читают и чтят тех, кто утвержден как авторитеты в прежние времена. Потомки наследуют готовую картину истории, как им уже нарисовали.

Так что успех бывает и таким. Когда быстрый и ранний прижизненный успех сгрызают конкуренты и догрызают крысы, а потом остается лживая и унижительная репутация.

В основах это просто, если грамотно подойти. Вот пример самый яркий: товарищ Троцкий. Лев Давыдович. Первый оратор революции. Реальный вождь Октябрьского переворота. Отказавшийся от должности первого председателя Совнаркома: «Еврей в России им быть не может». Первый нарком иностранных дел: важнейшая была должность — тянуть время с Германией, она должна вот-вот рухнуть под ударами союзников, и не надо тогда ничего отдавать и платить за помощь. Потому и «ни войны, ни мира», потому архивы сто лет и засекречены. Троцкий же — создатель и организатор Красной Армии, он написал Присягу, он учредил орден Красного знамени — первый советский; его портреты висели во всех воинских частях. Его авторитет был огромен, заслуги неоспоримы, после смерти Ленина он был Номером Первым.

Великий интриган Сталин его сожрал, поначалу чужими руками. И вот в 24-м умер Ленин, в 27-м Троцкого полностью отодвинули от партийного руководства, а в 37-м «троцкизм» было уже самым страшным обвинением, а Троцкий — злейшим врагом революции и Советского Союза. И новые поколения, вообще ни хрена уже не знавшие, верили в это, как в таблицу умножения.

Вот так могут обойтись с успехом. Да не литературного ранга, а мирового. Умный человек может съесть друго-

го умного человека завсегда. А дураки — они всему поверят: на то они и большинство.

А кого мы называем умным? Того, кто думает так же, как и мы.

Таким образом. Для успеха. Нужно. С одной стороны:

Если вы талантливы и написали что-то классное — избежать зависти. О, избегать зависти — это целая наука, и не такая уж простая.

Первое — люди падки на лесть. Они глотают любую лесть. Уж совсем грубая и огромная лесть, которая все-таки не пролезает всерьез — подается с улыбкой и идет по классу комплимента. А в каждом комплименте все равно проглатывается частица за правду. При этом! Чтоб совести подставить костыль, чтоб ей легче было идти с вами по пути. Нет ясной границы между: видеть в человеке хорошее и это отмечать ему — говорить человеку приятные вещи — говорить комплименты — льстить — льстить цинично, с расчетом, чтобы он к тебе хорошо относился и был полезен при случае, чтоб ты стал ему приятен, вызывал положительные эмоции.

Вообще лесть древна, как человечество, ею всегда помогали карьере, это банально. Но — безотказно! А уже способы лести могут быть разными, это отдельная наука, да? Превозносить вкус, талант, храбрость, силу, красоту, поражаться уму. А также скромно спрашивать совета, оценки.

Для людей гордых и с чувством собственного достоинства это не подходит. Тем хуже для гордых.

Новое время родило жутко поганый оборот: «Он умеет дружить». То есть: на плечо в драке рядом поставить, не из беды выручить, не в горе утешить — а быть приятным, полезным, безотказным, готовым к услугам, при этом вести себя скромно и ничего не требовать. Рома Abramovich «умел дружить» с Таней Дьяченко. Шашлыки жарил на даче. Надружил на тринадцать ярдов в результате. Можете учиться. Но за книги столько не платят.

Так вот, литературный успех у критики сродни карьере. Умей нравиться и создать о себе впечатление. Льсти.

Говори то, что надо. Никогда не опровергай мнений тусовки! Ее авторитеты и гении, ее бездари и враги, ее шедевры — не подлежат нападкам! Обсуждать только обсуждаемое. Поддакивай авторитетам!

И. Держи себя скромно. Принижай себя, пока не стал большим авторитетом сам. Не хвастайся. Не огорчай коллег своей успешностью. В разговоре ставь их выше себя. Если ругают — ругай себя сам дополнительно, соглашайся и кайся, уже раскаялся. Если хвалят — смущайся, отнекивайся, благодари.

Ты должен выглядеть зависимым от любого, кто может сказать о тебе что-то значимое, внушать ему, что ты мельче его, а он крупнее тебя.

Бедный Макиавелли... Он писал об управлении государствами — а у нас тут мелкое занятие по мелкому лицемерию. Я к нему призываю? Я его презираю. Я говорю лишь о путях и способах добиться успеха, которые существуют объективно независимо от нашего с вами желания.

Да, бывают прекрасные и редкие случаи без всей этой фигни. Когда боссы литературной кухни решат и согласятся, что вот этот молодой парень талантлив, им искренне понравится его работа, — и они его продвигают. И волны расходятся сверху, и его начинают все хвалить — при том, что он и читателям нравится сам по себе, и его читают охотно. Но это случаи единичные, редкие. Причем — хвалимому-продвигаемому необходимо правильно, достаточно спокойно и скромно вести себя с теми ключевыми фигурами, от которых конкретно и зависит продвижение в поле успеха: маститые критики, главные редакторы журналов и т.п.

Технология построения имиджа — это отдельная наука. А «Технология литературного успеха» — это была бы крайне полезная книга для молодых писателей. А у нас тут, понимаете, одно занятие на всё.

Вот Грин Александр Степанович. При жизни успеха не имел. Печатался в паршивых мелких журнальчиках, критика поругивала снисходительно. Умер в нищете в 52 года в крымском захолустье. Через 30 лет после

смерти стал неслыханно знаменит и любим. Вот вам ежегодный праздник выпускников в Петербурге: «Алые паруса». Да что праздник. Вот одна фраза только. «Они жили долго и умерли в один день». Писатель, написавший за всю жизнь одну только такую фразу, уже может считать свою судьбу состоявшейся, еще как.

А вот Даниил Гранин. Был знаменит, при советской власти как настоящий коммунист, после ее конца — как настоящий либерал. Ничего ведь заметного, стоящего, оставшегося в литературе — не написал, и вообще писал очень редко и мало. Но построитель собственной блестящей репутации — умнейший и ловчайший. Солгал себе геройскую военную биографию, невероятной ловкости демагог и лицемер, говорил что надо где надо. Председательствовал на собрании, где ходатайствовали о суде над Бродским, был в составе собрания об исключении Солженицына, и с лицом героя слыл человеком чести и благородства. Этому научиться нельзя, это уже гений имиджа. Но возможности человека понятны, да?

А вот Маканин. Писал в 70-е и начале 80-х гениальные рассказы и короткие повести. И книги хорошо выходили. Но критика и тусовка его в упор не видели: они не понимали, как маканинские парадоксы понимать и трактовать. А потом он напечатал в толстом журнале второго ряда — в «Севере» — длинную и сравнительно простую повесть «Предтеча», там все ясно, просто, критика обрадовалась и стала дружно хвалить. А пятнадцать лет в упор же не замечала!

Так что талант и шедевр — оно конечно. Иначе зачем все здесь. Но и это еще не гарантия успеха. Будьте скромны, стройте отношения, льстите цинично, ни с кем не ссорьтесь, придерживайтесь публично нужных взглядов. Не высывайтесь раньше времени слишком высоко, помните, что масса коллег — на самом деле жестокие конкуренты, готовые вас сожрать при первом удобном случае. И не забывайте, что почти все критики — несостоявшиеся писатели, причем многие из них рассчитывают ими стать.

Но. Если вам все это противно. Если вы все это презираете. Если вы хотите только прямо и честно — или никак, на фиг себя уродовать. Тогда будьте готовы к тому, что справедливость не для вас. И верить нельзя никому, кроме себя. И писать надо предельно хорошо, так, как только можешь, насколько только способен. А там — как Бог рассудит и кривая вывезет.

В завершение — пардон за цитату. «Судьба благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет».

Всем спасибо. Вопросы?

.....

— Когда говорят: «В литературе места всем хватит» — это напоминает поговорку киллеров девяностых: «В земле места всем хватит». Киллеры циничны, но правы. Литераторы гуманны, но лицемерны.

Отбросим пошлые выражения «литературный рынок» и «читательский рынок» и скажем изящно и современно: информационное пространство литературы. Вот это информационное пространство не безгранично. Миллион писателей никому не нужен. Спрос ограничен. А круг под прожектором славы и вовсе ограничен: десять знаменитых, сто известных, пятьсот кое-как перебивающихся. Остальные не поместились в поле зрения.

Творческие люди честолюбивы, амбициозны и ревнивы, стремление к самореализации и самоутверждению влечет их вверх через труды и преграды. И чем выше — тем острее конкуренция: за славу, деньги, тиражи. Поймите: внутривидовую борьбу никто не отменял.

В литературном мире идет острейшая и жестокая борьба за информационное пространство. Там пожирают друг друга живьем. При этом положено улыбаться и проповедовать заботу о благе литературы.

Содержание

МОЕ ДЕЛО

<i>Глава первая. До того, как</i>	5
<i>Глава вторая. В начале пути</i>	47
<i>Глава третья. Наш универ</i>	87
<i>Глава четвертая. Первая зима</i>	121
<i>Промежуточная глава</i>	145
<i>Глава пятая. Главные годы</i>	159
<i>Глава перехода. Седлание белого коня</i>	271
<i>Глава шестая. Вид с Датского Холма</i>	293
<i>Глава седьмая. Дадим им копотю!</i>	307

ГЛОРИЯ И МЕМОРИЯ

Смотрите, кто ушел	345
Теория и практика литературного качества и литературного успеха	350

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Веллер Михаил
Один на льдине

Компьютерная верстка: *Р. Рыдалин*
Технический редактор *Т. Полонская*

Подписано в печать 06.12.2018. Формат 84х108^{1/32}. Усл. печ. л. 20,16.
Гарнитура Newton. Печать офсетная.
Тираж 6000 экз. Заказ № 336.

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 – книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2019 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705,
пом. 1, 7 этаж.

Наш электронный адрес: www.ast.ru. Интернет-магазин: www.book24.ru.
E-mail: neoclassic@ast.ru. ВКонтакте: vk.com/ast_neoclassic.

«Баспа Аста» деген ООО

129085, г. Мәскеу, Жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 құрылым, 705 бөлме, пом. 1, 7-кабат

Біздің электрондық мекенжаймыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан и Представитель по приему претензий
в Республике Казахстан — ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.

Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында
наразылықтарды қабылдау бойынша өкіл — «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы
к., Домбровский көш., 3«а», Б литері офис 1. Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91,
факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz

Тауар белгісі: «АСТ» Өндірілген жылы: 2019
Өнімнің жарамдылық; мерзімі шектелмеген.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



ISBN 978-5-17-114163-9



9 785171 141639